

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2002

1

2002

# **НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР**

## **БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ**

**«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);**

**АРКАДИЙ БАБЧЕНКО. Алхан-Юрт (повесть);**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);**

**СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);**

**МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Рассказы;**

**ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ. Фантастическая реальность:**

**Честертон, Льюис, Толкиен (сегодняшний взгляд);**

**ЕВА ДАТНОВА. Война дворцам (четыре года);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Какое евразийство нам нужно;**

**НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);**

**ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);**

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;**

**ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);**

(См. на обороте)

**АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта** (повесть);  
**АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ. К портрету Лидии Гинзбург**;  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума** (роман);  
**ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина**;  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки** (повесть);  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы**;  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий** (роман);  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы**;  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин** (повествование в рассказах);  
**ВЯЧЕСЛАВ РЕПИН. Адреналин** (роман);  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);  
**РОМАН СЕНЧИН. Нубук** (повесть);  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман); **Рандеву в конце миллениума** (эссе);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;  
**ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам** (параллели);  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч** (повесть);  
**АНТОН УТКИН. Новый роман**;  
**ГЕОРГИЙ ЦИПЛАКОВ. Верлибр как интеллектуальная проблема**;  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера** (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА**, **АНДРЕЯ ВОЛОСА**, **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА**, **АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО**, **МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО**, **СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА**; стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК**, **ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВСКОГО**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**; статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **ВЛАДИМИРА НОВИКОВА**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА**, **ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО**, **МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2002 года — 300 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — В пригороде Содома, стихи	7
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Очаровательное захолустье, повесть	13
ИЛЬЯ ПЛОХИХ — Глаза не врут, стихи	75
АНДРЕЙ ВОЛОС — Мутуон, рассказ	78
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Путешествие, стихи	89
ВЛ. НОВИКОВ — Высоцкий. Главы из книги. Окончание	94
ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ — Ягодный дождь, стихи	129

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ГЕОРГИЙ ХАЗАГЕРОВ — Персоносфера русской культуры	133
---	-----

### ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Онкология как модель	146
---	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ — Без Бога. Записки доктора (1926 — 1929). Публикация, предисловие и примечания О. Ю. Тишиновой	157
--	-----

### ПОЛЕМИКА

ВИКТОР БЕЛКИН — Задались ли реформы Гайдара?	173
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Боровиков. Голос	182
Дмитрий Быков. Взрослая жизнь молодого человека	184
Валерий Шубинский. Просто призрак	187
Илья Кукулин. Видения, что бродят на скрещеньях троп, протоптанных башмаками разных эпох	189
Константин Азадовский. Портрет незаговорщика на фоне эпохи	194

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	202
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	209
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	213
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	218

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	223
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	225
SUMMARY	240

---

**29 НОЯБРЯ 2001 ГОДА НА 78-М ГОДУ ЖИЗНИ  
УМЕР КРУПНЕЙШИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ,  
НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»**

**ВИКТОР ПЕТРОВИЧ  
АСТАФЬЕВ**

---

---

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



## В ПРИГОРОДЕ СОДОМА

### Птичья почта

Только подумай, за что мне такое счастье —  
Угол иметь в лесу и письменный стол  
И наблюдать, какие певчие страсти  
Держит в зеленых объятьях березовый ствол.  
Сосны скрипят, как птиц перелетных снасти,  
И серафический слышится мне глагол.  
Время делю я всего на четыре части  
Года: мне страшен вечности произвол.

Вряд ли б смогло по истории сдать экзамен  
Дерево, даже пригодное для икон.  
По-настоящему прошлому верен камень —  
В память свою, как человек, влюблен.  
Памяти опыт, как всякий опыт, печален —  
Больше от следствий не жду никаких причин, —  
Нет ничего свежее древних развалин,  
Нет ничего древнее свежих руин.

Крошево дня вокруг памятных мест, а ночь-то  
В мраморном крошеве звезд. Под летнюю сень  
Сведенья эти приносит мне птичья почта,  
Хоть воспеваю только наглядный день.  
Господи Боже, спасибо Тебе за то, что  
Угол мне дал в лесу и письменный пень.

16 июня 2001.

### При содомских воротах

Не минуй мои ворота, заходи, я накормлю,  
Даже водкой напою,  
даже песенку спою  
Про Содом тот многогрешный, тот, который так люблю,  
Что никак я не спалю  
память бедную мою.

Там была я при воротах виноградной лозой —  
Лунной ягодой светясь,  
я над ангелом вилась

---

Лиснянская Инна Львовна родилась в Баку. Поэт и прозаик. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии России за 1999 год. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Перedelкине.



И пред дьяволом стелилась. Но Господнею грозой  
 Не спалилась, а спаслась,  
 стражей втопанная в грязь.

След от праведника глубже, чем от гневного огня, —  
 И от лужи до песка  
 шла я многие века.  
 Но по городу Содому, где сгорела вся родня,  
 Одинокая тоска  
 хуже камня у виска.

Нет, минуй мои ворота, не заглядывай в мой дом,  
 Где я разумом больна  
 от навязчивого сна.  
 А Содом стоит на месте, хоть оброс железным мхом  
 Да стеклом из-под вина,  
 не допитого до дна.

25 мая 2001

### Театр одного актера

Кажется, живу я по привычке —  
 Наподобие часов.  
 Но когда меж птичьих голосов  
 Пролетает голос электрички,  
 Вижу, как в проходах поездов,

В тех вагонах, где не слишком густо,  
 Порывая с ремеслом,  
 Нищенство становится искусством  
 И играет времени излом,  
 Где горит без пламени Содом.

Кто имущий здесь, а кто убогий  
 С жуткой быльёю на устах? —  
 И не важно здесь, что бард безногий  
 В тамбуре был на своих ногах  
 И затапывал табачный прах.

Кто не знает про суму и посох?  
 Но вот этот, этот на колесах  
 Одного народа театр  
 Вышибет из глаз твоих раскосых  
 Не слезу уже, а едкий натр.

Кто проситель здесь и кто даритель?  
 Что есть — почва, что — сума?  
 Неужели я — сторонний зритель  
 И меж птиц, поющих задарма,  
 Не схожу ни с ритма, ни с ума?

22 мая 2001

## Карнавал

Начинается хоровод  
С танца маленьких лебедей.  
Веселись, содомский народ,  
В трубы дуй, в барабаны бей!

Веселись, обнищальный люд,  
Скоморошья маски надень,  
Будет в небе тебе салют,  
Будет память на черный день!

В паре с бабой баба идет,  
А мужик идет с мужиком,  
В волосах серпантин цветет  
Наркотическим лепестком.

Веселись, народ, веселись,  
Что еще остается нам?  
Разойдись, народ, разойдись,  
Разойдись по своим шатрам!

30 мая 2001.

\* \*  
\*

Где стена крепостная и где глашатая медь?  
Где озерная отмель и цитруса позолота?  
Оглянувшись на прошлое, можно окаменеть,  
Как случилось совсем недавно с женою Лота.

От всего Содома остался столп соляной —  
То ли городу памятник, то ли Господней воле.  
Получается — взгляд назад может стать виной,  
А одна слеза — может стелюю стать из соли.

Человечеству страшный пример подают небеса —  
Так разрушена Троя и взорвана Хиросима.  
Да и где пограничная, собственно, полоса  
Между тем, что прошло, и тем, что проходит мимо,

Между тем, что проходит, и тем, что еще грядет?  
Разве лучше содомских грядущие горожане?  
Неужели на семьдесят градусов поворот  
Головы неповинной — великое послушанье?

Я греховней супруги Лотовой в тыщу раз —  
Но вопросы мои заметут, как следы на дороге, —  
А куда, не скажу — на обочинах автотрасс  
Дьявол в смокинге черном и ангел в лиловом смоге.

26 июня 2001.

### Дым

В рюкзачок впихнула я манатки,  
 Погасила лампу в коридоре  
 И ушла из дому без оглядки.  
 За спиною полыхало море  
 И земля пожаром нефтяным —  
 Тенью от него стелился дым.

Я была служанкой в доме Лота,  
 (Но об этом умолчал историк),  
 Лот мне указал не на ворота,  
 А на сточный выход через дворик,  
 Я же, вылезшая из дерьма,  
 Не сошла ни с тропки, ни с ума.

Да, я уходила без оглядки  
 На людские вопли, что надсадней  
 Треска бревен и кирпичной кладки.  
 Чем правдивей — тем невероятней:  
 Дым один шел впереди меня  
 В неизвестность нынешнего дня.

И сейчас, склонясь над мемуаром,  
 Ни одной строкой не поперхнулась,  
 Только дым, отброшенный пожаром,  
 Тенью стал и совестью моей, —  
 Я на город свой не оглянулась,  
 Я содомских грешников грешней.

29 мая 2001.

### В пригороде Содома

Память — горящая спичка в соломе,  
 Но на соломе давно мне не спится —  
     Ужасы снятся.  
 Падшие ангелы в новом Содоме,  
 Если не воры и не убийцы —  
     Сушие ангцы.

Боже, почто обратил ты в уголь  
 Город, которым не правили воры  
     Или убийцы?  
 — Чтобы твой ужас не шел на убыль! —  
 Звездные мне отвечают просторы  
     Голосом птицы...

А серафим с обгорелой ключицей  
 Водит по воздуху, как по странице,  
     Пальцем увечным:  
 Бог увидал, что пожар — не в науку,  
 И заменил Он мгновенную муку  
     Трепетом вечным.

### Последний сон

В мелкий дождик Илья-пророк облака на днях истолок —  
Дождь идет, толченым стеклом освещая мой потолок,  
Или то хрусталь над столом трети сутки уже горит,  
Или сплю я бредовым сном, но блестящим, как антрацит.

Кем-то брошен на мой порог умирающий голубок —  
Черным углем из-под крыла кровеносный мерцает ток.  
Нет, не голубь — я умерла, нет, не вестник, а я мертва!  
Бьет и дождик в колокола, что желанная весть жива.

Даже дождик наискосок — сну безумному поперек —  
О спасенье благовестит!.. До весны еще долгий срок —  
Еще осень нам предстоит, еще будет зима навзрыд  
Завывать над одной из плит, где содомский мой сон зарыт.

30 мая 2001.

### Короткая переписка

**Он:**

Дорогая, ты время и место перевираешь,  
Очередность событий и города,  
В пригороде Содома заранее открываешь  
Еще не рожденным волхвам свои ворота.

Неужто факт и число ничего не значат?  
Неужто вымыслу вовсе удержу нет?  
Неужто мифы твои с Клио судачат,  
Переменяя с Ветхим Новый Завет?

Не забегай вперед на тысячелетья,  
А вспоминай подробности. Впрочем, ты  
Упредила в прошлой записке советы эти  
Не без присущей тебе затейливой прямоты:

«Услышав эхо колокола в посуде,  
Я точно помню — с какого пригорка звон,  
А вспоминать — не значит ли, что, по сути,  
Памяти ты лишен»?

**Она:**

Жизнь удлинилась, строку разогнав,  
Дыхание сократив.  
Более факта, ты полностью прав,  
Меня привлекает миф.

Вышел Иона из чрева кита,  
Где за трое суток продрог.  
Я отворю ему ворота,  
Пускай отдохнет пророк.

Белье просушу, напою вином  
Мускатным, густым на вкус,  
Пусть он забудется вещим сном  
Длиною в китовый ус.

Пусть снятся ему трое суток Христа.  
 Этот же самый срок  
 Провел Иона во чреве кита  
 И Воскресенье предрек.

23 июля 2001.

### Кукловод

И те, кто в пути,  
 И те, кто сидят по домам,  
 Простите меня, простите меня, простите! —  
 Ведь, как ни крути,  
 Мне легче живется, чем вам, —  
 В руках у меня от кукол молящихся нити.

Я тот кукловод,  
 Кто, дергая нити строк,  
 Свою заглушает боль, печаль избывает...  
 За целый народ  
 Страдает только пророк,  
 Но где он, которого камнями побивают?

Простите меня  
 За остывшие угли молитв —  
 Что взять с кукловода? И все-таки знайте —  
 Что не было дня,  
 Когда бы куклы мои  
 За вас не молились...

29 апреля 2001.

### Имена

Я пишу лишь о том, о чем я вслух не рискну,  
 В моем горле слова — словно дрожь по коже,  
 Мой язык в нерешительности ощупывает десну,  
 Потому что мне каждое слово, что имя Божье.

Оказалось: у Господа много земных имен —  
 Имена земель и пророков, песков и племен,  
 Певчих птиц имена, имена калик и поэтов,  
 Имена деревьев в лазоревом нимбе крон,  
 Имена далеких морей да и тех предметов,  
 Чей во тьме ореол то розов, то фиолетов.

Как же можно такое кому-то высказать вслух,  
 Нарекать Божьим именем здешних имен избыток?  
 Но какой с меня спрос? — жизнь моя — тополиный пух,  
 Тень малиновки, пыль с кукловодных ниток,  
 А вернее всего — обветшалой жалости свиток.

20 июня 2001.



---

---

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

\*

## ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ

*Повесть*

### ГЛАВА 1

— **В**ы знаете, что у Есенина и Зорге был сын? Я пошатнулся, но устоял. Редактор смотрел на меня пытливо и благожелательно. И это — та работа, которую мне давно таинственно обещали мои друзья, ради которой я сырым летом прогнал свою семью в холодную, дырявую халупу? Работа, которая резко должна была поднять мой имидж, а главное, доход? Не молчи! Какой-то реакции он от тебя явно ждет: если не восторга, то, во всяком случае, признательности. Главное — не сгупить, не задать мелкий, недостойный серьезного специалиста вопрос типа: «А как же у них?..» Сексуальный интерес отмечаем сразу: это не тот масштаб. Редактор явно ждет от меня реакции более зрелой. А такие мелочи... Рихард Зорге, насколько я помню, был гением конспирации, так что вполне мог оказаться и женщиной.

— Но это же в корне меняет... многие страницы нашей истории! — изумленно произнес я.

И это была правильная реакция: редактор расцвел. Если уж они открыли некоторые тайны своих архивов, то наверняка не для того, чтобы подогреть в ком-то чахлый нездоровый огонек, а для того, чтобы по-новому осветить нашу историю. Я гордо выпрямился — гордый тем, что мне доверили такое задание.

Но душа скулила где-то в углу. Меня больше волновала сейчас не судьба сына Есенина и Зорге (даже если он существовал в действительности), а моя собственная судьба. Как же я сюда докатился? Ведь когда-то писал все, что мне хочется! Молодость! Дерзость! Жадность! Из этих качеств осталось только последнее, только жадность и удерживает меня пока на ногах, низкий ей поклон.

Но друзья, мои друзья, направившие меня сюда с мудрыми и проницательными улыбками, считают, что я как раз до этого дозрел и больше уже ни на что не способен? Так, видимо. Это конец. И надо принять его мужественно, с улыбкой.

— Мы настояли, — сообщил мне радостно Андре, — и они согласились пустить тебя — именно тебя — в их гнездо!

Но яички тут оказались тухлые.

— Вы даете эту папку мне? — спросил я дрогнувшим от счастья голосом.

— Увы, нет, — после долгой паузы вздохнул он. — Пока еще не имеем права. Слишком многие из перечисленных здесь еще в строю.

Это плохо.

— Пока могу вам дать одну лишь фамилию... — Редактор вздохнул. — Полковник Етишин. Он задействован в этом весьма непосредственно.

— ...Я могу его видеть?

— ...Увы, нет.

Да. Небогато. А как в смысле аванса?

Чужие мысли он читал без труда.

— Насчет финансов вам все скажут в бухгалтерии. Я в этом не разбираюсь! — Он благодушно отмахнулся ладонями: мол, и без этого хватает забот! — Ну, — он приподнялся, — мы надеемся на вас! На вашу добросовестность, принципиальность, а если понадобится, — он сделал паузу, — и смелость!

Вот это зря. Смелость бы мне не хотелось сюда вкладывать. Да и вообще... Но что делать? Другой работы мне не светит в ближайшие годы. Мое место — тут. Печально это понимать. Улыбайся, прощайся.

Рукопожатие у него оказалось довольно вялым. Не поверил в мои возможности?.. Правильно сделал.

Ну, Андре, гад, который непосредственно направил меня сюда!.. «Твоя книга перевернет все!» Как бы она меня не перевернула, мой утлый кбрабль! Друг мой Андре, с его необыкновенной доброжелательностью и простодушием, не способный хитрить и лукавить, и зачитал мне со светлой улыбкой смертный приговор.

Никогда не видать мне полковника Етишина, а если даже я с риском для моей и его жизни найду его, то полковник, разумеется, ничего не напишет и не расскажет. В хорошую иллюзию я ухажу... похожую на иллюзию вечной жизни.

Осталось только поблагодарить Андре, заглянуть в его добрые глаза. Как деликатно и красиво проводил он меня в последний путь! К сожалению — не долгий. Выданного аванса хватит не более чем на месяц, а если поделиться им с семьей, что неизбежно, то на неделю. Спасибо, Андре!

Я вскарабкался к нему на мансарду по крутой лестнице... Как он по неслучайку раз в день сюда забирается с больной ногой? И никогда не жалуется! Светлая душа.

Владелец «светлой души» встретил меня с некоторым испугом.

— Если будешь еще и благодарить — я обижусь! — воскликнул он, но зато сам вместо меня заговорил взволнованно: — Ну и что они там? Крутились небось, как угри на сковороде? Пытались наверняка вырвать самые важные страницы?!

Да. И это им удалось. Вырвали самые важные страницы. То есть все. Но говорить это Андре я не стал. Человек хотел мне добра. И его сделал. То самое добро, которого я сейчас, видимо, достоин.

— Что там с нашим «Ландышем»? — спросил я, повернув разговор в желанную для меня сторону. — Функциклирует? Что на этот год?

Андре ласково улыбнулся, подмигнул.

— Понятно. Хочется размяться перед серьезной работой? Узнаю обязательно — Любе позвоню.

«Давно, усталый раб, замыслил я побег». Всю зиму я только и мечтал что об этом «Ландыше».

Образовался он абсолютно неожиданно. Это на первый взгляд. Год назад мы чудесной компанией поехали в Спиртозаводск: Лунь, совесть нашего поколения и всех предыдущих, Сысой, как бы его «сменщик», но не обладающий, на мой взгляд, ни одним из требуемых для этого качеств, Марьев, главный редактор журнала «Марево», историк Ушоцкий, социолог Сутрыгин, молодая поэтесса Любовь Козырева, введенная в группу (лично мной) для молодого задора, скульптор-формалист Булыга, кинооператор Андрей Геесен (Андре) и я, летописец тех дней. Принимало нас, как это было тогда положено, местное начальство, кормило, поило, обувало, возило на разные водопады и рыбалки и на встречи с трудящимися, при этом

мы абсолютно на всех встречах (так было принято в те странные годы) носили это начальство почем зря: и экономику края они разрушили, и древнее деревянное зодчество (дома, превращенные в коммуналки) сгнило на их глазах. Самое странное то, что начальству полагалось сидеть при том с покаянным видом. Я старался хоть как-то их похвалить (водопады тут, в общем, неплохие), но мои спутники глянули на меня с яростью (рenegат!), и даже Лунь, который с его совестью вписывался во все эпохи, посмотрел на меня с грустью и покачал головой: эх! мы были другими!

Когда мы шли уже на вокзал, я чуть приотстал, как отщепенец, и вдруг увидел, что подошла какая-то якобы пьяная компания, и после недолгих дебатов: «Позорите наш город!» — наших стали лупить. Наши почти не оказывали сопротивления, их сильной стороной было слово, только Любка, хулиганка с детства, отбивалась неплохо. Я кинулся к ним, но был отброшен крайним из нападавших: «А ты вали!» Так я и чувствовал, что защищенные мною водопады отольются мне горькой слезой! Однако мне все же удалось пробиться в эпицентр драки и получить несколько весомых плюх (одну, кажется, от Сысой). Но это не спасло мою моральную репутацию: когда мы все вместе (правда, почему-то без нападавших) оказались в милиции, Сысой, достигающий небывалой своей моральной высоты в основном унижением других, рывкнул: «И ты смеешь после всего садиться с нами? Отойди!» Андре глянул на меня сочувственно, хотя поднять голос в такой момент в мою защиту не решился.

Неожиданно вошел генерал. Он был в довольно элегантном штатском, но то, что это был генерал, не вызывало сомнений. Лишь генерал может держаться в милиции столь непринужденно.

— Зорин Митрофан Сергеич! — запросто отрекомендовался он и сразу же сделал доброе дело: легким движением руки присоединил меня к общей группе задержанных. И даже Сысой-горлопан не подал голоса, он, в общем-то, неплохо представлял, где можно горланить и когда.

— Что же вы, братцы-новобранцы, натворили? — ласково заговорил Зорин. — Народ наш вами не доволен. А?

— Во-первых, мы не новобранцы, а во-вторых, не ваши! — дерзко ответил Андре. — И народ, с которым мы имели контакты, — он тронул желвак под глазом, — не наш, а ваш!

— Я думаю, — улыбался Зорин, — нам нет смысла с вами ссориться. Не те времена. Я думаю, сейчас мы должны прилагать совместные усилия на благо общества!

Одним из таких «совместных усилий» и оказалась моя командировка в архивы, где мне был преподнесен уже упомянутый сюрприз.

После беседы мы были мгновенно тогда выпущены, более того, на перроне нас уже ждало телевидение (кажется, это Любка-партизанка сумела выбраться из окна туалета и все организовать). Уже героями, окруженные прессой, шли мы к вагону, и тут к седоглавному Луню, нашему бесспорному моральному лидеру, кинулась какая-то беззубая бомжиха в опорках и поднесла ему букетик ландышей, тугих, скрипучих, с прохладными белыми шариками меж листьев. И это сняли — и вскоре та фотография обошла мир. Бывают такие счастливые стечения обстоятельств!.. Или не бывает их? Вскоре после того, как Любке пришла мысль зарегистрировать наше сообщество официально (сопливого названия «Ландыш» я ей никогда не прощу), нас стали пускать в компании лучших людей, которых оказалось в нашей стране довольно вдруг много. И даже, благодаря энергии Любки, нас узнали за рубежом — и мы получили приглашение в международный круиз разных прогрессивных сообществ со всего мира по Балтике. Мы плыли в шикарных каютах, чудесно харчились, и все радостно приветствовали нас: ростки нового в пробуждающейся России! Лунь, конечно, был в центре — ясно, что это он нас пробудил.



Потом, правда, как это умел только он, Лунь резко от нас отмежевался и осудил, оставшись одиноким и белоснежным на недоступной простом смертным высоте (отсюда и прозвище). Проплыв с нами (в каюте, кстати, люкс), примерно через неделю он выступил с резким осуждением круиза: оказывается, мы совершенно не общались с представителями народов тех стран, где сходили на берег, предпочитая общество премьер-министров и членов королевских семей, кроме того, как указал Лунь, мы сами провели время довольно празднично, не приняв ни одного крупномасштабного решения и вообще не делая ничего. Что Лунь из любого дела вдруг вылетит, опозорив всех, на недосыгаемую моральную высоту, было известно. Все были начеку — но, как всегда, проморгали: момент наиболее эффектный всегда выбирал он сам и никогда не ошибался, даже вдруг с внезапным (но точно рассчитанным) осуждением членов ЦК, что позволило стать ему недосыгаемым авторитетом и на следующую, послещековскую эпоху. Статья его о круизе, перепечатанная всюду, называлась укоризненно «Хоть бы кто-то стукнул молотком!». Мы, молодые циники, после перешучивались: «Что же это ты не стукнул?!» Однако шутки вышли запоздалые: молотком по башке досталось нам. Даже Андре, солнечный мальчик, был несколько обижен, хотя по доброте своей обещал узнать, что будет с «Ландышем» ныне, — у меня лично не было никаких других возможностей как-то отдохнуть, отвязаться от повседневности хотя бы на пару недель.

И если на то пошло — я-то как раз общался с простым народом: помнится, в салоне корабля, при стечении изысканной международной публики, я читал свой рассказ о том, как некрасивая девочка среди веселой молодежи, проносящейся по аллеям, гуляет вдвоем со своим папой, и как оба они этим расстроены, и как папа, чтобы хоть чем-то утешить ее, покупает ей шоколадку, и она разворачивает ее с громким металлическим шелестом фольги. Господа за столиками внимали равнодушно — но тут я вдруг увидал, как в черном проеме двери, ведущем в преисподнюю, в коچهгарку, стоит коچهгар-китаец с ломом в правой руке, а левой размазывает по щеке чумазые слезы. Все буквально перевернулось во мне! Как он понимал русский язык? (Корабль был датский.) Видимо, настоящее искусство не требует перевода!.. Так что и я в «Ландыше» не чужой, хотя некоторые стараются отчуждить меня от него. Причина ясна: им никогда не написать так, чтобы плакали коچهгары! У меня и Есенин с Зорге еще заплачут, хотя я пока не знаю, отчего!

Теперь бы мне хотелось уединиться дома и предаться отчаянию — но и этого скромного наслаждения я был лишен. Отправив семью на дачу, я задумался, как жить дальше, и тут же раздался звонок в дверь, я кинулся навстречу счастью — в дверях стоял чернявый человек с мешком, смутно знакомый. Кузен из Удеревки, с которым мы пару раз ящались в детстве. Теперь, достигнув зрелых лет, он занял специальность ветеринара и какую-то редкую болезнь, оперируемую только в Питере. Выписался и вот явился — в самый раз к началу получения удовольствий. Их он понимал довольно-таки своеобразно: занимался исключительно мытьем и катаньем меня. В первый же день, еще качаясь от слабости, он пошел прогуляться и купил где-то на развале самое отвратительное, что только мог найти, — раздвижную писательскую голову. Точнее — сразу много голов, вставленных одна в другую по принципу: одна голова хорошо, но чем больше, тем лучше.

— Во, гляди! — Петр поставил этот шедевр деревянного зодчества мне на стол. Зачем? Я с отчаянием смотрел на него: неужели не понимает, что моей головы там нет? Сейчас начнется попытка с откручиванием голов — причем откручиваться будут чужие головы, а страдать буду я! Подарить бы ему такое зеркало, где бы он не отражался! Примерно такие волнения буду сейчас испытывать я. Неужели он не догадывался, что меня в этой расчлененке нет? Догадывался! Еще как догадывался! Это и нравилось ему!

— Верхний — Пушкин, что ль? — простодушно спросил он, оттягивая мучительное вскрытие.

Верхний-то Пушкин. Это завсегда. А дальше — кто ж? Петр стал с жутким скрипом отвинчивать Пушкину голову. Это сам Пушкин жалобно стонал? Наконец с тухловатым чпоком и небольшим количеством опилок поэт раскололся. Следующим, знамо, оказался Толстой, глядящий скорбно и требовательно, словно вылезши из тюрьмы: «Как тут у вас с непротивлением? Блюдите, а то в бараний рог согну!» Хотелось бы поскорее следующего — дабы пытка эта не затягивалась до утра. Но следующий все никак не давался — точнее, не давался конечно же сам граф Толстой, скрипучим голосом уверявший: «Да нет там более никого! Один я! А если кто и влез, то так, разная шушера — не стоит зря мозоль натирать, занялись бы лучше чем-то полезным!» Крепкий орешек! Но раскололся и он. На свет божий в умелых руках моего родственника, сельского труженика, появилась какая-то румяная кукла с завитым локоном и такими же усами. «Спи, младенец мой прекрасный...» — скорбно произнес мой родственник, знавший литературу гораздо лучше, чем можно было предположить. Лермонтов с круглыми глазами, казалось, не узнавал своих строк.

— Хватит на сегодня! — взмолился я.

— А что ж Гоголь? — строго спросил гость.

Да, уж без Гоголя никак. Давай крути.

Знатно я тут наслаждаюсь без семьи!

Откуда у этого остроносого человека такая же сила, как у Тараса Бульбы? Тут я имел в виду Гоголя, а не моего родственника, тоже черноглазого и длинноносого, родом из тех же южных степей, но не достигшего, увы, славы Гоголя. А кто, собственно, ее достиг?

Вот так мы весело, за расчленением, проводили вечера.

В Гоголе отыскался какой-то мелкий тип, которого можно было назвать «и другие»: маленькое личико с демократической бородкой и начесом на лоб. Это они поступили широко и гуманно: почти каждый может узнать в нем своего кумира. Чехов? Очень даже может быть. Пенсне, правда, отсутствует. Бунин? У Бунина, правда, нос поострей — но длинный нос сюда не полезет. Вполне Бунин может быть! И Куприн тоже — кто любит Куприна, тоже не промахнется. Даже Чернышевский пойдет, если кто его любит.

Все. Расчленять дальше некуда. Урок литературы окончен. Если он не принесет сегодня с прогулки еще более жуткую матрешку — грозился, что закажет с моим портретом, но, ей-богу, страшновато, когда отвинчивают твою голову!

В этот мой приход с сыном Есенина и Зорге на руках Петр мирно пил чай, за что я его чуть не расцеловал: бывают же приятные родственники!

— Домой-то собираешься? — чтобы еще улучшить впечатление о нем, поинтересовался я. Когда я навещал его в больнице, он просил помочь отправить его домой. Что я и делаю.

— Да уж окрепну когда! — Он прихлебнул чай из блюдечка.

По-моему, ты уже окреп достаточно, подумал я. Вон как писателям головы откручиваешь!

— Слабость какая-то! — отдувался Петр, приканчивая стакан уже, я думаю, пятый. — Тебе Любка звонила! — фамильярно произнес он.

— Что значит — Любка? — грозно спросил я. Еще помимо вскрытия писателей он будет лезть в мои семейные, а тем более — в несемейные дела?!

— Так уж она назвалась! — пояснил Петр.

...С Любкой особый случай был: она, если можно так сказать, пала жертвой моей скромности. Вариант редкий в отношениях между мужчиной и женщиной. Впервые я увидел ее на совещании молодых дарований

в городе Пскове, когда еще интересовались такими дарованиями и совещаниями. Веснушчатые коленки — довольно уникальный случай. Тем более — для гурмана, каким я был тогда. Впрочем, и проза ее местами радовала: «Николаева догнала его». Согласитесь, звучит как стих. Тут она и пала жертвой моей скромности — о чем, кстати, я не жалею. Поскольку в тот год Союз писателей окончательно терял свой смысл — и экономический, и престижный, — было принято решение: поразить мир хотя бы количеством членов. И на том совещании было объявлено, что каждый мастер, ведущий семинар, может рекомендовать любого семинариста в Союз, и тот будет немедленно принят. Иногда и скромность бывает полезна. Я Любку не рекомендовал: нахально малость будет. На это она откликнулась абсолютно фантастической деятельностью: закончила в городке Кстове под Псковом финансовый техникум, трудилась там старшей учетчицей на фабрике кистеней, потом рванула в Питер, но сразу не стала использовать свой диплом, а поступила работать в ларек. Появилась она у меня в доме внезапно, после кровавой драки со всесильным Ашотом, хозяином ларька, который взял у нее какие-то памперсы, но денег не дал. Если бы я принял ее в Союз писателей раньше, то как бы забота о ее воспитании свалилась бы с моих плеч, а так я вроде бы должен был еще воспитывать ее. Потом пошли еще более феерические приключения — у нее закрутился роман с красавцем начальником охраны пятизвездочной «Пенты», и тот настолько вдруг потерял голову, что стал селить ее в незанятых люксах, и тянулось это почти год, пока его не разоблачили его же товарищи и не выгнали с работы. Сокрушительное очарование Любки этим не ограничилось: в очередной раз в гости ко мне она пришла не только с красавцем охранником, потерявшим работу и семью, но и с каким-то лопоухим стеснительным субъектом, как оказалось, прорабом, чье семейное положение в связи с появлением Любки тоже резко изменилось. Тут даже не было отношений любовных: он стоял на вокзале и пытался сдать пустующую квартиру жены, поскольку та переехала к нему. Подвернулась Любка, как раз изгнанная бдительными товарищами ее охранника из люкса. Они сговорились с прорабом, поехали на Сенную, там унылый прораб открыл дверь и увидел свою жену с любовником. Жена, особа горячая, несмотря на неоднозначность ситуации, кинулась бить Любку, пытаясь перенести вину на лопоухого мужа. Однако Любка все поставила на свои места. Нарушил все юный любовник жены прораба, который признался в том, что они с его женой любят друг друга уже давно и встречаются регулярно: тут уже и терпеливый прораб хлопнул дверью и предложил Любке поселиться у него — естественно, бесплатно. Любка оговорила сразу же, что это ничего не будет значить между ними, и вселила еще и бездомного охранника. Прораб, однако, сохранил право всюду с ними ходить, поскольку личной жизни у него теперь не осталось. Любка, как ни странно, чувствовала себя в этой ситуации прекрасно: «Николай! Подай пепельницу! Сергей, не молчи — это в конце концов бестактно!» Видимо, ей не хватало еще меня, раз она привела всю эту ораву ко мне. Слегка подавленный такой жизненной энергией, я предложил ее для поездки в Спиртозаводск, после чего она стала незаменимым директором престижного «Ландыша», причем отстаивала наши интересы даже в Смольном, где вроде бы у нас не могло быть никаких интересов. Или оказывалось вдруг, что мы накрепко связаны с какими-то предприятиями. Чем? Любка легкомысленно советовала нам не брать это в голову, и мы не брали.

Заверещал аппарат: она.

— Ну все! По морям мы отплавали! Все тут завидуют нам, хода больше не дадут! — прохрипела она (курит много).

Да. Кончилась малина. Не скрыться теперь будет от жизни никуда, даже к королевам, на худой конец. А жизнь моя в тупике, похожем на тот подвал с папками, ни одну из которых не дали мне.

— Придется в луже барахтаться! — бодро продолжила Любка. — Ты как?

— Я уже барахтаюсь.

— Вот и молодец! Они, — (без уточнения личностей), — согласны «Ландыш» теперь только в глубинку послать, чтобы он жизни понюхал, а не с королевами ляссы точил! Есть у тебя на примете глубинка?

— Е-есть! — мстительно глядя на родственника, произнес я.

— Где это? — вздрогнул Петр.

— И литературу там, кстати, лю-любят!

— Ничаво там не любят! — рявкнул Петр.

— Литература — чушь! — рявкнула и Любка. — Теперь они, — (кто это они?), — дела требуют! Болтовней вашей наелись уже! Настаивают, чтобы в составе группы обязательно были бизнеса, чтобы вся эта лабуда каким-нибудь бизнес-планом кончилась! Бизнесмены есть у тебя?

— У меня?.. Да вот — через площадку поселился какой-то очень крутой. Четыре месяца киргизы, как выяснилось, делали ему евроремонт. Все выскребали, до последнего гвоздика, чтобы от старого ничего не осталось. Только новое признает! Такой годится тебе?

— Где, говоришь, живет?

— Да прямо через площадку от меня!

— А-а. Напротив тебя — знаю. Это Крот. Поговорю с ним. Может, заинтересуется, где глубинка-то твоя?

Глубинка-то настоящая, без подделки. Там и отец мой родился, и четверо его братьев и сестер, в частности, мать вот этого гостя... в саманном домике на берегу реки, лениво пихающей грудью с пыльным морем. Это не там, где все любят отдыхать... но ведь мы и не отдыхать едем?

Глядя во все более изумленные глаза Петра, я продиктовал адрес.

— А что там есть?

— Море. И река. Выход к морю.

— Нет там выхода к морю! — рявкнул Петр.

— Ну, и местное население... которое не знает, что у них есть выход к морю. Пожалуй, все!

— Ясно. Будет им «Ландыш»! — Любка бросила трубку.

Петр буквально задыхался, услышав об «ответном визите». Вот так. Это тебе не головы писателям отвинчивать — посмотрим, чем действительно вы сильны!

— А на хрена нам ваш «Ландыш»? — ощерился Петр.

— Ну... например, чтобы тебя до дому на халяву довести. Во жена обрадуется!

— Она не обрадуется! — сухо сказал Петр.

Любка перезвонила.

— Кроту твоему никак не дозвонюсь. Видать, у него там штаб революционного восстания — заняты все шесть телефонов, что на визитке. Не в службу, а в дружбу: позвони ему в дверь, попроси быстро связаться с Любовью Козыревой — он знает. Побыстрей, пожалуйста.

Вот так. Я ее воспитываю — или она меня? «Николаева догнала его».

Я вышел понуро на площадку. Это конец. Когда-то я неформальным лидером лестницы считался, все жильцы с просьбами кидались ко мне: мог и в газете пропечатать, и по телевизору пугануть, а теперь — вот этот тут главный. Поставил железную дверь вниз. Себе — железную. И даже не интересуется, кто здесь живет.

Сверху вдруг донеслось: «Валерий Георгиевич! Валерий Георгиевич! Не уходите!» Судя по модуляциям тона, это бывшая актриса с третьего этажа, Лидия Дмитриевна. Всегда так говорит. Но сейчас, похоже, действительно взволнованна. «Валерий Георгиевич!.. Вы... идете к нему?» — «Да. С дружеским визитом». — «Скажите, пожалуйста, ему, чтобы он померил свою аппаратуру, а то после того, как он начал тут жить, у меня ужасно забарахлил телевизор! Сплошные полосы. Не могли бы вы сказать ему? У других,

знаете, дела — дача, работа... внуки. А у меня единственная радость в жизни... была. Посмотреть телевизор. Посмотришь — и как бы чувствуешь, что ты еще живешь, участвуешь в жизни страны, в политике и в искусстве. А теперь все это кончилось. Представляете, что я ощущаю? Что я никому, абсолютно никому не нужна и ничем абсолютно ни в чем не участвую! Живу одна, все дни в комнате, где не раздастся ни звука! Вы понимаете меня?»

Целый трагический монолог.

— Вы-то, надеюсь, не боитесь его? — Она несколько принужденно улыбается. — А то все почему-то бояться.

Не боюсь я никакого Крота! У меня в одном моем детективе есть клерк, скромный и неприметный, который еле заметным движением бумажного листа отсекает голову!

Я резко утопил кнопку переговорника. Там слышится долгое сипенье и наконец:

— Слушаю. Что?

Наверняка он еще видит нас сейчас на экранчике, выпукло-вогнутых, с большими вывороченными лицами и маленькими ножками далеко внизу. И существо это открывает рот:

— Извините, но соседка сверху жалуется, что ваши телефоны начисто забивают ей телевизор. Нельзя ли как-то этого избежать?

Пауза. Потом тот же механический голос:

— И вам это тоже мешает?

— Мне? Нет... — Я несколько даже теряюсь, поскольку не помню, мешает или нет.

Некоторое время еще слышится сипенье, потом обрывается.

Вот так. Никого я не боюсь!

— Благодарю вас! — кидается ко мне Лидия Дмитриевна, но я мужественно отстраняю ее — не стоит благодарности — и деловито сбегаю зачем-то по лестнице и только в самом внизу, в темноте у железной двери, спохватываюсь: ч-черт, я же по делу забыл сказать!

Поднимаюсь уже с трудом. Да, это получится глуповато: человек по шести телефонам по делу говорит, а тут лезет и лезет глуповатый сосед. Позвонил. На всякий случай радостно улыбался и махал перед глазком рукой, успокаивая: это я уже по другому делу, это совсем уже не то!

Представляю его гримасу!

— ...Что? — произнес наконец усталый голос.

Представляю, как я уже надоел ему за столь короткое время! Год не общались совсем, и вдруг — такой прилив эмоций!

— Извините... Любовь Козырева просила вас позвонить... Срочно, по делу.

Вздых. И отключение.

Продюсер я еще тот — впрочем, как и провайдер, промоутер, да и дистрибьютор я навряд ли хороший!

Через час Любка перезвонила:

— Готов! Теперь еще позвоню в Фонд Дугала, Мишке Берху, но к ним уже под другим соусом...

— Ты знаешь лучше! ...Аллё!

Но ее голос говорил уже с кем-то другим по другому аппарату.

— Какая-то Аэлита получается, — сказал начитанный Петр.

## ГЛАВА 2

Когда теперь звонит мне Андре, тем более — в радостном возбуждении, я вздрагиваю и настораживаюсь. Его «души прекрасные порывы» не раз уже кидали меня на гвозди, как вышло с сыном Есенина и Зорге, например.

— Привет, — проговорил он, всячески сдерживая ликование, чтобы я опять, не дай господи, не бросился его благодарить. — У тебя завтра часов в одиннадцать будет окно?

— Это смотря куда, — произнес я осторожно.

От восторга он не мог сразу продолжить.

— ...Ты не знаешь еще?! Фрол Сапегин снимает «Ландыш» и поездку его! Вчера в три часа ночи мне позвонил, и я все устроил уже!

— Что ты уже устроил?

— Съемку! Завтра в одиннадцать собираемся все на студии, в кочегарке, и снимаемся... как бы перед отъездом.

— А почему в кочегарке-то?

— Не знаю. Так Фрол решил! Я просто сказал ему, что мы уезжаем, и он отрубил: «Только в кочегарке!»

Фрол Сапегин, конечно, великий режиссер, виртуоз запрещенного фильма, прежде его душила советская власть, теперь — вульгарный рынок. Все это поднимает, конечно, авторитет... но почему-то не в моих глазах. Хотя сказать слово против Сапегина... раньше значило — объявиться коммунистом, а теперь — просто примитивом, любителем Диснея и боевиков. Сапегин умело загонял нас в угол, как рачительный хозяин загоняет кур, приговоренных к обезглавливанию.

Я уже знал, что в этот год «Ландыш» так легко в руки не дастся, но что его заграбастают лапы Сапегина — этого не ожидал. Виной всему, конечно, восторженность Андре — дозвонился ему куда-нибудь на остров Ё на севере Швеции, где тот снимал какой-нибудь языческий обряд, обязательно на черно-белой пленке без звука... Тоталитаризм, глуша Сапегина, вынуждал его ограничиваться узким руслом кинематографа. На свободе, теперь, Фрол более предпочитал какие-то международные «проекты»... символическое изгнание глистов сразу у всех овец Скандинавии, снимаемое в сто камер... или падение Пизанской башни (эта акция, горячо поддержанная неформалами всего мира, все же была как-то бюрократами всего мира предотвращена). Скандал был всемирный, и в центре его — могучая медвежья фигура Фрола или, точнее, Фро, как называл его Андре и другие поклонники. После того как он бросил копаться в фильмах и занялся лишь всемирными проектами, слава его росла. А после того, как он запустил из Марсея радиоуправляемый буй в виде головы Пушкина в сторону малой родины-Африки... соревноваться с ним стало невозможно, да и не нужно. Чего он ухватился за наш скромный «Ландыш», где тут привычный ему вселенский размах? Наверняка восторженная любовь Андре в какой-то момент его подкосила и он что-то смутно пообещал — а Андре уже загорелся.

— Ему заказали фильм о *настоящей* ситуации в России! — почему-то шепотом произнес Андре. — И он велел собрать завтра в кочегарку *всю* элиту нашего города!.. Ты не знаешь, Лунь дома или на даче?

Лунь гордо выпал из «Ландыша», как Дюймовочка из цветка... но теперь мощное сиплое дыхание Фрола нас всех соединит!

— И соседу твоему, Виктору Короткову... Кроту то есть, дозвониться не могу. Ты ему не скажешь?

Скажу. «Растворимая рыба» — так дразнят меня. Плыву даже в кислоте, где полностью растворяюсь, но какое-то, надеюсь, послевкусие оставляю? И запах. «Это ваш надоедливый сосед...»

Только собравшись уезжать, видишь, в каком красивом городе ты живешь! Мойка, изгибаюсь, сверкала, хотя у берегов была покрыта накидкой тополиного пуха, причем странно — у того берега пушинки плыли влево, а у этого — вправо. По шершавым береговым плитам, кидая цепкие взгляды, шли бомжи, с утра еще свежие, не мятые, влажно прилизанные прически их блестели. Бодростью веяло от этого утра. Ну куда ты уезжаешь?

А на кудыкину гору! Здесь ты все уже исчерпал. А вот так идти, цепко вглядываясь, не мелькнет ли где пустая бутылка, начнешь со следующей весны.

На улице палила жара, и это чувствовалось даже здесь, в чаду кочегарки, среди белых обмотанных труб. Да еще жгли ДИГи, ослепительные дуговые прожектора. За то, чтобы зваться элитой, приходится претерпевать!

— Как в горячем цеху! — утирая лицо, выдохнул Петр, которого я, конечно, тоже взял, не скучать же ему дома. Тем более, что весь этот парад интеллекта предназначен, в сущности, для него.

В угарном чаду котлов непринужденно беседовали Чухнов, Намылис, Еженцев, Гибадан, художница Ида Колодвиженская заодно с ее полотнами, а также и те, кто лежали — или стояли? — у истоков «Ландыша»: Марьев, главный редактор журнала «Марево», историк Ушоцкий, социолог Сутрыгин, формалист-скульптор Булыга... Лунь и его верный Сысой блистали своим отсутствием, как, впрочем, и сам Фрол — таких людей полагаются нервно ждать. Зато подъехал к кочегарке скромный синий «БМВ», и из-за темных стекол появился Крот — видимо, прямо от кутюрье: большой, с глубоким запахом темный двубортный костюм (такие раньше называли «партийными»), мятая по моде сорочка, огромный неотянутый узел галстука и неожиданно — почти голая, с пористой кожей на затылке и крохотным чубчиком голова. В движениях, впрочем, чувствовалась власть, так же как и в медленном, тяжелом взгляде. Андре, восторженно хромая, кинулся к нему — против энтузиазма его невозможно было устоять: даже Крот сдержанно улыбнулся, и Андре препроводил его в угар кочегарки.

— ...Элита бывает лишь у коров, — услышал я не совсем удачную реплику моего родственника и кинулся туда: не обидел ли кого?

Но за этих можно не бояться — все дружно расхохотались: веселые, тертые ребята, использующие себе во благо буквально все. Я сам где только не растворялся! Не пропадем.

— Ты как здесь? Я слышал, ты в Праге?

— Да ну ее! Уже неделю как здесь!

Веселый, дружеский гул. Снимать надо — где Фрол?

Но что значит — интеллигентные люди: когда к общему угару и духоте знаменитый ленфильмовский фанатик пиротехник Боб Марягин, пройдясь с горящим куском пластмассы, размахивая им, добавил еще ядовитости, никто не дрогнул, не завопил: мол, что такое здесь деется?! — все, наоборот, улыбались сквозь ядовитые слезы и только приговаривали насмешливо: «Ну ты, Боб, даешь!» И даже с некоторой ностальгией — многие имели отношения с «Ленфильмом» когда-то: писали, сочиняли музыку, рисовали, играли... теперь только этот запах напоминает о прошлом. «Что делать? Старая школа!» — вздыхает тот же Боб, которому этот запах тоже напоминает о славном прошлом. Картин не снимается, и кто даст ему волю подымить? Только среди старых друзей и можно еще отвести душу. Вместе когда-то переживали поправки из обкома, придирки военных, выпивали с горя и с радости... и все знали, что дым в студии — для иллюзии глубины кадра.

Фрол, чьим именем были все собраны — не последний ли раз все вместе? — блистал, как водится, своим отсутствием, впрочем, собравшиеся люди прожженные, эти его знаменитые «неявки» давно уже раскусили и лишь посмеивались: «Да он, видать, в Каннах!» — «Да у себя в Гнилухине запил небось!» Все уже понимали, что Фрол — как дым, придающий происходящему мнимую глубину.

Зато вдруг пронеслось среди присутствующих: «Лунь! Лунь появился!» Где?

И действительно, в тумане прорезался статный двухметровый Лунь с птичьим его профилем, сиплым насмешливым голосом: «Ну вы, братцы,

надымили тут! Пожар, что ли?» При этом он цепко поглядывал из-под кустистых бровей: те ли тут, что надо, в ту ли элиту он попал?

Навстречу ему бодро хромал Андре, восторженно вытягивая руки, но, когда он поравнялся со мной, я заметил вдруг у него на щеке юркую, ловко пойманную губами слезу... вовсе не химического, как показалось мне, происхождения... Опять этот великий Фрол бросил его, вдохновил и не приехал... и ясно, что не приедет уже! Позднее Луня никто не приезжает! Все! Ну, надо работать. Фрол — гений, и ему позволено все, что не дано обычным людям. Как знать, какой внезапный замысел не дал ему прийти? А может быть, он и не собирался? А кто оплатит эту съемку, неужели снова Андре из последних своих?

Трагедия эта мелькнула и исчезла, и уже через минуту Андре, вцепившись в камеру, как клещ, катился вместе с ней, как пулеметчик на тачанке, и, прищурясь, выкрикивал: «Внимание!.. Камера!.. Мотор!»

Элита умела сниматься толково, как бы непринужденно, а в перерывах между дублями дружно дымили: не хватило им, родимым, угара! Ко мне подошел Сысой, выбрав жертву:

— Ха! А ты с какой стати здесь?

С какой стати Лунь назначил его своим заместником? Ему кажется, что Сысой наиболее совестлив?

— Правильно говорят, — добавил он. — Где водка — там и Попов! — Он еще задорно поглядывал, ища поддержки. Не хотелось бы портить впечатление от элиты дикой дракой!

— А где ты видишь водку-то? — только спросил я.

— Ха! Обещали! — гаркнул Сысой.

В общем, все двигалось нормально, жужжало и крутилось, все чувствовали себя довольно бодро, хотя съемка шла уже третий час. Неожиданно самым уставшим оказался мой родственник, который, по его рассказам, мог десять часов махать косой. Здесь же он неожиданно сломался, хотя сначала участвовал в разговорах активно, но скоро сник, видимо, не понимая, как можно столько времени неконкретно говорить. В его руках вдруг появился журнальчик, который он подобрал в студийном сквере, и Петр попытался насытить познанием и каким-то смыслом бессмысленные часы.

— Город в Финляндии — пять букв? Китайский поэт четвертого века — три буквы?

Никто, однако, не захотел напрягаться, все чувствовали себя самодостаточно и так. И Петр, самостоятельно найдя все ответы и заполнив все клетки, устало сидел, постелив под себя кроссворд, прямо на асфальте. Видимо, он не ждал, что этот день потребует от него такого интеллектуального подвига.

— Эх вы... элита! — полуустало-полудовольно произнес он, когда я приблизился.

Любка, как всегда, все рассчитала до секунды. Уже когда все прощались, расходясь, она подошла ко мне и сказала негромко:

— Так ты, значит, не забыл? «Ландыш» отправляется послезавтра с Витебского, в шесть утра!

И расстояние было рассчитано без ошибки. Уши Сысой с громким хрустом повернулись на сто восемьдесят градусов. Он гневно глянул на нас, особенно на меня (и тут этот пролез), потом взволнованно (уши наливались все ярче) заговорил что-то Луню. Тут к ним подкатилась и Любка.

— А я думала, вы предали нас анафеме, — зашебетала она.

— Я не священник, чтобы анафеме предавать! — проговорил Лунь сурово.

— ...Ну что — поедем до дому? — сказал я Петру.



## ГЛАВА 3

Электричка в наши дни превратилась в какую-то толкучку. И так все мы стиснуты, к лицу лицом, а еще проталкиваются, подняв клеенчатые сумки вверх, торгаши и вопят самыми неприятными голосами (по голосам, думаю, и производят отбор):

— Еще раз благодарим за внимание и просим извинения за беспокойство, а также желаем счастливого пути и доброго настроения! Предлагаем товары, необходимые каждому дачнику, — причем прямо от производителя и без торговой наценочки. Итак: водо- и теплоизолирующие накидки, защепки для белья, а также лучшее средство для уничтожения насекомых — дихлофос!

Все-таки люди наши — молодцы. Только что стояли, обливаясь горячим липким потом, проклиная все, особенно власти, благодаря которым редкие электрички набиваются так тесно, и тут — все вдруг захохотали, гнусавый продавец оказался той каплей, что превращает страдание в хохот:

— Мне защепку для носа, пожалуйста, и вот ему, а то он очень много воздуха вдыхает.

— А мне накидку, пожалуйста, а то меня что-то знобит!

— И дихлофосом нас, пожалуйста, облейте, чтоб больше не мучиться: я плачу!

Страданье закончилось весельем, как часто случается у нас. И вроде стало ехать полегче, и самый веселый купил дихлофос и орал: «Угощаю!»

Но так приятно тем не менее было выпасть оттуда и вдохнуть настоящего воздуха!

Толпа с платформы разошлась, и я зашагал наискосок среди сосен, на ходу себя взбадривая: «Отлично! Отлично тут, особенно после душистого дождика! Живут как в раю — чего надо еще?»

Таким способом я настроивал себя на предстоящий разговор, на прощание с моими близкими — в связи с важной поездкой. Прежде я ни сном ни духом не ведал, что скоро отъеду... Хотя сделал для этого, сволочь, все, что мог! Но они-то как раз думают, что я сейчас насовсем приезжаю к ним! А все наоборот: сегодня же надо уехать. Послезавтра — в путь... Шагая, я распаял себя: хватит! Конечно же я — «растворимая рыба», но не до такой же степени, чтобы бесследно раствориться в дачной луже: таскать дровишки из леса, чистить дряблые сыроежки с женой и девяностолетним папой. Должны же они понять (впрочем, лучше им этого не понимать!), что у меня последний шанс мелькнуть чуть-чуть повыше, взлететь, как орленку!

Вот появился наш дряхлый домик и с ним унылые мысли: великая Шахматова жила себе в этом скромном домике Литфонда и не суетилась — все, включая Бродского, струились сюда! Так что не важно, где ты, важно — кто. И именно поэтому, с горечью понял я, я буду особенно яростно биться за свой отъезд, злясь именно из-за его бесполезности, поэтому особенно рьяно буду его защищать! Тупиков ты нарыл достаточно, вот посети быстро этот тупик — и вперед, в следующий! Калитку я открывал уже с яростью, может быть, чрезмерной: для того, чтобы сломить слабое сопротивление моих, и меньшей энергии достаточно...

Ну где же эти счастливцы? В окнах никого не видать. Жена, видимо, прилегла с устатку после тяжелой борьбы с кастрюлями, сковородками и рюмками. Отец, видимо, предпринял очередную философскую прогулку в лес и придет, полный наблюдений и размышлений, сядет вот на эту скамеечку, начнет неторопливый анализ увиденного — не спеша, размеренно, словно у нас вся жизнь еще впереди!

— Здорово! — поравнявшись с террасой, рывкнул я.

Маленькая, аккуратно расчесанная головка жены возникла в окошке. Личико было румяное, но слегка подпухшее... после сна?

— А-а... Венчик! — довольно вяло проговорила она (только она звала меня Венчиком). — А мы тебя ждали еще вчера.

— А что я там, по-твоему, — разогреваясь для главного, я поднял тон, — ваньку валяю? Деньги я тебе... из этого вот дупла буду вынимать?

...Начало неплохое.

— Я понимаю. — Она вздохнула. — Но ведь скучно ить.

— Скучно ей! Вон — природа какая!

— Но ведь человек — венец природы. А человек и нет.

— Как — нет? — гаркнул я. — Вот же я приехал! — Я поднялся на террасу.

— ...На сколько ты приехал?

— Потом все же... отец... не слабый типаж, — добавил я.

Жена вздохнула:

— Думаешь, что-то интересует его? Лишь великие открытия... и глобальные свершения, которые — он хитро это понимает — никогда не коснутся его! Вот тут он рассуждает, горячится, эмоции у него... А так...

Вздохнув, она уткнулась головкой мне в грудь. Значит, лишь я могу их соединять, без меня не обойдутся? Трудней всего бороться против беспомощности... сопротивления мне не будет, знаю я... поэтому особенно тяжело! Но все же подожду, пока вернется отец, чтобы объявить про мой отъезд уж обоим сразу: часть сил у них уйдет на борьбу между собой, а мне, может, придется полегче.

— А где отец? Опять в экспедиции? — бодро поинтересовался я.

— Эти его экспедиции! — совсем упавшим голосом проговорила она и даже села. — ...Вчера долго ходил... так же, как и сегодня. И возвращается — глаза задорно поблескивают, искоса поглядывает на меня. Сейчас, чувствую, выложит — и наверняка что-то подковыристое, без этого не может он. Так он свою боевитость поддерживает, а значит, молодость.

«Ну, что ты видел на этот раз?!» — сама же его спрашиваю, чтобы уж скорей.

«А? — задорно на меня поглядывает, словно подготовил какой-то радостный сюрприз. — Да что я теперь вижу? — приbedняется. — Глаз почти нет! Правда, шел возле того вон забора и видел, как мужик — основательный, видать, седобородый — дрова в сарай свой складывает, аккуратно, обстоятельно. Купил или сам наколот. Молодец!» — одобрительно так своим лысым кумполом крутит. И при этом абсолютно же ясно, что наплевать ему на этого мужика вместе с его дровами, главное — нас подколоть, какие бесхозяйственные мы, дров не покупаем, да и вообще.

«Отец! — говорю ему я (хотя мне он как раз не отец). — Если бы ты действительно хотел что-то видеть... и на самом деле переживал бы за кого-то, то мог бы легко понять, что этот мужик, как бы тебе незнакомый, на самом деле наш сосед Валера Воскобойников, который, кстати, неделю назад на своей машине из больницы тебя привез... это я к тому, если бы тебе действительно люди интересны были, а не вымыслы твои! Кроме того, живешь ты не первый уже год тут и мог бы заметить, что дрова — дрова, не заготовкой коих ты нас сейчас попрекаешь, — не имеют *ни малейшего* отношения к конкретной нашей жизни, поскольку на нашей половине дома *нет печки*. Не заметил этого? А ведь мог бы... если бы что-то человеческое *действительно* интересовало тебя!»

«...Ты закончила? — задорно так голову закинул, китайская такая улыбочка приклеилась. — Так вот, вынужден признаться тебе, что не узнал... этого человека, который привез меня из больницы — спасибо ему, — лишь потому, что я уже не вижу вообще ни черта!!! А насчет дров — я изложил лишь объективные факты и более ничего, а что вы уж там на это накручиваете... дело вашей совести — и вашего воображения! Я тут ни сном ни духом!»

Швырнул в угол свой вещий посох, ушел к себе. И весь вечер не разговаривали, спросила только его: «Будешь ужинать?» — и он надменно кивнул. Хорошо, что ты приехал... теперь все будет хорошо!

Горячая едкая ее слеза извилисто побежала по моему запястью... Нет — сейчас не скажу. Не смогу. Подожду, пока придет отче, и там, в общем гвалте и запальчивости, само, может, скажется... Подлый план.

— Ну что... готовить жрачку? — довольно уже агрессивно сказала она.

Ну-ну... Ее агрессия мне на руку... Если решусь.

Жена ушла на кухню — и тут из лесу, размеренно ступая и взмахивая посохом, показался отец. Действительно, издалека было видно на его гладко выбритом лице улыбку блаженства — значит, с новым открытием.

Вздыхнув — надо сводить воюющие стороны, — я пошел навстречу ему. Сейчас он будет делиться жизненными наблюдениями, которым мы должны будем благостно внимать, но которые доводят жену до белого каления — потому что не имеют к реальным нашим проблемам ни малейшего отношения... а назвать их ерундой на радость жене — значит обидеть бату. Тем более это совсем не ерунда. Так и приходится метаться, удерживая их у черты! Отныне — и всегда? Нет! Специально вышел встречать его вперед, чтобы наиболее восторженная — и наиболее демагогическая на взгляд жены — часть его открытий не коснулась ее ушей. Первый заряд возьму на себя!

— Эй! — окликнул его я.

Чуть не прошагал в глубокой задумчивости мимо и тут резко тормознул, изумленно вытаращился.

— Ты? Оч-чень хорошо! — после долгой прогулки разругался, крепко, крепко еще... хоть недавно и из больницы.

— Ну... что ты там видал? — Я поспешно выдаивал из него прогулочные наблюдения, которые могли не понравиться жене. А если будет что-то подходящее — расскажем и ей. Хотя это навряд ли... Специально, что ли, чтобы меня терзать, встали в позиции?

— А? — Он задорно закинул голову, весело глянул. — Представь себе — видал. Удивительную вещь... о приспособляемости растений!

И тут продолжает свою почти вековую сельхоздеятельность!

Ну, это еще ничего, подумал я... хотя жена к этому тоже не особо благоволит.

— Представляешь? — Он огляделся, на чем бы это нарисовать, но, не найдя ничего подходящего вокруг, стал изображать своими большими ладонями. — Упала сосна. Был тут ураган... у вас в городе был ураган?

— ...кажется, нет. — Одновременно я оглядывался назад: не делает ли там жена что-то предосудительное, готовясь к бою? Наверняка.

Потом я повернулся к отцу... Так всю жизнь и вертеться?

— Так вот, — заговорил он азартно, сверкая глазами. — Упала сосна. Задрала корни. И мох, что на них рос — мельчайшие ворсинки, — я разглядел.

А говорит еще, что видит плохо!

— И они сначала росли в прежнем направлении, то есть уже горизонтально. И вот — я сегодня заметил! — Он победно улыбнулся белыми еще зубами. — Концы ворсинок стали загигаться вверх, то есть к солнцу! Видал-миндал? — Он пихнул меня радостно в плечо.

Да-а... Приятно каждый день возвращаться с открытием. Если, правда, оно никому не вредит! А кому, собственно, может вредить открытие? Я оглянулся. Жены на террасе не было. Так голову отвертишь!

Он весело зашагал к дому, прислонил к крыльцу свою палку, продекламировав с пафосом: «...И, верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и вкрив». Знаю, что под настроение он может шпарить «Онегина» час подряд... но сейчас это вряд ли получится. Воинственно подбоченьясь, появилась жена:

— Ну что, жрать вам давать?

Видимо, на кухне она усугубила свое настроение.

Отец с улыбкой сел за столик во дворе, всячески демонстрируя: вот — я улыбаюсь. Не отвечаю на вызов. Я мудрый, терпеливый человек. Если дадут что-нибудь поесть — я смиренно покушаю. Нет так нет.

Жена со стуком поставила две тарелки с мясом и села рядом, ничего себе не положив.

— А ты почему не ешь? — кротко спросил я.

— Потому, что я не понимаю — сколько же можно жрать?

Отец, улыбаясь терпеливо и отстраненно, снял шляпу, обнажив мощный лысый свод, подвинул тарелку и стал есть. Ел он страстно и истово, как делал все, что действительно его интересовало. Жена глядела на него в упор и с вызовом. Ну как их оставить одних? К тому же к ограде подкатил автобус, из него вышла праздная толпа и стала слушать четко доносящиеся сюда речи экскурсовода о страданиях великой поэтессы в этом крохотном домике... Она, кстати, одна тут мучилась, а нас тут восемь человек, две семьи — еще одна семья с той стороны! Только зрителей нам сейчас и не хватало. Чувствуешь себя зверем в клетке — причем в чужой!

Все! Более подходящего момента не будет! Под это вот угнетенное состояние все пойдет.

— Кстати, — беззаботно обратился я к отцу, — тут Петр появился из больницы — у нас пока живет.

— Да-а?! — радостно воскликнул отец, всегда проявляющий к родичам с родины восторженный, хоть и недолгий интерес. — Ну и как он?!

Жена с грохотом поставила его пустую тарелку на мою. Ее-то реакция была как раз обратной: даже упоминания о родичах — даже о своих — ее утомляли. Теперь, видимо, ей казалось, что именно из-за нашествия родственников в нашу квартиру ей пришлось уехать в этот барак. Момент подходящий — хуже уже не будет.

— С Петром все в порядке, — уверенно сказал я. — Более того, завтра мы с ним и с группой писателей, философов, социологов, экономистов, бизнесменов отправляемся в Удеревку, чтобы разобраться с непростой ситуацией там, чем-то помочь!

— Это ты устроил?! — восторженно воскликнул батя.

Я скромно кивнул.

— Молодец! — сказал он.

Жена со звоном швырнула вилку, вскочила и ушла. Так. Теперь бежать за ней? Но тут заговорил отец, размеренно и благожелательно:

— Я очень рад, что ты не забываешь свою родину, и вдвойне буду рад, если вам в чем-то удастся всем вместе разобраться...

Хрена два мы в чем-то там разберемся!

— ...и чем-то помочь! — договорил он торжественно.

Мысль закончена? Теперь надо бежать к жене.

Я побежал. Она плакала в углу кухни.

— Ну что? — обнял я ее тощие, дрожащие плечи. — Должен же я куда-то ездить? Не могу же я все время один твой портрет писать? Еще кто-то мне нужен?

— Да-а! — всхлипывая, произносила она. — Этот все время про Удеревку свою говорит! Как хорошо он там жил!.. Зачем, спрашивается, сюда приехал? Как мать там вкусно кормила его... Все время хочет сказать, что здесь мерзко и что я плохо его кормлю! А теперь ты туда уезжаешь? Плохо здесь, да?

— Ну почему ты думаешь? — чувствуя, что она успокаивается, залопотал я. — Он просто так, вспоминает... детство всегда кажется самой лучшей порой...

— Да? — Она, всхлипывая, но уже успокаиваясь, повернулась ко мне.

Кажется, я сумел ее провести — с ней это так легко, что даже стыдно... перевел весь разговор на бату. А что делать? Все должно пригложаться, даже вражда, хоть и недолгая.

— Раз так, — проговорила она решительно, — веди его сейчас в Дом творчества мыться, грязного его нельзя оставлять!

— Конечно, конечно! — целуя ее, лепетал я... Как легко!

Еще хмурясь и вытирая кулачком слезы, она стала собирать ему в пакет чистое белье.

— Только плохо... что ты с ним тоже уйдешь, — значит, долго не будет тебя... Ты сегодня уезжаешь?

Я кивнул. И она кивнула.

— Ну хорошо. А я пойду тогда посплю. А то я очень устала, — и, махнув тощей рукой, ушла во тьму узкой комнаты.

— Ну что, пойдём помоемся? — бодро сказал я отцу. Теперь, когда один фронт чуть-чуть успокоен, можно на другой.

— С пр-ревеликим моим удовольствием! — проговорил отец. — Мечтал об этом с самой больницы! Ты сможешь меня сопровождать?

— С пр-ревеликим моим удовольствием! — пр-роговорил я.

И вот настала минута, когда все было хорошо. Жена спала, набираясь сил. Мы с отцом неторопливо шли мыться по красивой аллее. И даже солнце вдруг выглянуло, разобравшись с тучками.

— Да-а! — Предчувствуя блаженство и сладострастно почесываясь, отец смотрел в небеса. — Помню, однажды точно такая же была погодка... лет восемьдесят пять назад. Так же вот — то солнце, то тучки. А мы, помню, с матерью ехали в поле, снопы скирдовать. Я спиной на телеге лежал... и в то же время как будто летел... вместе с тучками. И только выехали за околицу, сразу закапало. «Ну, — мать говорит, — скирдовать нельзя, снопы будут мокрые, давай поворачивать». И только повернули — солнышко, как вот сейчас, вылезло. До дома задумчиво так доехали — мать говорит: «Да, наверное, все просохло, дождик-то небольшой был. Едем, Егорка, скирдовать...» И только за околицу — закапало опять! — Отец засмеялся. — Уж и не помню, чем кончилось тогда!

— Но мы с тобой — точно помоемся! Если урагана не будет, — пообещал я.

Отец шел со скоростью пешего голубя, но за какие-нибудь полчаса мы добрались. Мы прошли через холл Дома творчества. Там в косых лучах солнца наслаждались негой (писатели здесь уже почти не жили) пышные женщины из obsługi. Мы поздоровались и прошли в душ.

— А мочалку, мочалку положила она? — разволновался батя. Горяч! — А вешать все куда? Ни ч-черта тут нет — некуда вешать!

Я вышел в холл, под лениво-удивленными взглядами женщин взял стул, отнес отцу.

— Вешай сюда.

Я пошел в соседний отсек, вяло поплескался, вытерся. Глянул к батю... Да, темперамент другой! Он натирался, сморщив лицо — не столько от мыла, сколько от страсти. Один лишь азарт жизни владеет им... а то, что он не соответствует уже его возрасту, — об этом забыл впопыхах. И как я его поташу, после этого самоистязания, он тоже не думает. Должен думать я — обо всем и обо всех. Но не всегда, черт возьми! Уезжаю!

— Ты скоро? — устав от ожидания в холле, заглянул я к нему.

— Я еще только намылился! — яростно отвечал он.

Изменить ничего невозможно — это все равно, что остановить ладонью летящий снаряд. Может, это последнее физическое наслаждение человека, страстного во всем и всегда! Завидую его страсти! Я вышел к клумбе, смотрел, как удлиняются тени от цветов.

— Азартно моется ваш дедулька! — проходя мимо, сказала уборщица. — Не чересчур ли?

В ответ я только развел руками: не удержишь.

И наконец он выпал из душа — с алой, глянцевою, блестящей, чуть не прозрачной кожей, с отвисшей челюстью и мутным взглядом, шел зигзагами, не видя меня. Я подхватил его, усадил на скамейку. Долго он отдыхивался, наконец глаза его обрели какой-то смысл.

— С легким паром! — поздравил я.

Опираясь мне на плечо, он шел довольно твердо, но, когда мы перешли рельсы, глаза его снова помутнели, и он стал, шагая, падать левым боком все сильнее, ближе к земле, и на окрик: «Эй!» — никак не отреагировал. К счастью, тут рядом оказался приятель, Феликс Лурье, ловко поднырнул под левую руку, и втроем мы пошли.

— Что будем делать? — за спиной отца спросил меня Феликс, но отец это услышал.

— Ничего... дойдем понемножку! — медленно, но твердо произнес он.

— Я ж говорил тебе: силы береги! — проговорил я с отчаянием, но он лишь ощерился в ответ... как можно объяснить тигру, что он не сможет уже догнать козу?

Он улыбался уже блаженно — показалась родная изгородь. Потом мы рухнули на стулья перед столиком. Потом медленно пили чай.

— Да-а-а, — в блаженстве потирая майку на груди, произнес отец. — Хор-рошо! Как заново народился!.. Да-а. — Он повернулся ко мне: — Завидую я твоей поездке: там сейчас могут быть ба-альшие дела!

...Как всегда, он горячился и преувеличивал.

Стукнула дверь из темной комнаты и, улыбаясь и позевывая, появилась жена.

— Ну все, — сообщила она радостно. — Я поспала, и теперь все хорошо!

Она развесила мокрое белье отца на веревке — как раз снова выглянуло солнышко.

— Ну... вы будете жить хорошо?

— Ка-нышна! — бодро ответил отец.

— Теперь тебя собирать в дорогу? — дрожащим голосом проговорила она.

Я по возможности равнодушно кивнул.

В процессе сбора узла настроение ее снова переменялось и она, появившись передо мной, провозгласила:

— Все? Больше ничего не прикажете? Может, что-то помыть? Подтереть?! — Ее слегка покачивало. Видимо, от усталости. Отец, глядя в себя, стоически улыбался.

Уходя, я оглянулся. Они стояли на крыльце и махали.

О господи! Что такое невероятное я должен сделать в этой поездке, чтобы оправдать свой отъезд?

Солнышко кончилось, и пошел дождь.

## ГЛАВА 4

Последняя моя ночь здесь была бурная: я просыпался то от дрожи, то в поту. То неоправданный оптимизм вдруг охватывал меня, то отчаяние. Ну а правда — что еще делать мне, как не примыкать к разным бессмысленным поездкам, где еще кто-то видит меня? Остальное все исчезло, рассосалось, как дружба моих друзей, с которыми, как когда-то казалось, мы сделаем все. Сделали мало. Гораздо больше выпили. А из оставшихся конкретных дел?.. Полковник Етишин молчит, не подает никаких признаков жизни. Остроумный роман «Печень президента», который я весь год писал, ушел вместе с президентом и его печенью. За детектив «Пропавший дворник» получил аж пятьдесят долларов — и это все! Долгое время у меня жил, вселяя надежды, чешский переводчик Ежи Елпил, но, так ниче-

го и не переведа, вернулся в Злату Прагу. В свое время, как я говорил, Любка пала жертвой моей скромности — зато потом много раз я становился жертвою ее наглости: в ее газетку «Загар», предназначенную для чтения на пляже, она заставляла писать гороскопы! Свою честь махрового материалиста продал буквально за гроши! Прямо перед высшими силами неудобно. «Стрельцам на этой неделе следует всерьез задуматься об установлении натяжных потолков». То жадностью, то бедностью томим, я писал эти штуки полгода, но ни разу не получил денег — расплачивалась она в основном товарами, рекламируемыми в ее газетке: до натяжного потолка я не допрыгнул, типичной ее валютой были, например, веселенькие зажимы для белья — однажды она, расчувствовавшись, выдала их мне двести штук, даже если я все наше белье развешу, зажимов истрочу одну треть. Теперь и это кончается. И дальше — что? Пишу заказное произведение — «Песнь кладовщика», — но заказчик, кладовщик, исчез куда-то. Не на что опереться. В связи с исчезновением демократии в нашем отечестве рухнул последний устой. Теперь — только езд и езд, не останавливайся. Остановишься — смерть.

Свой настоящий рейтинг я понял на днях. Позвали на презентацию сборника «Истоки глубин» — но что-то не социальное, а мистическое. Оделся изысканно, как всегда: карман для закусок, карман для горячего, карман для дыма дорогих сигарет, — и только вошел в банкетный зал, надкусил бутерброд с сыром, как вдруг распорядитель вырывает из зубов бутерброд. «У вас какой жетон? Белый! А с белым даже в здание велено не пускать! Как вы просочились?» — «Как дым».

Теперь только с Петром-родственником о литературе поговорить, но и того дома нет! Решил, что в нашем городе недобрал самого главного: пошел в ночной клуб с казино. Пройдет ли фейс-контроль, а если пройдет, то выйдет ли, особенно если выиграет, что с его нахальством вполне возможно? Еще поездка не началась, а заботы и тревоги о простом труженике уже нахлынули. Подойдет ли хоть к поезду-то? Без него поездка вся будет вообще бессмысленной! Впрочем, нам не привыкать! Чего только не было за последний год!

Пытался погрузиться в пучины религии, нашел одного пастыря, на Малой Охте, он долго куда-то меня вел, говорил, что успешно, но потом вдруг бросил, сказав: «Нет. До монастыря я вас доводить не буду!» И сам резко ушел — кстати, в игровой бизнес.

Куда ж нынче податься? Сделаться этаким суперпатриотом, как Сысой? Этаким сказочный русский богатырь, а вокруг всяческая накипь? Увы, бессовестности не хватит, чтобы стать таким громогласно-благородным, как он! Нет. Пусть все как раньше... Сиж у же много лет над романом «Мгла», символом свободы и неопределенности... мгла никак не рассеивается.

Только — ездить и ездить, чтобы все время мелькать, чтобы толком не разглядели.

Тут недавно предложили суперпроект: Вронский доживает до наших дней, каким-то образом сохраняет, прямо у нас, богатство и знатность и — о, месть богов! — влюбляется в хищную пэтэушницу, которая, обвенчав себя с ним, сталкивает его на рельсы метро... Нет, мой Етишин благороднее. Хотя скрывается, собака, в тени.

Господи! Но почему такой дождь? Чтобы я специально сейчас не спал, думал — как они там?

А где этот чертов родственник-ветеринар? Забыл, что завтра с ранья ему на малую родину ехать? Поглядел на окна впритык к моим — Крота, миллионера нашего, тоже нет. И он забыл? А может, они как раз и рубятся сейчас в казино, пиджаки скинули, в одних жилетках, миллион туда, миллион сюда? Вот выиграет Петр его квартиру... тогда начнется настоящий кошмар. Тогда к быкам его уже силой не затащишь, будет тут кутить,

а с таким соседом, тем более родственником, я точно пропаду. Нет уж, лучше поработать с прежним соседом-миллионером, показать ему в дырочку царство истины, справедливости и добра за небольшие деньги.

Да. Неспokoйная ночь! Спят ли они там? В такой дождь — навряд ли! Засыпая, я почему-то вспоминал рассказ отца, как зимой у них в избе ночевал теленок. «Потопчется, потопчется, словно что-то ищет, потом уляжется, свернется — и обязательно вздохнет. „Мам, — я спрашиваю. — А почему он обязательно вздыхает?“ — „А это он одеяльце на себя натягивает, сынок!“ И я тоже вздыхаю — натягиваю одеяльце!»

Некоторое время я просто спал, потом пошли короткие сны, требующие обязательного действия: куда-то идти, кому-то объяснять. Знаю уже их: мочевого цикл. Переполненный пузырь зовет в дорогу: Фрейд тут и не ночевал. Фрейд тут вообще давно не ночевал. Но надо подниматься.

Покачиваясь, пришел в туалет, широко распахнул дверь, врубил свет. Там, застегнутый, строгий, прямой, сидел етишинский редактор, держа руки на коленях.

— Погасите свет, — произнес он тихо, сквозь зубы. — За нами могут следить.

— ...Здесь?

— Всюду. И, кстати, уберите *это* — у нас серьезный разговор.

— А, да... Слушаю.

— Я могу передать вам те бумаги.

— Насчет Есенина и Зорге?!

— Не кричите так громко... Нет. Пока что — насчет полковника Етишина.

— А. Слушаюсь!.. Ну?

— Но не здесь же!

— А. Да.

— Знаете Военно-морской музей?

— Обожаю.

— Зал торпед. Четвертая торпеда от входа. Послезавтра, в два часа дня.

Послезавтра я, надеюсь, буду отсюда далеко.

— Только не вздумайте уезжать!

— Есть!

То есть — нет. Бежать, скорее бежать до самого Лишай-города, где человек, говорят, лишается памяти навсегда.

— До свидания. Я уйду тут. Через трубу.

— Это разумно.

— Все.

— Всего вам доброго.

Я закрыл дверь, задвинул защелку. Потом смотрел на себя в зеленоватое зеркало в прихожей.

— Все! Больше твои галлюцинации я обслуживать не намерен! Спи.

Улегся. Но никак не заснуть. Гулко рушились миры, айсберги и торосы — краем сознания я понимал, что это размораживается отключенный холодильник, но сознание утопало в чем-то глобальном, межгалактическом! Да, такой бурной ночи я давно не проводил!

Проснулся я от какой-то странной тишины. И свет из окна был необыкновенный — мертвенный, хотя очень яркий. Что-то он мне напоминал. Какое-то дальнее время года. Я подошел к окну. Подоконники на всех этажах, кроме самого верхнего, и сам двор, и крыши машин были покрыты белым пушистым снегом. Я стоял не двигаясь. Резко затрещивал звонок. Я испуганно схватил трубку. Голос Любки:

— Это ты все устроил?

— Что? — Я еще не верил своим глазам.

— Все это безобразие. Весь город в снегу. Твои страдания? В смысле — старания?

— Н-не знаю. Нет.



Господи! Как они там?

— Может, лыжи тебе прислать? — сдержала Любка.

— Доберусь.

— А где комбайнер? — Любка встретила меня на платформе в короткой шубке.

Редкие снежинки еще сверкали под фонарем над платформой, но под ногами уже была черная грязь. Все растопчем! Народ пер, причем, что удивительно, на наш поезд, состоявший всего из двух вагонов, примерно как царский: купейный и, что приятно, вагон-ресторан. Народу оказалось полно — «Ландыш» разбух удивительно: вот уверенно катит свой чемодан известный балетный критик Щелянский. Неужто и балеты будем там ставить? Впрочем, Любка всех радостно приветствовала.

— Вагон уже натоплен, надеюсь? — капризно проговорил Щелянский.

Выйдя из оцепенения, я вспомнил Любкин вопрос.

— Комбайнер? Какой комбайнер? Ветеринар он.

— Ну, ветеринар... Где он?

— Понятия не имею. Видимо, в казино. Но обещал появиться.

— Ветеринары в казино ходят! Хорошо живем! — усмехнулась Любка.

Рядом с ней, ни с кем, наоборот, не здороваясь, стоял Миша Берх, представитель Фонда Мак-Дугала, частично, как понял я, финансировавшего наш проект. Берх каким-то хитрым, а впрочем, самым банальным образом — немножко в оппозиции, немножко в эмиграции — сделал где-то там бешеную карьеру и стоял теперь у кормила, размышляя, кормить — не кормить? Впрочем, этих бы не кормил — на прущую, гогочущую толпу смотрел с ненавистью. Опять эти непотопляемые шестидесятники, уже которое десятилетие бузят, не смолкают, и как каждый конкретно ни называется: реформатор, писатель, экономист, социолог, — у всех одно на уме: сейчас сядут, раскинут нехитрый скарб и напьются! Причем умело напьются! Статью в номер? Эссе? Интервью? От зубов отскакивает, без малейшего промедления! А где же его любимый слой, андеграунд, с которым он столько выстрадал (не столько уж он и выстрадал)... Исчез? Казалось, такие глыбы ворочаются — пусть только коммунисты уйдут. И — никаких глыб. Вот плетется только, почему-то лысый уже, молодой композитор-модернист Урлыгаев, пишущий музыку однообразную, как кафель... Вот такая как раз Берху по душе, про такое диссертации хорошо пишутся! Урлыгаев прошел. Скульптор Булыга? Того не разберешь — и нашим, и вашим!

А где же эта совесть ходячая, всех мягко поучающая, серебрикий Лунь? Как всегда, задерживается... Без него не уйдут!

Снежинки таяли у Берха на лысине, человек даже здоровьем специально рисковал, хотя имел сзади косичку и мог при желании сделать начес.

Но раз такая проклятая жизнь — пусть голова простужается! Все равно идеалы, вымечтанные в подполье, не сбылись!

Опять у дел это хищное племя, которое везде — на всех презентациях и во всех декларациях (в смысле — воззваниях), но без них — никуда. Они все держат, и держат действительно крепче всех.

— Надень шапочку... или уйди в вагон! — сказал Берху я, но он не ответил.

— Лунь... Лунь... — пронеслось, но как-то вяло.

Берх сухо ему кивнул и злобно прокаркал:

— Через десять минут после отъезда собрание рабочей группы в вагоне-ресторане!

Поскольку — в вагоне-ресторане, то рабочей группой посчитали себя все, ответив радостным гулом.

— Ветеринар где? — стонала Любка. — Без него поездка бессмысленна!

Вместо ветеринара зато прибыл миллионер, в темном «БМВ» подкатил прямо к платформе, вышел с небольшой сумочкой, кивнул кому-то внутрь, и машина отъехала. Не с ним ли сражался в казино ветеринар? Узнать бы итог! Но миллионер, ни на кого не реагируя, прошел в вагон.

Ну вот наконец и мой! Подъехал в семиметровой машине, на которой — согласно легендам — из казино вывозят то ли сказочно выигравших, то ли в пух проигравшихся. Петро — тот, похоже, все успел. Выпал в каком-то дивном полшубке, под ним светился крахмальный пластрон, бабочка в горошек, из одной — правой — руки плескал на всех шампанским, другой обнимал почти обнаженную женщину — видимо, звезду стриптиза. Хорошо отдохнул, культурно. Я почувствовал к нему острую зависть. Такой же горячий, как мой отец. Один корень!

— Вот, — представил я Любке. — Ветеринар. Кстати, после полостной операции.

— Похож на ветеринара, — оценила Любка.

— Тебе бы застенчивости немного, — заметил ему я.

— Да. А застенчивый, думаешь, с быком справится? — нагло заявил он.

— Девушка с вами? — Любка приготовилась сделать пометку в блокноте.

— Н-нет! Налажу там кое-что у себя — тогда выпишу! — сказал Петр, мягко отпихивая ее. Рыдая, она пошла в золотых туфельках (другой одежды не было) по платформе и скрылась в недрах семиметрового лимузина.

— У меня там отел скоро пойдет! — проговорил Петр. — Едем — чего ждем?

Поезд наконец тронулся.

— Все! — сказал я Петру, когда мы с ним уселись в купе. — Постепенно превращайся в ветеринара.

— Успею ишшо!

Сунулся было Сысой, пытаюсь согнать меня с нижней полки, коря, что я тут раскинулся с родственниками, но Петр показал ему кулак, которым валил, рассерчавши, быка, — и Сысой оскорбленно удалился. В общем, все распределились по справедливости. Самым справедливым — отдельные купе.

А Петр долго еще не мог уgomониться, ходил, резко отодвигая двери купе, звал всех «иттить кутить», но лучше других тормознул его Марьев, главный редактор «Марева», сказав, что надо «иттить заседать».

Представитель Фонда Дугала Берх, сам ничего, в сущности, не создавший, но умеющий направлять, как ему казалось, сидел в дальнем конце вагона-ресторана, как бы обозначив президиум, с ним рядом Любка в строгом деловом костюме — и, знамо, Лунь, который, войдя в вагон, как бы растерялся — куды же ему сесть? Ни одного свободного места!.. Тильки в президиуме. Перекошенным от ненависти ртом (а что делать?) Берх выговорил, что первое слово предоставляется... старейшему... чей голос звучал еще тогда... когда. И в общем-то, действительно, как Горький, говорят, смягчал Ленина, так Лунь взял под свою опеку всех остальных.

Слегка покачиваясь, что объяснялось, разумеется, качкой вагона, Лунь глухим голосом произнес, что в эту лихую годину, когда наша страна стонет от нищеты, бесправия, чудовищной коррупции, тихий голос совести непременно должен звучать, только он остается ниточкой в хаосе, цепляясь за которую можно выбраться к справедливости, свету, а потом уже — что, в сущности, и не важно — к благополучию. Впрочем, добавил он, для людей духовной жизни материальное благополучие и удобства никогда решающей роли не играли. Но раз уж попросили его (поворот к Любке) поблагодарить тех, кто материально помог этой поездке (поклон Берху и Кроту), то он от имени всей группы делает это... Но — проскочив это неприятное место, Лунь воспарил снова — если надо, он пошел бы по Руси и пешком — сеять разумное, доброе, вечное...

В разумных пределах.

Все понимали, что никогда никуда он пешком не пойдет, но тем не менее он пробрал всех до слез. Андре, снимавший все это, открыто плакал — как он плачущим глазом в кинокамеру смотрел? Кстати, Фрол, чей гений реял над нами, так и не появился, чем Андре был очень расстроен — потому, может, и плакал так шибко?

Впрочем, и Любка, и даже Крот, сидевший абсолютно до того неподвижно, смахнули слезу.

Берх давно уже нетерпеливо скрипел стулом, рвался в бой: сколько можно терпеть эти стариковские сопли, этот кисель, когда весь мир уже живет по другим канонам?

Не дождавшись конца всхлипов (видимо, тут были уже крепко выпившие), он заговорил жестко и отрывисто:

— Фонд Мак-Дугала согласился оплачивать эту поездку *частично* только потому, что...

Резкий обрыв речи, ненавидящий взгляд: да прекратятся ли наконец эти рыдания?

— ...Только потому, что поездка эта ни в малейшей степени не будет напоминать прежние мероприятия, к каким большинство из вас (ненавидящий взгляд), видимо, привыкли.

Пауза. Рыдания прекратились.

— Поездка эта будет носить исключительно рабочий, исследовательский характер, и фонд надеется, что каждый вложенный цент, — (зал взволнованно загудел: где эти центы?), — окупится. Поездка эта *ни в коей мере* не будет напоминать *недоброй памяти* выезды советских писемников, — (тут максимум ненависти), — в подшефный колхоз для знакомства с жизнью свинооткормочного комплекса с последующим поеданием лучших образцов.

— А чего ж тут плохого? — Неполиткорректная реплика Петра, оставленная без ответа, но залом принятая сочувственно.

Берх заговорил еще жестче:

— Исследования, проведенные западными учеными, гласят, что наилучшим методом для изучения окружающей действительности является метод провокаций: мы нарушаем обычное течение жизни какой-нибудь *провокацией* и наблюдаем результат!

Лунь поднял седую бровь и слегка отстранился.

— Так нам же харю начистят! — воскликнул Марьев.

— Да, прежними мы не вернемся! — жестко проговорил Берх. — Трение с жизнью предполагает... некоторое стирание черт лица!

— И так уж их почти не осталось! — выкрикнул кто-то, и зал засмеялся. Жесткая политика Берха не проходила. Пока. Скромный капустаный салат, стоявший перед каждым, к провокациям как-то не располагал.

— Круто берешь! — крикнул Марьев.

— Желаящие могут сойти!

Господи — куда же несемся мы?

Крот в своей речи поведал нам, что его увлекли наши гуманные идеи, поэтому он участвует. Его конкретный план — тендер, то есть конкурс, заявленный правительством на строительство нефтяного терминала. Проект обязан быть не только экономически выгодным, но и духовно насыщенным. И тут он надеется на нас.

— Проект может в себя включать экономические, социальные и даже, не скрою, политические изменения в жизни края. Незыблемость «красно-го пояса» может быть нарушена!

Ждал восторга! Жидкие аплодисменты. Не тот уже накал!

— Понятно. Трест «Шантажмонтаж»! — бестактно произнес Петр.

— Кстати, — явно обидевшись, сухо добавил Крот, — за реализацию этого проекта взял с меня немалые деньги известный режиссер Фрол Сапегин... которого я здесь почему-то не вижу.

Все вежливо поозирались... Да, Фрола нет. Как и всегда, впрочем. Это птица дальнего полета: где-нибудь над Австралией машет крылами.

Видя, что бури или даже волны сообщение его не вызвало, Крот надал:

— Еще могу добавить, что уже осуществленные мною проекты все имеют мировой сертификат и всегда безупречны. Жизнь возле наших терминалов, как правило, значительно улучшается. И по поводу экологии (взгляд на Берха) можете не беспокоиться. Возле таллинского моего терминала плавают лебеди.

Максимальный эмоциональный взлет, который позволял ему его образ, был омыт жидкими аплодисментами. Совещание заканчивалось (как и капустный салат).

— А что мы будем иметь? — выкрикнул Петр.

— Вы уже имеете обратный билет домой, — сухо пошутил Крот. Всех, оказывается, различает! Желаящие посмеялись. В общем, его сообщение мне понравилось больше других.

— А горячее будет? — выкрикнул кто-то, вызвав смех.

Крот сделал сдержанный жест в сторону Любки. Любка, комиссар бронепоезда, соревнуясь в сухости с предыдущими ораторами, сказала, что дисциплина должна быть железной, обстановка рабочей...

— А как же! — выкрикнул кто-то.

— И главное — никаких отставаний от поезда. А если кто-то все же отстанет и не сможет добраться до цели — пусть сеет разумное, доброе, вечное там, где окажется, — на обратном пути его заберут! Горячее будет, но в четыре часа. Все! — Она поднялась.

— ...Лебедь, рак и сука! — так кто-то вполголоса охарактеризовал президиум, но обиделся — причем явно — только Берх, который как раз и не вошел в список.

И все разбрелись по углам. Как ни странно, общественной жизни не хватило лишь Петру, который пошел после этого по купе, бурно полемизируя. Проходя в туалет, я услышал его голосок из купе аж самого Луна (начал с головы), и главное — знал, что нужно:

— ...Чудовищная коррупция, чудовищная!.. И бездуховность!

Лунь, растрогавшись от такого слияния с народом, щедро подливал.

Через полчаса я слышал уже из другого купе:

— ...Экономику просрали — так? А идеологию?

Это уже — елей на душу Сыся. Интересно, что они пьют?

Утомившись, я только что прилег, как дверь в купе резко отъехала, и появилась Любка... как частное, надеюсь, лицо? Но здесь, оказывается, теперь все дела были общими.

— Пошли, — сказала она.

Я с трудом приподнялся — что за команды? Ее слово вовсе для меня не приказ! Вот слово Етишина — для меня приказ.

Тем не менее я поднялся.

— Жаждет ласки.

— Кто это?

— Твой.

— Кто это — мой?

Она молча пошла передо мной по коридору.

И мы оказались в купе Крота. Это ему — ласка?

Я сел рядом с ним, Любка — напротив, слегка приоткрыв веснушчатые свои коленки, на которые Крот даже не глянул.

— Вы говорите, что уж такая я... ради денег крикнутая. Так вот вам, пожалуйста: абсолютно бескорыстный человек!

Я заерзал. Представать перед миллионером таким совсем уж бескорыстным мне бы не хотелось.

Тот досмотрел наконец свои узоры на экранчике и, чуть дернувшись, слегка подвинулся — но не ко мне, естественно, а от меня, как бы освобождая место.

— Да, дорого вы свою совесть цените! — Он насмешливо глянул на меня.

— ...Дорого? — удивился я.

— Десять тысяч баксов взяли с меня.

— Десять тыщ? — Я изумленно уставился на Любку. Она, вильнув бедрами, вышла.

— Может, вам лучше подмять под себя шоу-бизнес? — посоветовал я.

— Уже, — ответил он сухо. — Но меня больше интересуют духовные ценности.

— Так где же их взять?

— А вы не знаете?

— Н-нет.

— А разве это не вы тогда заходили ко мне по поводу просьбы старушки сверху? Просили умерить мою аппаратуру, которая мешает ей... наслаждаться телевизором?

— А, да... и как вы — умили?

— И, кстати, — продолжил он, — это единственное проявление духовности, которое я здесь встретил. Пока. И не скрою: если бы не тот ваш визит, я бы и не подумал к вам присоединиться.

...Значит, я теперь отвечаю тут за духовность? И при таком-то начальстве? Во влип!

— А я как раз хотел тут расслабиться, — признался я.

— ...Тогда давайте выпьем, — улыбнулся он, доставая виски.

— Да я буду вам Иваном Сусаниным по нашим местам! — радостно кричал Петр за стенкой.

Впрочем, когда я вернулся в купе, то уже увидел его на месте. Петр, перехитривший тут, кажется, всех и выпивший все, стонал на полке.

— Хорош, — сказал я ему. — Постепенно превращаясь в ветеринара.

— В ветеринара я превращусь лишь тогда, когда вы окончательно станете скотами! — произнес он запальчиво. Браво, Петр!

За стенкой Андре, свято верящий в пришествие Фрола, монотонно повторил:

— ...ему заказали фильм о *настоящей* жизни в России!

У меня, впрочем, тоже есть дела! Я задвинулся в уголок, зажег лампочку, достал тетрадку и написал: «Етишин ходил по кабинету».

## ГЛАВА 5

Эта же фраза украшала мою тетрадь и через неделю, когда я, проснувшись, увидел ее прямо перед моим лицом. Видимо, накануне, измученный борьбой с молчаливым полковником, я так и уснул. Рассмотрев фразу внимательно и ничего больше не придумав, я стал делать зарядку.

Присев, я видел лишь лазурное небо, привстав, видел раздольный пейзаж. Из складки горы, плавно поднимающейся на горизонте, торчало белое облачко, похожее на растрепанную ватку. Во что это выльется? Надеюсь, ни во что. Все было рожим — и травы, и злаки. Зелень была лишь вдоль реки.

В одном месте она приподнималась. Туда трудно было спокойно смотреть — это была огромная, может быть, столетняя груша. Под ней спрятался маленький саманный домик, из которого вышла вся наша семья: и мой отец, и его братья и сестры, а от них уже все мы. Теперь там жил Петр с семейством. Зина, его мать, не вышла, единственная, в столичные знаменитости, не стала (хотя могла бы) профессором, как мой отец, а

вышла замуж за местного ухаря — красавца Петра Листохвата, который во время войны тут и скрывался в партизанах — в лесах и катакомбах. Кстати, насколько я знаю, нередко скрывался он из дома и после войны, но в катакомбах ли — точно неизвестно. Зина родила двух сыновей — старшего, Юру, который был весь в нее, умный и спокойный, и стал-таки теперь профессором медицины в Москве (Зина, выходя замуж, была фельдшерницей). Младший, Петр, весь уродился в тезку-отца, и слишком бурный его нрав не позволял ему плавно идти по карьерной лестнице, благодаря чему он и остался здесь ветеринаром. Еще заимел редкую болезнь, которую по протекции брата-профессора прооперировал в Питере (почему-то не в Москве), и таким образом оказался на некоторое время у меня на шее. Теперь я надеялся сесть на его шею, но все было как-то некогда. Впрочем, я уже приезжал сюда в детстве и юности — тогда родственные связи были гораздо крепче. Брат Юра учился уже в Саратовском мединституте, а мой ровесник Петя устроил мне красивую жизнь. Сначала он с его уличными друзьями втянул меня в эпопею азартных игр (от орлянки до секи), мгновенно выиграв все мои деньги, которыми снабдили меня заботливые родители. После чего я перешел в его рабы, исполняя его приказы и капризы, бегал в сельпо за папиросами (на мои же собственные бывшие деньги). Вот когда еще у него зародилась страсть к казино! Старший брат Юра, приехав после экзаменов, попытался все ввести в приличное русло (хотя денег моих, конечно, было уже не вернуть). Юра взял в клубе шахматы и перевел бурную стихию азарта в мудрую древнюю игру. Тут я почти взял реванш и долго лидировал — за мной шел Юра, дальше — Петр, дальше ташились его уличные друзья. Победа уже была близка. Петр, правда, откладывал решающие схватки со мной и Юрой, и, как выяснилось, не просто так. Однажды на заре, когда тетя Зина выгоняла скотину в стадо, Петр резко разбудил нас с Юрой — но не до конца, — усадил нас, спящих красавцев, перед собой и выиграл у каждого по две партии, ходя, кажется, и за нас тоже. И стал победителем. Вот такой жук.

Теперь его бурная натура реализовалась вся здесь, за редкими (к счастью) выездами в столицы.

Впрочем, я приезжал сюда и еще, уже в юношеском возрасте, когда карты и шахматы интересовали меня уже меньше. Было другое на уме — и тут Петр тоже оказал колоссальное содействие моему развитию. Тетя Зина, кстати, тогда процветала, что было вполне естественно с ее талантами и красотой, и во второй мой, юношеский, приезд была уже главным врачом обосновавшегося здесь, на лечебных грязях, всеколхозного санатория «Колос». И жили они уже не в мазанке, а в уютном служебном домике. Санаторий, помню, был опорно-двигательный, что позволяло нам с Петром блистать всюду — и на волейбольной, и на футбольной площадке, — больные с неисправными руками и ногами не могли с нами соперничать, хотя азартно пытались это делать. Тут же, на танцплощадке, мы сделали с ним циничное наблюдение, что у женщин, имеющих пусть даже небольшие недостатки, резко снижена обороноспособность: не имея, видимо, больших успехов в той жизни, они активно добивались успехов здесь. Что вполне разумно. Помню, как мы с Петром сидели на меловой горке над танцплощадкой и с пресыщенностью восточных шахов взирали на танцовщиц: «Эта!.. Нет — лучше эта!»

Впрочем, только сейчас с волнением вспомнил, что конкретное мое «падение» произошло не в санатории, а как раз в родной Удеревке (мы порой с Петром наведывались и туда). Помню тесную толпу в каком-то дворе, окруженном плетнем, таз с бурой, сладкой бражкой на табурете, которую все зачерпывали кружками. Потом торопливые объятия у неосвещенной части плетня, прерывистый шепот, чьи-то торопливые руки и ударившая вдруг снизу нестерпимая сладость. Там я и обронил свою честь. Потом я шел по теплой ночной улице, слегка ударяясь о плетни. Время от

времени я падал в канаву, катался в полыни, вдыхая ее горький божественный запах, посылал воздушные поцелуи огромной луне.

Потом мы с Петром, уже пресытившись обычными радостями, доступными простым смертным, углядели домик-пряник за холмом (сейчас мне, с балкона третьего этажа, видна лишь его черепичная крыша). Однажды мы сидели с ним на холме над танцплощадкой и вдруг увидели, как в наступающих сумерках по краю санатория куда-то тихо крадется вереница черных «Волг», и мы, следя за ними, и надыбали тот припрятанный домик. Его тетя Зина держала специально для услад районного начальства — а куда ей было деться в тот номенклатурный век? Потом мы проникли туда с лучшими из наложниц (а точнее, с теми, кто мог пролезть в форточку, оставленную открытой). Помню, как мы были потрясены бездарностью этой роскоши, скрываемой от народа: диван и кресла в темно-бордовых, цвета знамени, чехлах из плюша с кистями, стол, накрытый таким же знаменем, с граненым графином желтоватой воды. Впрочем, наложниц наших, так же, как и нас, возбуждала не роскошь, а запретность. Наверное, тетя Зина все узнала сразу же — сплетни были в санатории главной забавой. Только теперь понимаю, чем она рисковала! Но не сказала нам ничего, улыбалась так же безмятежно: отдых ее любимого племянника, твердо решила она, должен быть безоблачным... Да, не бывает больше такой любви!

В заключение мы с Петром совершили главный наш подвиг — обнаружили в холодильнике домика-пряника шесть бутылок «Жигулевского», оставленного начальством после своих (надо отдать должное) довольно тихих гулянок. Пиво мы это выпили и, шалея от лихости и уверенные в безнаказанности, наполнили бутылки этим пивом, но уже льющимся из нас, заткнули бутылки пробками и поставили в холодильник. И потом, сидя на холме, давились хохотом, видя, как тянется вереница «Волг», и представляя, как чубатый секретарь по идеологии, расслабляясь после трудного пленума, задумчиво говорит: «Да-а. Странное нынче пиво!» Петр, человек хвастливый, вспоминает часто: «Мы с тобой с коммунизмом боролись еще когда!» Но я, человек более подавленный, вспоминаю это с трудом: представляю, что пережила тогда тетя Зина! Ее уже не спросишь, а Петр отвечает на все однозначно бодро. Но неужели это главное, что я сделал в этих местах?

Еще тут были глиняные, лечебной глины, скаты к мутному морю и маленькие семейные пляжики под каждым прибрежным домом, которые так и назывались: «под-Самохиными», «под-Булановыми». Не бывал еще там в этот приезд: события тут развернулись довольно бурные — еще одна причина того, что Етишин так мало ходит по кабинету.

Когда мы приехали сюда, Петр сказал: «Да, слабый „поезд совести“ наш — даже ни одна Анна Каренина не бросилась». Лунь гневно посмотрел на него. Я предупреждал Петра, что начитанность в сочетании с развязностью не доведет его до добра.

Семиэтажный дом этот, гигант по нынешним местам, был построен в санатории «Колос» в виде колоса — говорят, по личной прихоти Хрущева — для ударников труда и председателей. Теперь мы тут, выходит, ударники? Я бы этого не сказал. Семинар, который образовался здесь, назывался, по предложению Сыся, захватившего там полную власть, «Бизнес и совесть». Совесть тут, видимо, присутствовала в лице Сыся, но бизнес, представленный Кротом, после первого же заседания исчез. Совесть-то и так хороша, а вот бизнес — праведно ли жил? Хотя и совесть, на мой взгляд, в отрыве от конкретного дела тоже представляла мало ценности. Да, честно говоря, никто из докладчиков и не стремился к этой узкой теме, все копали шире и глубже. Выслушав абсолютно непонятный доклад балетного критика Щелянского, Петр верно подметил: «Тенденцией берет». Некоторое время он еще это слушал, замороженный заклинаниями и

страшными предсказаниями, и бормотал убито: «Нет сил умотать!» Но «умотал» после второго заседания. Крот — после первого.

У Крота и так хватало забот. Я повернулся к морю: оно стало серым, вороненым, как сталь. Над ним висела перекрученная туча, словно отжимающая из себя воду. Вдали, где темный длинный мыс закрывал блеск моря, в поселке Притык бурлила жизнь. Пели — отсюда было слышно — эстрадные звезды, лазеры кололи ночное небо. Так главные наши конкуренты, москвичи, боролись за победу в нефтяном тендере, предлагая строить перегрузочные терминалы там. Чувствую, по общественной значимости они давно уже обогнали нас. Впрочем, у Крота была и еще одна проблема — в полусотне метров от нас был берег Ржавой бухты, отгороженной (чуть ли не с Первой мировой войны) забором с проволокой. Туда даже Петр с лихими друзьями не мог попасть: там моряки охраняли какой-то склад боевых веществ. С такой дрянью на руках трудно было победить в конкурсе — и именно там, за забором, в основном Крот и пропадал.

Интеллектуалы блистали отдельно, на пятом этаже, в конференц-зале со скелетом в углу, бывшим тут от времен заседаний научного опорно-двигательного центра. Расставшись с Этишиным, я поднялся туда и некоторое время слушал, что они говорят. Все было на высшем научном уровне, как и на всех подобных семинарах от Омска до Нью-Йорка, — пересказ модных философских учений, посвященных в основном скорому концу света. С такой угрозой на носу как-то смешно даже было думать о мелких местных делах. Не состыковывалось. Поначалу планировалось, что к нам будут постепенно присасываться представители местных элит, будет стекаться местная интеллигенция, стыдливо играя на тальянках. Но она почему-то не стекалась — стесняясь, видимо, своего низкого уровня подготовки: «ботать по Дерриде» могли далеко не все, в основном только наши, из поезда, — давно уже мотались по белу свету, дело свое знали, но с народом как-то не смешивались, даже, скажем, с немецким или французским. Так что с местной элитой всегда были перебои. Как барственно пошутил тут Лунь: «Элита едет, когда-то будет». Петр, который сперва поселился здесь, сидел на заседаниях, обхватив голову, бормоча: «У меня же отелы на носу!»

— Вот и сделай про это сообщение, — предложил я.

— А поймут, думаешь? — Он с сомнением осмотрел зал.

— Напрягутся, — сказал я.

Мы послали записку в президиум, и доклад Петра после недолгой полемики был назначен и состоялся на другой день. Он назывался просто и, на мой взгляд, актуально: «Как сохранить новорожденных телят». Петр рассказал, что в связи с ухудшившимся экономическим положением, с плохим кормлением стельных коров, ухудшением их зооигиенического и санитарного содержания, отсутствием денег на приобретение медикаментов и биопрепаратов телята в основном рождаются слабые и болезненные, с острым иммунодефицитом (в зале кто-то хохотнул), а корова, родившая его, сейчас обычно так слаба, что даже не может облизать новорожденного теленка, что абсолютно необходимо для его выживания. Плюс к тому она не может дать ему полноценных молока и молозива, совершенно необходимых для того, чтобы теленок окреп. И с первым же вздохом новорожденный вдыхает в себя уйму микробов, заболевает и, как правило, околевает в первые же дни. Из срочных и необходимых мер Петр назвал улучшение кормления стельных коров, введение им необходимых биопрепаратов, что, к сожалению, при нынешней сложившейся ситуации невозможно. Все.

Петр, насквозь пропотевший (надел для доклада черную тройку), уселся рядом со мной, нервно тиская листочки.

— Ну как? — взволнованно спросил он.

— Нормально! — ответил я.



Реакция зала была не слишком внятной. С одной стороны, все поняли, что хихикать тут особенно не над чем, с другой стороны, как-то уж больно в стороне стояло это сообщение от столбовой дороги нашего семинара. Ничего о том, как в трудной экономической обстановке спасти новорожденных телят, модный философ Деррида не сообщал. Похлопали сдержанно. Каждый рвался в бой со своей темой. Выслушав следующий доклад, Петр виновато шепнул мне, что дальше жить тут ему не с руки и он «пойдет до хаты». Удерживать его было нечем (кормили весьма скромно) — и он ушел. Посидев минут пять, я ушел тоже, чувствуя себя не совсем спокойно... Ведь это ж я все затеял!

## ГЛАВА 6

Единственный, кто мог что-то сделать, — это Крот. Но его, видать, мало волновала выживаемость новорожденных телят и, видимо, еще меньше — модные теории про конец света. Из всех семинаров он посетил только первый, на прочих — блистал своим отсутствием. Но раз он назначил меня своей совестью — надо идти к нему. Я постучал в его номер.

— Йес! — послышалось оттуда.

Видимо, он немножко подзабыл, в какой конкретно стране находится. Стол был заставлен какой-то космической аппаратурой с экранами, торчали усики антенн. Вот так вот он, видимо, телевизоры и мутит.

— Отлично! — заговорил я по возможности развязно. — Семинар «Совесть и бизнес» в разгаре, а бизнес блистательно отсутствует!

— А совесть, вы считаете, там присутствует? — усмехнулся он. — Помоему, даже и не проглядывает!

— Ну... так чего мы... тогда? — проговорил я, смущенно почесываясь. — Собирались вроде улучшать экономическую и аж политическую обстановку.

— Конкретные ваши предложения?

Я пересказал ему вкратце доклад Петра.

— Ясно, — усмехнулся он.

— Что вам ясно? — обиделся я.

— Что ни с кем, кроме вашего брата-ветеринара, вы тут общаться не собираетесь.

— Ну почему?

— Я не знаю почему, — сказал он.

— Ну, я могу с кем-то еще...

— Замечательно конкретное предложение! С мэром вы можете мне устроить встречу... или как тут называется глава администрации?

— Попробую.

— Попробуйте, — проговорил он нетерпеливо и уставился на экран.

Вышел я от него полностью опозоренным. Впрочем, если человек еще может чувствовать себя полностью опозоренным, значит, он еще не погиб окончательно!.. Вот так ловко я все повернул.

Я побрел по поселку. Когда-то я здесь потерял свою честь... теперь неплохо бы ее тут найти. Но как? Начнем с того, что все изменилось: прежней деревни и не видать... маленький городок — вон сколько блочных пятиэтажек. Дошел до моста, где река растекается по камушкам.

— О, вот и закусочка идет! — донеслось вдруг оттуда.

Пригляделся — из воды головы торчат. Какой-то трехглавый змей. На камушках — бутылки, огурчики. По такой пыли и жаре — лучшее время-препровождение. Но мэр вряд ли тут. Какая голова ко мне обратилась, почему закусочкой обозвала?

— Примешь? — спросила голова бровастая.

— Может, это путь к успеху?

— Ну что ж — рюмаху приму с размаху! — рассудительно сказал я.

— Тады спускайся.

Повесил одежду на парапет, спустился. Глубина была... повыше колена. Чтобы не возвышаться, тоже сел в воду. Для начала — бр-р-р!! Впрочем, дрожь эта, может быть, и нервная. Чего тут схлопочу? Но, слава богу, что хоть с места сдвинулся и куда-то пришел.

— Вон — швыряло бери, наливай! — командовал бровастый. — ...Вот так вот тут и сидим: снаружи — вода, внутри — водка.

Видимо, это был тост, и мы выпили. Так, может, дело куда-то и двинется? Водка и огурец — отличный бизнес-ланч!

— Давай хапай огурчики, — сказала вторая голова, показавшаяся женской. — Ведь вы затем сюда приехали — все захватить?

Дальше бизнес-ланч пошел несколько необычно. Все вдруг мощно встали из воды. И я — тоже. Идиллия разлетелась брызгами. Один из предметов на камушке обернулся рацией и оказался в мощной лапе бровастого.

— Ваня, подъезжай-ка на мост. Непорядок! — рявкнул он.

Я огляделся. Наверно, у них и форма тут где-то в кустах, но видно не было. Ребята на посту, со всеми удобствами. Лучше сбежать, если получится: ничего такого позорного в этом нет. Но, может, выйду на мэра таким вот сложным путем, не даром буду хлеб есть?

Пыля издалека, на мост въехал «газик». Открылась дверца, и высунулся белобрысый пацан в выцветшей форме.

— Вот, Ваня, — сказал дядя с рацией. — Пристал, мешают культурно отдыхать. Видать, из этих, приезжих. Разобраться надо.

— Сделаем, дядя Коля, — сказал белобрысый «племянник».

Из «газика» с другой стороны вылез второй, накачанный и обритый наголо, тоже в форме, но без фураги. Может, вдариться бечь? Гологолоый взял с перил мои шмотки, поднял тапки.

— Ну, едешь? — произнес он. — Или помочь?

Бечь? Ну а с чем я прибегу? Даже без шмоток. Как-то слишком интенсивно я вхожу в местную жизнь.

— Может, вы меня с кем-то путаете? — поинтересовался я.

— Милиция не путает, милиция ищет, — произнес Ваня, видимо, их рабочую присказку, и все одобрительно хохотнули.

— А если она ошибается, то извиняется. Иногда — посмертно, — усмехнулся бровастый.

Помню, Жихарка в сказке не лез в печку, упирался. Но мне — надо лезть! Я вскарабкался по скату.

— А Петра Листохвата знаете? — на всякий случай сказал я. — Мой родственник.

— Нет, этого уважаемого коновала мы не знаем, а если бы знали, то ни на что б не повлияло, — усмехнулся гололобый. — Прошу!

— Ну, раз так уговариваете — сяду. Расскажу потом нашим, как вы работаете.

Эта фраза, видимо, поддала им огонька — пихнули меня в заднюю дверь «газика» довольно сильно.

— Учти, за него вы головой отвечаете! — куражился главный. Что интересно — в воде была еще одна голова, причем вполне интеллигентная, даже в пенсне, — но почему-то безмолвствовала, находясь в какой-то прострации.

— Его головой отвечаем! — удачно пошутил Иван, указав на меня, и все головы, кроме интеллигентной, утробно хохотнули. Вот что значит интеллигентность — корректно себя ведет. Впрочем, дальнейшего поведения его не знаю, поскольку оказался в тесной нагретой коробке, обитой жостью, и меня пошло кидать.

— Вылазь! — Дверка наконец отпахнулась. Удастся ли раскрючиться?

Скрюченный, как какой-то Верлиока, я вылез. Огляделся. Ого! Городской центр, выстроенный со скромной брежневской роскошью — все как положено, тильки чуть поменьше. Мэрия (ясное дело, бывший обком), под прямым углом к ней (но я не сказал бы «перпендикулярно») работает отделение МВД, куда меня, скрюченного, и ташшут. Увидел я и местного Ленина, небольшого, пропорционального, видимо, количеству населения и, к моему глубокому сожалению, свежепокрашенного.

— Мне бы к мэру надо! — метнулся я в сторону Ильича.

— Мэр сейчас, к сожалению, занят! — вежливо произнес бритоголовый (он казался все опасней). — Придется вам некоторое время провести с нами. Прошу!

Мы вошли в их шикарное здание, но в маленькую боковую дверку, назначенную, видимо, не для самых важных особ. Мы прошли по узкому коридору с учебными плакатами (формы одежды, чистка оружия) и зашли в дежурную комнату, перегороженную барьером.

— Вот, из-за вас пришлось покинуть пост! — сокрушенно признался бритоголовый.

— Зря! — произнес я вполне искренне.

Ваня открыл железную дверь в камеру и выгнал оттуда бомжа в морском кителе на голое тело.

— Геть отсюда! И чтоб больше мы тебя не видели!

Бомж радостно убрался. Кому-то я все же счастье принес!

— Прошу! — повел рукой Ваня.

Я вошел, и они за мной, что мне не понравилось.

По возможности быстро, но и не теряя достоинства я повернулся к ним лицом.

— Ты мэра видеть хотел? — как-то резко отбросив приличия, заговорил бритоголовый. — Так вот знай: здесь все решает мы! Ячейка правящей партии — это к нам. И местное отделение мафии — тоже мы. Понял, нет?

И не успел я выразить восхищение, как резко получил в глаз, даже не успев понять, от кого. Умельцы! Неплохой получается бизнес-ланч! Разведка боем... разведка боем меня. И неплохая провокация, кстати, — надо будет с Берха денег слупить.

— Он, кажется, не все понял, — произнес Иван.

— Нет-нет! Все отлично. Могу повторить.

— И скажи... муравьеда своему, — (Крота, оказывается, знают!), — если он хочет жить — чтобы сюда приполз!

— Сюда?

— Нет. Туда. В разлив — где мы тебя брали.

— В Разлив? Прямо как к Ленину! — восхитился я.

— Ты Ленина не трожь! — окаменел бритоголовый... в честь вождя, видимо, и обрился. — Все запомнил?

— А почему вы мне доверили это сообщение? — поинтересовался я.

— А как самому понятливому! — произнес Иван, и они дружно рассмеялись. Озорные ребята!

— Так я могу идти?

— Да нет, — усмехнулся гладкоглавый. — Посиди тут, подумай немножко. Выпускать пока нельзя тебя — а то ты выходишь вроде невиновный!

— Признаю свою вину... но хочу выйти!

— Дать, что ли, ему еще?

— Нет-нет! Вся информация вылетит. Все! — торопливо сказал я.

— Бывай тогда.

Ну что ж, первый контакт с общественностью прошел хорошо!

И заскрипели запоры. В камере, кстати, совесть успокаивается — можешь смело сказать себе, что живешь не лучше других. Пару раз в жизни

удалось так воспарить — к счастью, ненадолго. Но и сейчас вроде я правильно иду?

Не ведаю, сколько прошло времени, — не ношу часов. Запоры наконец закрипели. Заглянул средних лет лейтенант — само обаяние. Вот как жизнь бросает — то туда, то сюда.

— Извините, но не могу понять... как вы здесь оказались?

— А что — протокола разве никакого нет? — Я посмотрел на стол, покрытый бумагами.

— Нет. — Он развел руками. — Такая уж смена идет нам!

— Да... смена не особо казистая.

— Но вы уж должны их извинить...

— Только лично.

— Ребята новенькие, неопытные. Зарплаты мизерные.

— Но денег я им дать не могу. Самому мало!

— Да-да, — кивнул он даже сочувственно, но сочувствуя то ли им, то ли мне. — Ой, у вас, кажется, кожа рассечена? Сейчас мы что-нибудь придумаем! У нас тут аптечка есть, но заперта, к сожалению: Марья Ивановна ушла. Кто-то может за вас поручиться, я имею в виду — из живущих здесь?

— Так у меня двоюродный брат тут! Петр Листохват!

— Вы брат нашего уважаемого ветеринара? Так боже мой, мы сейчас же за ним пошлем!

Какая-то мучительно знакомая интонация! Каких-то книг начитался, сука!.. Достоевский, что ли?

Петр появился, как раз когда материально ответственная Мария Ивановна открыла аптечку и прижигала мне рану под глазом, и я, перенося жжение, сипел сквозь зубы.

— Бо-бо? — равнодушно проговорил Петр. — Во-во. Давно пытаете?

## ГЛАВА 7

— Что ж ты прямо ко мне не обратился? — бушевал Петр. — Я бы сам тебе все это дал!

— В смысле — по харе?

— ...В смысле инфраструктуры!

Мы сидели с Петром в чайной, обвешанной липучками с мухами, как елочными гирляндами.

— Да как-то я стеснялся к тебе... после твоего доклада. А потом помнишь — в первый же день? Галя шо-то неласково нас приняла?

— А-а. Это ж она думает, что это ты к казино меня приучил!

— Ну спасибо, Петр!

— Нравится тебе здесь? — Петр, откинувшись на стуле, огляделся.

— Хорошо, но душно, — вежливо сказал я.

— Дерьма куча! — заявил Петр безапелляционно. — Разве ж это клуб? Я хочу настоящий клуб сделать — с казино, стриптизом. И знаешь где? Вон там, на Пень-хаузе небоскреба нашего! — Петр кивнул в окошко на «Колос».

— Мне кажется, Галя этого не одобрит.

— Мне Галя не указ! Хочешь знать — я ее до этого года узлом вязал! До поездки, в смысле, к тебе.

Опять я виноват!

— А вы все оттяпать хотите!.. Так что ребят наших понимаю, — признался Петр.

— А я что?.. Я как раз думал спонсора на опорно-двигательный наш направить! — признался я. — Помнишь, как мы здесь?

— «Странное нынче пиво»? — Петр усмехнулся. — Да, было дело! Особенно когда мать тут была!

— Ну а теперь все делось куда?

— А куда все! — отвечал Петр. — А было — да! Заранее уже знали, когда ехали сюда: бабы тут лечат опорный аппарат, а мужики — двигательный. Я ж и с Галей тут познакомился! Вот говорят — «красный пояс» у нас. Так любой пояс покраснеет, коли все отнимать!

— А кто отнял-то?

— Санаторий-то?.. Да сами и отняли! Главврач там профессор Мыцин... укушенный капитализмом! Да еще к брату в США съездил, набрался там. Приватизировали, акционировали. Теперь сидят на бобах. Колхозы, профсоюзы теперь не шлют, а сам никто не едет: расценки выставили адекватные США. С вас сколько берут за номер?

— Не знаю.

— Вот то-то и оно. Сам Мыцин в подвале сидит, где у них прежде научный центр был. Персонал — на станции торгует, кто побойчей. А зданием командует любовница его, бывшая сестра-хозяйка. Мыцин как бы фершалом там. А какие операции делал, по голеностопу! Мать гордилась им, пока жива была. При ней-то порядок был!

— «Странное нынче пиво!» — напомнил я. — Помнишь — домик-пряник!

— Ну, это-то как раз осталось — там теперь своя охрана! — сказал Петр. — Кто-то там и сейчас из Москвы гужется.

— Да?.. ну а чего нам-то делать?

— Прежде всего — с нами согласовывать! — отчеканил Петр.

— С теми, которые там... в луже сидят?

— А чего? Ключевая позиция! Я, кстати, тоже в группировку вхожу.

— Так это я тебя тоже должен за плюху благодарить?

— Это не тебе. — Петр усмехнулся. — Это для передачи... муравьеду твоему.

— А он, думаешь, примет?

— А ты уж расстарайся! — усмехнулся Петр.

Мы взяли еще по стакану.

— А чего-то они непочтительно о тебе отзывались! — вдруг обида захлестнула меня.

— Кто? Наши? Так это у нас стиль такой.

С некоторым усилием я добрался до номера, рухнул в койку. Потом все же поднялся. Надо Кроту позвонить, отчитаться о проделанной мною работе. При этом — спяну, наверное, — почему-то рыдал. Еще классная воспитательница говорила, Марья Сергеевна, в первом классе: «Нет добросовестнее этого Попова!» Таким и остался! Рыдал приблизительно минут пять, потом резко оборвал, набрал номер. Гудки... гудки... Глухо. Не желает! Потом все же — «нет добросовестнее» — рыдания подавил, нашел записанный номер его мобильного, набрал целую кучу цифр. Запишало страшно далеко — словно на Марс дозвонился.

— Да... — Вроде бы голос Крота, но какой-то придушенный. И так-то он чуть слышно гутарит, а тут — как сквозь резину говорит. Может, кто-то там душит его, не дает разговаривать?

— Аллэ! — закричал я. — Это Попов. Вы слышите меня? Что с вами?

— Выйдите на балкон.

— Что?

— На балкон выйдите!

А! Видно, для лучшей слышимости! Вышел. Ни фиги не лучше! Еле расслышал:

— В сторону Ржавой бухты посмотрите!

Перегнулся через перила, заглянул туда — и обомлел! Какая-то марсианская хроника! Там, за военным забором из сетки, серебристые емкости с их отравой въезжали по трапу в какой-то огромный плавучий сундук.

Предпоследняя там исчезла. Последняя. За ними ехала цистерна на машине, и по бокам от нее шли человечки в оранжевых комбинезонах и поливали из гофрированных шлангов землю какой-то пеной. Группка, тоже в комбинезонах, стояла сбоку и, видимо, командовала.

— Вижу! — заорал я. Так лучше, наверное, перекликаться, чем по их технике?

— ...Хорошо, — просипело в трубке. — Идите сюда, не бойтесь!

Одна из фигурок в группе, повернувшись в мою сторону, замахала рукой. Работодатель! Почему это именно я, из всего «поезда совести», должен «не бояться»? Вон как обуты они — а я в тапочках! Тем не менее, подавив рыдания, спустился, пошел. Приблизился к оцеплению из матросиков во фланелевых робах, тут Крот (самый маленький в группе) сказал что-то начальнику (начальника и в комбинезоне видно), и тот махнул оцеплению рукой: «Пропустите!» Большая радость. Шел по пузырящейся пене. Надеюсь, не ядовитая? Крот по ней шел навстречу мне. К нему подъехала как бы «слепая машина» с крохотными окошечками, он содрал с себя и сдал им скафандр и шел ко мне уже в элегантной «пуме».

— Не бойтесь, все уже обеззаражено! — Повернувшись, он оглядел широкое, словно заснеженное поле.

Все рассаживались по машинам и разъезжались. «Сундук» с явным усилием, но все же отплывал.

— Представляете? — Крот сиял. — Вот здесь емкости для нефти будут возвышаться — огромных размеров. А знаете, как емкость разворачивается? Как обычный рулон! Так и привозят их в виде рулонов! В емкостях и анализ будет производиться, и отмер. А вот там, где сейчас УКПР отплывает, — терминал будет, танкеры станут подходить. И уверяю вас — полная чистота! Даже дождевая вода с терминала не будет в море попадать — сразу на флотацию, на очистку. Лебеди будут плавать — уверяю вас! У меня на таллинском терминале — плавают! Кстати, в единственном месте во всем Таллине и его окрестностях! Воспеть сумеете? — Он улыбнулся.

— Да я... — Снова душили рыдания. — Саяно-Шушенскую ГЭС смог воспеть. А она! — Я взмахнул руками, частично охватывая и небо. Наверное, излишняя моя эмоциональность и подвела меня, вызвала подозрения.

— Так, — снова сухо заговорил он. — Что нового? Связь с мэром удалось установить?

— Нет... Но зато с местной мафией установил!

— Это чувствуется. — Он приблизился. — Что пили? Виски? Джин? Текилу?

— Почему? Обычную водку. Отличную, кстати! — Я вдруг вступился за отечественного производителя.

— Ф-фу! Зря я противогаз снял!

Ах, не нравится? Фингал, мой алый знак доблести, он даже не замечал... или толковал превратно.

— Ждут там, в разливе, вас!

— И Ленин там же? — усмехнулся он, но уже как-то жестко. — Извините, но на подобную ерунду у меня нет времени!

На народ у него нет времени! — снова рыдания подступили к горлу.

— Простите, но в ваших услугах я больше не нуждаюсь! Вот вам за труды! — протянул мне бумажку — двадцать долларов — и побежал трусцой.

С плохо скрываемым омерзением я взял деньги. Вот так! Уделал. За весь мой самоотверженный труд!

Взлетел в номер к себе как птица, взял из сумки последнюю бутылку коньяку, к Любке поднялся. Обида, говорят, хорошо стимулирует секс. Спорный тезис.

Открыла. Но очков не сняла — как бы показывая, что не оторвется от дела ради такой чепухи.

— Ну что, опять наксерился? — проговорила она.

— Странная терминология. — Я стал вдруг очень обидчив.

— А что же с тобой?

— Вот. Подарок. От чистого сердца оторвал! — Я протянул ей бутылку.

— ...Попозже, ладно? — тронула за локоть меня.

Всюду бумаги разложены — даже на койке. Правильно она называет себя: ради денег крикнутая! Бумаги оглядел.

— Нулей-то, нулей-то! Что икры!

— ...Хочешь икры?

— Нет! — ответил я гордо.

— Тогда давай работать! Садись.

Посмотрел на экранчике у нее... наполняет, видимо, свой журнальчик «Загар» — уже по всем пляжам раскинутый.

— Как лучше, — спрашивает, — магазин «Шило и мыло» или «Хоз-Мари»?

— Оба лучше.

— Да. Ты сегодня не в форме... А это как: «Подарки любимым по разумным ценам»?

— Гениально!

— Тогда садись за компьютер, пиши: «Овнам сейчас... рекомендуется получение взятки в особо крупных размерах»... Есть тут один такой. Ну что?

— Не буду!

— Тогда раздевайся.

— Это другой разговор.

— Стоп! Не надо.

— Пач-чему?

— Да так. Не стоит. Гляжу я на тучные поля за окном и думаю: что от тебя тут будет? Град? Ураган? У тебя ж так потрясения отмечаются?

— Да ну... ты преувеличиваешь!

— Я — нет. Ты — да. Одевайся!

Потом выпили с ней просто так и валялись, отдельно.

И солнце, в море садясь, руками разводило: а что делать?

— Семинар — дрянь, — с горечью сказал ей я. — Какое он отношение к этой жизни имеет?

— А давай скажем все, что о них думаем, — но через недельку?

— А не забудем?

— А забудем — совсем хорошо! — снова уселась за компьютер.

— На тебя заглядевшись учтиво, застрелился проезжий корнет! — проговорил я и вышел.

Вошел в лифт. Хотел поехать наверх — еще малость семинар послушать. Но тут увидел, вглядевшись, что верхняя кнопка залеплена чем-то белым вроде жвачки. Это она всюду жвачку свою разбрасывает. Во, и у меня на локте! Злобно оторвал — от локтя сначала, потом — от кнопки. Вдарил в кнопку — и полетел! Долго что-то летел. Двери наконец разъехались. И я шагнул — в полную тьму! Обернулся — и сзади уже тьма, двери захлопнулись. Стал руками ловить — и никакой опоры вокруг: ни двери, ни стенки! Где это я? Чье-то сиплое дыхание рядом. Мое? Куда это я взлетел-то? Смерть, что ли, матушка выглядит так? А как же дыхание?.. Прервется сейчас? И точно — получил вдруг из тьмы зверский удар, прямо в лицо. Ах вот как здесь принимают? Махнул во тьму — ну и, естественно, в пустоту — и тут же получил зверский удар в затылок. И упал — видимо, на пол, хотя какая тут терминология, в точности неизвестно.

Недавно же били меня? Но там мне больше понравилось: был какой-то видеоряд, какой-то был смысл, хоть и минимальный! А здесь? Страшно — и все. Но и этого им (кому?) мало показалось, вздрючили на ноги меня, куда-то поволокли. Этот странный бой с невидимками кончился вдруг — передо мною расширился свет... Тоннель, что ли, тот пресловутый? Лифт! Кабина лифта! Что-то родное хоть!

Вбили меня в него, размазали об стенку. Стал я кнопки искать, гляжу — все стенки в крови! Я, что ли, успел так намазать? Или это такой спецлифт? Кнопки вот. Нажал для контраста на самую нижнюю — и по стенке сполз. И вниз рухнул. Разъехалась дверь. Надо подниматься на ноги. Немножко поднялся — и выпал на чью-то белую грудь, в медицинском халате.

Опять я — «самый понятливый»? Но что тут можно понять?

## ГЛАВА 8

Открыв глаза, я увидел над собой светящийся череп. Смутно вспомнив происшедшее, я понял, что нахожусь скорей всего в какой-то амбулатории, а светящийся надо мной череп — скорей всего мой, снятый на пленку и подсвеченный изнутри. Некоторое время любовался им и даже восхищался, но потом тревога посетила меня: если его тут повесили — значит, изучали, значит, не все в порядке с ним? После полученных мной в темноте ударов это немудрено. Кстати, кто же мне их нанес? И за какие заслуги? Видно, я вторгся в какую-то область тьмы, в которую не положено вторгаться? Но я же на обыкновенном лифте туда доехал! Отчаяние заполняло меня все больше. Дурак и на лифте заедет на эшафот — был про это фильм, кажется, французский.

И так я лежал в свете своего черепа, довольно мерзкого на просвет, и предавался отчаянию. Больше ничего не разглядывалось в полутьме — мерцал, кажется, какой-то стеклянный шкафчик. Вдруг скрипнула дверь, и я различил приближающийся белый халат, холодные руки на моем лице, потом, тоже холодный, блеск пенсне.

— Кто вы? — поинтересовался я.

— Профессор Мыцин.

— А!

— А вы...

Как бы половчее сказать:

— Я... племянш Зинаиды Ивановны!

— Я так и понял. — Довольно холодный ответ на мое восклицание.

— Вы знаете ее?

— Разумеется. Я ее ученик.

Тут бы и раскрыть всю душу — но он молчал.

— Ну... и как он? — Не утерпев, я кивнул на свой череп.

— Да на удивление хорошо. Никаких существенных изменений. Всего лишь несколько поверхностных гематом. Опорно-двигательный аппарат не поврежден.

— Так это, значит, большая удача? Странные эксперименты тут проводятся у вас!

— Это не у нас.

— Но в вашем же здании!

— Наше здание разнородно, — глухо произнес он весьма загадочную фразу.

— Вот хотелось бы это понять.

— Вот этого как раз не надо вам понимать! Вы что, решили уже все загадки жизни? Тайну человеческой речи? Возможность бесконечной Вселенной? Думайте над этим! И не отвлекайтесь на пустяки.

— Думаете, пора уже... о Вечном?

— Об этом — всегда пора.

— Во всем мне хочется дойти до самой жуты!

— Считайте, что вы там уже побывали.

— А где же признание?

— У вас на лице.

— Но за что это мне?

— За наблюдательность.



- Но я даже не знаю, что я... наблюдаю.
- Думайте о чем-то приятном! А эту загадку оставьте... на конец.
- И как он... близок?
- Все зависит от вас. Второй раз в таком же виде я вас не приму. Там будут недовольны! Почему вы на семинаре не сидите, как все?
- Да, умные люди — на семинарах. А я лезу куда-то. Но тем не менее не удержался, спросил:
- А что там у вас наверху? Секция слепых боксеров?
- Ну, угадали примерно. Что в стране есть у нас?
- ...Народ.
- А еще что?
- Руководство? — спросил я.
- Он многозначительно молчал.
- Странно они нами руководят!
- Ну почему странно? Как всегда — немножко ограничивают. Лишают кое-каких прав.
- А каких прав там лишают?
- Права видеть.
- Что?
- ...Далее я умолкаю.
- Что там можно увидеть-то?
- Лучше вам этого не видеть. Второй раз, повторяю, я вас уже не приму.
- Профессор вышел, но тут же снова заглянул:
- К вам посетитель.

Вошел Крот. Пригляделся в полутьме.

- О! — обрадовался я. — Значит, я не уволен? На больничном?
- Больничные платят тем, кто приносит пользу! — Крот проскрипел.
- А вы только проблемы создаете!
- Кому?
- В основном себе.
- А не в основном?
- Мне.
- А еще? Тем? — Я показал вверх. — Повредили свой опорно-двигательный аппарат об меня?
- Вы, наверное, часто через стеклянные стены проходили — с большими потерями для себя?
- Почему? Для стен тоже.
- Луч света в темном царстве? — усмехнулся Крот. — Это Катерина, кажется, из «Грозы»? В Волге утопилась.
- Не, лучом света никогда не был!
- Однако проникли куда не надо! — произнес он.
- Но я абсолютно там ничего не видал. Ей-богу... Только осязал.
- Что осязали — это я вижу. Но больше осязать не хотите?
- А надо? Могу!
- Крот покачал головой.
- Оптимизм ваш меня поражает.
- Это не оптимизм. Это мстительность!
- Хотите там... разобраться?
- Может, мне железную маску надеть?
- Плавки тоже железные наденьте. Я вижу, вы добросовестный человек.
- Но раз заплачено — то надо, наверное.
- При слове «заплачено» Крот даже смутился — впервые видел его таким. Пришлось выводить его из неловкости.
- Да, заплачено, я имею в виду — здоровьем моим.
- Ну, я надеюсь, — Крот твердо сказал, — что это будет не единственная форма оплаты!

— Да? А что надо делать? — Теперь немножко смутился я.

— Пока — не потерять уже наработанного! — сурово произнес Крот, и мы торжественно посмотрели на череп. — Да-а-а... Наверное, вас там за снайпера приняли.

— ...За снайпера? А в кого там можно стрелять?

— Оттуда много в кого можно стрелять. Потому и окна забиты!

— А-а! Понял наконец! Домик-пряник! «Странное нынче пиво»!

— О чем это вы? — изумленно проговорил Крот.

— Да так. Сложно. Поток ассоциаций. Я, конечно, не снайпер, но сволочь порядочная! Хоть и с некоторым опозданием, но правильно дали мне! Виноват я там.

— Вы, я вижу, одобряете побои? — усмехнулся Крот.

Мы снова посмотрели на череп.

— Сложный вопрос. Побои — да. Но «побойщиков» скорее нет! Боюсь, они точно не понимали, за что бьют!

— А за что?

— Однажды я в домике том... в бутылки вместо пива написал!

Крот слегка качнулся на стуле.

— Когда это вы успели?

— А, да еще давно.

— Как давно?

— Лет тридцать назад.

Крот снова качнулся.

— Ну у вас и память! За такой срок давности и убийство прощают.

— Смотря кто. Так что: может, еще разок поднимусь, пожму их честные руки, если, конечно, не повредили их они об меня?

— Боюсь, что если они еще раз вас встретят, то повредят.

— Что?

— ...Руки. И еще кое-что. Исчезните пока.

— Так что, мне так тут и лежать?

— Да. Пока я эту тему не разработаю. Но за тему — спасибо.

— Рады стараться!

— Все! — Крот шлепнул ладонью в мою ладонь и вышел.

Сразу же вслед за ним вошел профессор.

— Это ваш друг?

— М-м-м... Типа да.

— А скажите, он не хочет вложиться в наш опорно-двигательный центр? По-моему, ему в связи с конкурсом на нефтяной терминал нужны рекламные акции?

— М-м-м... Да.

— По-моему, нет более благородного дела! — Мыцин проговорил. — А то, видите, — он почему-то с презрением показал на мой череп, — чем приходится заниматься!

А что здесь такого позорного? — я чуть было не обиделся за мой череп.

— Мы ж делали великолепнейшие операции! — воскликнул он.

Так сам же все под откос пустил! — я вспомнил рассказ Петра о реформе, которую Мыцин тут провел, из-за которой все специалисты слиняли.

Ч-черт! Важное дело мне поручил! А череп мой — я глянул на фотоснимок — варит не ахти.

— К вам гость! — торжественно Мыцин объявил.

Надо же — сплошные гости! Раньше такого не было. Большой успех!

Петр вошел. Был уже в курсе всего.

— Они этот этаж ржавым железом заделали давно. Еще при Умельцыне. А там люксы для передовиков были, на крыше солярий, бассейн. Да

вот беда: оттуда, оказывается, их домик за горкой видать, все его внутренности. Разве ж они могут такое допустить? Мать с этого дела уволилась и слегла. Ну суки! Значит — не моги?!

— Знаешь, — сказал я, — мне лучше, когда я думаю, что это не просто так, а наказание. За то... помнишь, что мы там у них с пивом сделали?

— «Странное нынче пиво»? — усмехнулся Петр.

— Тебе, кстати, тоже причитается.

— Ну нет уж! — сказал Петр. — Да и откуда эти могут помнить про то?

— Главное — я помню.

— Ну и лежи, отдыхай тут. А я за мать им отомщу! А этаж тот, как и весь дом, на Мыщине числится — да он трухает туда ходить!

— Я его понимаю.

— Если муравьед твой их оттуда не скинет... значит, ежик он, а не бизнесмен! Ты скажи ему это!

— Попробую...

Что-то много поручений у меня!

Потом вдруг Любка пришла. Я слегка напрягся. Эта не ходит просто так.

— Да-а, ты не подарок! — бодро заговорила она. — Когда там лупили тебя — как раз от меня ушел, — колоссальный смерч на море возник, всосал несколько тысяч тонн воды и в ущелье закинул!

— Думаешь — это я устроил?

— Похоже на тебя. Снегопад помнишь? Видно, эркгреггор твой — мысленный столб — до небес достает. Так что ты больше не волнуйся — а то, говорят, много птичек погибло.

— Такая трактовка моего образа мне нравится.

Что еще? Наверняка это лишь прелюдия.

— Как — работает у тебя? — вроде бы взволнованно на череп кивнула.

— А ты что — хочешь проверить?

Я же говорил!

— Да так. Ерунда. Одну вещь надо, но не к спеху, — отмахнулась как бы беззаботно.

Значит, к спеху, если к раненому пришла, не смогла дожидаться выздоровления.

— Ну говори.

Мне самому интересно было проверить, работает ли мой мыслительный аппарат.

— Да тут... надо рекламу для презерватива придумать. Можешь, нет?

— ...Желательная резинка!

Да, работает аппарат. Но не шибко.

— Все! — Она поцеловала меня прямо в рану и унеслась.

Эта и умирающего поднимет! Но ненадолго.

Истратив все свои умственные силы, я уснул. И не знаю, сколько спал. Может, сутки?

## ГЛАВА 9

Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо, и, открыв глаза, увидел над собой Андре. Был он абсолютно счастливым! Что же за радость такая у него?

— Фрол объявился! — заметив, что я его вижу, выпалил он.

— Ух ты, — равнодушно сказал я.

— Он ведь из-за тебя приехал! — гордо сообщил он.

— ...Ух ты, — почему-то повторил я.

Все «ух ты» да «ух ты»! Забыл другие слова?

— А что я могу-то? — растерялся я.

— Ты уже смог! Ты... подвиг совершил. Теперь за тобой другие пойдут! Фрол, что ли, их поведет?

— Фрол такую акцию уже проводит! На весь мир! «Срывание последних шор тоталитаризма» с окон последнего этажа!

— А эти-то согласны? Из домика-то?

— Ну ясно — нет. Он там объединенный центр религий хочет сделать! Представляешь?

— ...Нет.

Может, голова плохо варит у меня?

— Уже зороастрийцы приехали с ним!

— ...Кто?

— Зороастрийцы... Представители древнейшей религии! Огнепоклонники.

— ...Странное начало.

— Так это ж его штучки! — с восторгом сказал. — Уже зороастрийцев на штурм повел! И я с ним ходил!.. Одного зороастрийца уже убили там... говорят... где тебя.

— Что значит — говорят? — Я еще больше удивился.

— Ну... сам я этого не видел, — Андре, как честный человек, немного смутился, — но реакционная пресса пишет...

Уже и реакционная пишет!

— ...что Фрол уже мертвого зороастрийца подкинул!

— Этот может!

— ...Но я этому, естественно, не верю! — произнес он с новой вспышкой энтузиазма.

Ну что ж... не верь, подумал я, раз ты такой. Такие люди тоже нужны. Без них как-то... холодно.

— Ну, тогда... — Я приподнялся.

— Лежи, лежи! — взволнованно произнес он.

Ладно. Может, я как раз красиво лежу, может, для Фрола — чем больше полегло, тем лучше? Наверняка! Моя работа — лежать.

— Уже и Москва гудит об этом! — продолжил радостно Андре и вдруг снова смутился: — Там как раз, в том домике маленьком, из-за которого закрутилось все, как раз один из Москвы отдыхает... причем из наших, из демократов... вроде.

Может, вроде он и демократ, но защищают его тоже крепко! — я на череп свой посмотрел. И Андре взгляд мой понял. Вздохнул.

— Не-не... ничего! — пробормотал я. Что будет вообще, ежели и его энтузиазм вдруг улетучится?! Надо поддерживать.

— В общем... живем! — радостно воскликнул он, но, поглядев на меня, снова смутился: я вроде не очень так живу?

— Нормально! — сказал я.

После его ухода я поднялся — хоть и большое дело делаю, но лежать устал. Надо идти миллионера воспитывать. Встал, пару раз качнулся взад-вперед, потом все же пошел. Мыцина не видать. Через маленькую комнатку, где грудой медицинское оборудование свалено, а также части скелета — надеюсь, не настоящего, — вышел на воздух.

Хотел пойти раздышаться. Пляж. Серая галька. Прибой цвета морской волны. И сразу же почти Крота встретил, как назло — не успел даже с духом собраться: нелегкое это дело — миллионеров воспитывать. А он как раз из воды выскочил, полотенцем растирался.

— Плавали? — для начала задал ему легкий вопрос.

— До буя и дальше, — довольно мрачно ответил он.

Да, нелегко будет!

— Что-то не так? — поинтересовался я.

Видно, он посредством купания успокоиться хотел — но не удалось ему это! С болью на самый верх нашего небоскреба смотрел. И там уже дымок какой-то струился. Что-то уже горит?

— Вы знаете, какой счет он мне выкатил? — проговорил он злобно.

— Больших цифр стараюсь не запоминать. Ни к чему мне это! — попытался пошутить я.

— Я тоже их не всегда люблю! — продолжил он тем не менее еще мрачней. Я-то чем виноват? Хотя конечно... Кто туда первый влез?

Я вздохнул как бы сочувственно.

— И что он там, спрашивается, творит? Говорит — зороастрийцев этих в горах Индии отлавливал поштучно — десять тысяч якобы долларов за каждого! Я их заказывал?

— Большой художник, — уклончиво сказал я.

— Авантюрист он, а не художник! — в сердцах воскликнул Крот. — Что он там вытворяет?

— Что?

— Вон... зороастрийца жжет! А с вертолета вон Си-эн-эн это снимает, как большой праздник! И это еще начало только!.. Не забыть бы мне, что я проплачиваю... «Срывание последних шор тоталитаризма!» — на глухие верхние окна показал.

— Так на месте вроде бы шоры? — неуверенно сказал я.

— Так то отдельный будет праздник! Снова им выкатывай! — Он почти орал.

Да-а... Встретились два гиганта! Момент для воспитания не очень уютный возник... особенно для выклянчивания денег. А я Мыщину обещал... Выждем!

— Большой мастер! — уже слегка успокаиваясь, произнес он. Я развел руками... да, мол, бывают большие мастера! Начать про Мыщину?

Но момент неподходящий все же: дым еще гуще повалил!

— Что он там у них... пластмассовый, что ли? — снова Крот заорал.

Не могут начальники эти не вмешиваться в художественный процесс!

— Может, мировое телевидение меня и раскрутит, — сказал он, — но зато местные точно... в банку закрутят, как помидор! Может, я и выхожу с этим, — (дым все усиливался), — веротерпимым деятелем, любителем разных религий... но уроют меня просто, по-христиански!

— Так надо с местными больше контактировать! — вернул я.

— Вы уже... поконтрачили! — Он впервые на меня поглядел.

— Так еще надо! — воскликнул я.

— ...Спасибо, — сказал он, — но больше всего меня волнует тот домик за холмом.

— И на него выйдем! — пообещал я.

— Вы уже вышли! — Теперь по-доброму на меня поглядел.

— Еще с народом бы надо пообщаться.

— С народом? — дико удивился.

— Говорят, это облагораживает.

— Нет. Со мной это безнадежно. В смысле облагораживания.

— Но все же. — Я сделал приглашающий жест, рекомендуя прогулку.

— Ну... попробуем, — произнес он. — На фоне этого, — снова глянул на дым, — все более-менее нормальным кажется!

Дым уже полнеба чернил!

— Да скольких он там сжигает?! — снова сорвался он.

— ...Давайте пройдемся... — успокаивающе сказал ему я и вдруг закашлялся от дыма... Да, Фрол дело знает свое!

По ходу прогулки я мягко втюхивал Кроту, какой тут замечательный опорно-двигательный санаторий был и как люди счастливы были.

— А кто вам сказал, что людское счастье меня волнует?.. Потом этот Фрол, — (снова нервно оглянулся), — хоть и сука, но дело знает свое!

Словно подслушал мою мысль.

— Есть в округе хоть один, кто дым этот не видит? То-то. И весь мир это увидит! Точно. У Фрола не заржавеет. А санатории для колхозников... — усмехнулся он. — Даже Москва это теперь не покажет! Как там было у них? «Пальцы и яйца в солонку не макать». Абзац! Прошло все это.

Некоторое время мы шли молча. Но не бессмысленно: многоглавый змей на месте оказался, в воде, — от жары там спасался. Может, что удумаем вместе? Одна голова — хорошо, а много — лучше! Тем более — там еще добавилось несколько голов. Петр, что было приятно, и те двое — «новеньких», что в милиции привечали меня... что было неприятно, и еще одна — коровья — голова. Видно, с совещательным голосом. Солнце словно плавилось в реке, и они как бы сидели в расплавленном солнце.

— Вода теплая! — прокаркала бровастая голова. — Купайтесь!

И те «новенькие» как-то дружелюбно глядели на нас. Не при исполнении?

Крот, кстати, так в трусах купальных и шел. Все продумано у меня!

— Ну что ж... — произнес Крот и слез в воду. Я за ним. Пока все неплохо.

— Виски? Коньяк? — предложил бровастый, хотя не наблюдалось ни того, ни другого.

— Предпочел бы минеральной, — ответил Крот.

— А это ты из реки пей! — рявкнула крайняя голова, вроде как женская, давая сигнал к атаке.

— Ну что? Продал уже? — кивнув на дымящийся небоскреб, произнес бровастый.

— Приехал тут телевизоры мутить! — подъелдыкнул и Петр, и это почему-то как раз и задело Крота: глянул на меня гневно... В плане предательства моего? Что это я про телевизоры выдал? Ей-богу, нет! Это Петр сам подслушал, когда гостил у меня: Лидия Дмитриевна с третьего этажа приходила жаловаться... сейчас, впрочем, не в этом суть — с Кротом сейчас нет смысла ругаться... Да он неплохой вроде мужик.

Мои друзья, «новенькие» из милиции, проявили вдруг повышенный интерес к моим ранам, окружили меня и почтительно разглядывали.

— Да-а! Профессионалы работали! — говорил Иван восхищенно, нежно прикасаясь к моему лицу.

— А вы что же — любители? — удивился я.

— Нам до них далеко! — самокритично сказал гологоловый.

— Молчать! — рявкнул бровастый. — Хватит херню тут молоты! Будем разговаривать? — Он обернулся к Кроту.

— Давайте, — спокойно ответил Крот. — Впрочем, кого не интересуют нефтедоллары — могут выйти!

Таковых не оказалось — наоборот, все головы проявили интерес, и даже интеллигентная голова, в пенсне, подвинулась поближе. Женская голова заулыбалась кокетливо. Бровастая зашевелила бровями, усиленно соображая. Петр и корова погрузились в задумчивость.

— Знаешь, сколько оператор-сливщик получает у меня? — обратился Крот прямо к гололобому, видно чуя в нем наиболее опасного.

— Откуда ж, — сглотнув слюну, выговорил тот.

— Так вот. Нисколько, — жестко проговорил Крот. — Если терминал тут не будет построен. Кто-то что-то имеет против меня? — Он обвел всех взглядом.

Все помалкивали. Только бровастый открыл рот и, подержав его в этом положении, снова закрыл.

— Так вам охрана, наверное, будет нужна? — ревнуя к успеху друга, уже фактически сделавшему карьеру, встрял Иван.

Крот перевел на него тяжелый взгляд.

— Нужна, — сказал он. — Но дисциплинированная. Которая приказы мои выполняет беспрекословно!

Ваня всеми немногочисленными выразительными средствами своей физиономии изобразил беспрекословность.

— Давай я тебя к мэру сведу! — наверстывая гигантским броском вырвавшуюся вперед шуштуру, предложил Кроту бровастый.

Крот долго насмешливо смотрел на него.

— А к мэру мы не с тобой пойдем! — торжествуя, разделяя и властвуя, проговорил Крот. — Мы вот с молодежью к нему пойдем! И потребуем все, что нам положено. Правильно, молодежь?

Молодежь стеснительно кивнула. Бровастый, не в силах подавить раскол в своей армии, начал икать.

— Замерз? Выйди, — усмехнулся Крот, и молодые подобострастно хохотнули.

Победа. Те, кто не молодежь, просто улыбались, глядя на Крота. Держались только Петр с коровой. Корова (совещательный голос) задумчиво смотрела на Петра.

— А что с крупным рогатым скотом будет? — мужественно произнес Петр.

Тут Крот решил прибегнуть к моим (кстати, совершенно неоплаченным) услугам.

— Это твой родственник, что ли? — спросил он у меня.

Я вынужден был кивнуть: с какой стати отказываться?

— Так вот, скажи своему родственнику, — проговорил Крот, — если он не обеспечит молоком и мясом две тысячи человек, что будут у меня работать, а также экипажи танкеров, что будут сюда приходить, то он тебе больше не родственник.

Вечно через меня норовят неприятное передать!

Такой текст я, естественно, не собирался произносить, но этого и не требовалось — все было сказано и так.

Корова, начав с какого-то продолжительного утробного сипенья, вдруг оглушительно замычала — видимо, выражая одобренье, — и стадо, разлегшееся вдоль берега, поддержало ее.

Полная победа, но... победа не бывает без проигравших — об этом я забыл. Все тоже слегка расслабились.

— А наверху «Колоса», — Петр, разнежившись, указал заскорузлым пальцем на верхушку нашего небоскреба, доминирующего в пейзаже, — Пень-хауз сделаем, как в Америке! Казино там заведем, стриптиз!

Женская голова вдруг зарделась, как будто это некоторым образом касалось ее.

— Есть у меня в Питере один кадр на примете... — размечтался и разоткровенничался Петр. — Ну что, по рукам? — повернулся он к нашему миллионеру.

— А это уж как молодежь скажет! — Продолжая разделять и властвовать, Крот опять обратился к молодежи, к нашему будущему.

Те застенчиво потупились, не выражая, в общем, против стриптиза решительного протеста.

— ...А как же санаторий опорно-двигательный? — был вынужден произнести я. — Одним стриптизом марку не сделаешь!

Лучше, конечно бы, мне сказать это Кроту в качестве переводчика, переводя как бы с местного, с голоса народа. Но поскольку народ безмолвствовал, пришлось мне — раз никто этого не сказал. Даже сын тети Зины.

— ...Опорно-двигательный? — Крот насмешливо посмотрел на меня. — А что — у тебя плохо двигается?

Почему-то от него такого удара в спину я не ожидал. Общий хохот — в том числе и визгливый, женский — обозначал полную его победу и мое поражение... непонятно, правда, в качестве кого? Я вылез, оделся.

И никто — даже Петр! — не сказал мне ни слова: я лишь услышал за спиной звяканье стаканов.

## ГЛАВА 10

Любка встретила меня в холле.

— Уезжаешь? Может, зайдешь проститься?

— Да я расписание не знаю еще... — Это я бормотал уже в лифте. Обиды, говорят, хорошо трансформируются в сексуальную сферу... говорят.

Мы вошли в ее полулюкс... Однажды — первая попытка была — мы пытались на море сблизиться с ней, в круизе: почему-то осенило нас в дикий шторм. Каюта была громадная у нее, качка высокая — и мы с протянутыми руками все время мимо друг друга пробегали. Кстати, и сейчас расштормливалось — я через окошко подглядел. Непокойно синее море — словно на него уголовное дело завели. Но Любка пресекла мой взгляд — мол, штормит опять что-то...

— Это мы отменяем! — просто сказала она, задергивая шторы.

Но тут зазвонил ее мобильник. Она кинула яростный взгляд на меня — будто это я мог звонить, отвлекая.

— Да! — резко сказала она, потом несколько сбавила тон, но разговаривала все равно агрессивно. — Доход? Вам нужен доход? А зачем, позвольте вас спросить? Чтобы налога больше платить?!

Она явно была зла: сбили с интересного дела. Неужто такое из-за страсти ко мне? Не хотел бы встречать между ними, третьим лишним.

— Поэтому я прячу его. Вам интересно — куда? — в том же стиле она продолжила. — В землю закапываю!.. Абсолютно серьезно! Расходы на экологию, на зачистку почвы после военных! Устраивает вас?.. Хорошо, — трубкой брякнула. — Еще проверять меня вздумал! Ноликов на конце мало!

— Круто ты с ним!

— А это пусть тебя не волнует!

Досталось и мне.

— ...тебя пусть другое волнует, — уже помягче сказала она.

— Что? — уточнил я.

— «Кто», я бы сказала, — плечом повела.

— Ч-черт! Мне же работать надо, — вспомнил я. — Полковник Етишин... А я, как назло, номер уже сдал... Не возражаешь, если я в гладильную пойду? Видел я тут гладильную, на углу коридора... Пойду... Можешь иногда заходить меня погладить.

— Ага. Утюжком. Чтобы выведать, где ты валютку прячешь.

Остаюсь!

Примерно через час Любка, нервно вздохнув, вышла на балкон. Грохот моря донесся. Ого!

— Твоя работа? — Любка спросила, указывая в шумную бездну.

— Ну почему — моя?!

— Да-а, — размышлял я во тьме, под грохот моря. — А с сексом, видимо, в моей жизни покончено навсегда... так же, как и с самой жизнью, выдать. Но с сексом уж точно! И поделом ему! У меня с ним свои счеты. Издательство, которое вроде бы мои книги собиралось выпускать, целиком вдруг на сексуальные альбомы перешло. Так что к сексу я не испытываю ничего хорошего. И вот то, что сейчас происходит, — это месть ему. Страшная месть!



На этом я успокоился. Все. Хватит. До двух часов ночи — мучительный самоанализ, дальше — сон.

Крот на утренней заре ворвался. Я в ужасе открыл глаза: красный шар среди абсолютно черных туч! Где я?

— Ага. Вы снова вместе? Это хорошо! — злорадно Крот проговорил.

— А что еще хорошего? — холодно поинтересовалась Любка, запахивая халат.

— А больше ничего-о-о! — Крот, присев, руками развел. — Остальное все пло-охо!

— Что именно? — деловито вставая, спросил я.

— А что ни возьми! Например — гений наш отвалил!

— ...Фрол?

— И Берха увел с его фондом! Так что вы теперь полностью на моей шее!

— Фрол ушел? — тупо повторил я.

— Он самый! Придрался к какому-то пункту сто девять нашего договора — о том, что, оказывается, запрещены всякие контакты с общественностью помимо него. А мы вчера общнулись благодаря вам. — Он поклонился мне. — Спасибочки! И кто, интересно, донес? — Взгляд его скользнул по мне, но отмел меня как предполагаемого доносчика — мало извилин. Он уставился на Любку: она?

— Теперь он к москвичам сбежал, к конкурентам! — прорычал он.

Да, тяжелая жизнь в мире бизнеса!

— Но мы же... с пользой вчера пообщались, — промямлил я.

— А, пользы от вас!.. Скоро тендер решается — а он, между прочим, международный, — и где она, гуманитарная крыша нашего проекта? Что такого замечательного мы собираемся совершить?

Я вздохнул. Да, совещание с участием коровы шикарным не назовешь.

— Что делать будем? — спросил он. Неожиданно вдруг коллегиальным стал. — Бухта тут хорошая, глубокая, любые танкера могут подходить. Неужто вам не жалко такое терять?

Нам-то, в общем, не жалко. Но раз уж...

— Сделаем! — сказал я.

— Я лично, как и всегда, буду делать баланс, — дерзко произнесла Любка и в ванную ушла. Крот уставился на меня. Последний остался друг! Хотя он меня давеча кинул... Так ведь то было вчера!

— Перво-наперво надо к народу податься, — рассудительно произнес я.

— Что вас так к народу все тянет? — вспылил Крот. — Что вы там такое видите в нем?

— ...Так ничего больше у нас с вами и нет. Остальное все слишком дорого. И — увы! — как видите, ненадежно.

— Только давайте — не со всем народом сразу, а с отдельными его представителями, — нервно сказал Крот.

— Ну, знамо дело, — сказал я.

Мы вышли на воздух. Утро расцветало. Пели птички.

— Природу ненавижу! — вдруг снова сорвался Крот. — Тут одна птичка наладилась звонку моего мобильного подражать! Все ночи не сплю!

— А вы смените мелодию сигнала.

— Уже!

Да, природа умнее нас.

Мы вошли во двор к Петру. И — к моему отцу. И всем, кто здесь родился или сюда приезжал когда-то, как я. Вот старая, огромная груша посреди двора. Давно уже, сколько я помню, она была чем-то вроде уличного шкафа: на мощные сучки ее вешали серпы, грабли, кружки. Садясь обедать за стол во дворе, вешали на нее кепки и шляпы.

Галя, тучная брюнетка, жена Петра, задавала корм темным мохнатым козочкам, совала им шумную охапку веток. Козочки вставали, стуча по пегородке копытами, пытаясь ухватить листья как можно быстрее.

— А где Петр?

— На лугу. Сено валкует, — хмуро ответила она.

По пологому лугу у реки тащился маленький трактор — «шассик» с розовым кузовом впереди. Сбоку, как огромная клешня краба, тащились, сгребая сено, тракторные грабли. Иногда Петр поднимал их, оставляя ровный валок сена, потом, брякая, опускал их и греб дальше.

— Отойди! — рывкнул он. — ...Счас!

Потом он отцепил грабли, усадил нас в жесткую тесную кабину, и мы, глотая пыль и раскачиваясь, помчались вдоль кукурузного поля, догнали комбайн, плывущий над высокими стеблями, как динозавр, и он срыгнул нам в кузов с верхом силосную массу, пережеванные им кукурузные стебли и листья. Ударяясь о железные стенки и друг о друга, мы тем не менее бурно обшались и за несколько ездов от поля до силосной ямы обрешали все.

— Фрол, рекламщик наш, москвичами перекуплен, — слегка шепелявя (прикусил в качке кончик языка), сообщил Крот.

— И мир отвернулся от нас! — добавил я.

— Да я тебе, — Петр повернулся к Кроту, — буквально за копейки такую акцию сделаю! Могу с крыши Пень-хауза упасть. А Мыцин, профессор, меня потом соберет. А Андре это снимет. И все телеканалы это купят — обогатится Андре!

— А откуда ты знаешь, что он с Фролом не отвалил? — удивился я его пронизательности.

— Так я ж знаю его! — Петр в свою очередь удивился.

— Боюсь, что если вы упадете с крыши, то нечего будет собирать и снимать, — усмехнулся Крот.

— Ха! А где я в армии служил? В ВДВ — войсках дяди Васи. И там на полгода мы прикомандированы были к Одесской студии — фильм снимали про Малую землю. Да-а... пожили! С чего я только не падал тогда! С самолета без парашюта! А уж с домов!.. Способ этот называется «яйца всмятку».

— И вам нравится он?

— А чего? Нормально. Ты, наверное, недопонял! Просто берется гофрированная тара из-под яиц, укладывается слоев в двадцать, и слои эти, поочередно разрушаясь, растягивают удар на двадцать этапов. Вообще могу ничего не ломать! Но раз надо!

— Веселый у вас брат! — сквозь грохот и лязганье проговорил Крот. — Но хотелось бы сперва с этим Мыциным проконсультироваться.

— Запросто, — уверенно сказал Петр. — Он уважает меня. Сейчас — только на конюшню заскочим!

Мы заскочили на конюшню, прошли по скользкому от навоза, разбитому копытами полу.

— Поможете тут мне, — проговорил Петр деловито. — Тут старухе одной надо зубы подпилить. Расщеперились — есть больше не может.

Петр сначала зашел в пустое стойло, заваленное дугами, хомутами и прочим, и вышел с огромным рашпилем в руках.

— У вас тут колхоз, что ли? — спросил Крот, якобы интересуясь, на самом же деле, похоже, борясь со страхом: уж больно мощные зады и ноги начинали нервно дергаться при нашем приближении.

— У нас тут АО с ограниченной безответственностью, — сказал Петр. — Ну, входим. Я иду нежно к голове, а вы с боков ее побудьте, чтоб не брыкалась.

Я вдруг заметил, что Крот побелел. Да, не везде гиганты равны себе! Тем не менее он вошел за Петром, и я тоже. Огромная седая кобыла силь-

но дрожала, прижав нас боками к стенкам, — и ее можно было понять. Петр взял ее за морду, резко повернул, прижав к себе, и задрал ее верхнюю губу.

— Н-ну... Прими!.. Прими! — орал он. И с громким шорохом стал пилить. Дрожь кобылы передавалась нам. Явственно завоняло женой костью. Крот, кажется мне, не упал лишь потому, что был прижат кобылой.

Петр наконец скомандовал:

— Ну все! Выходь!

Мы, продолжая дрожать уже отдельно от кобылы, вырвались из живых тисков. Петр вышел. В правой руке свисал рашпиль, левой он утирал пот. Мы, хотя всего лишь ассистировали, тоже были вспотевши.

Кобыла, тяжело вздыхая, сразу же улеглась. Кожа на ее крупе дрожала. Петр похлопал ее ладонью.

— Ишь устала! Ну ничего, теперь еще пожует! Так поехали?

Под грохот и лязганье он рассказал нам историю Мыщина, столь обычную в наши дни: приватизация, акционирование, разорение.

— В общем — звериный оскал капитализма! — подытожил Петр.

— Звериный оскал, — произнес Крот холодно (похоже, уже стал приходить в себя), — это когда поджигают ларек Ашоту. Или Акопу. К современному цивилизованному бизнесу это не имеет ни малейшего отношения. Сейчас дела имеют только с тем, кто вызывает безусловное доверие. И желательнее — симпатию!

Вот этого я не замечал.

— Если хотите знать, — Крот даже слегка завелся, — кроме всего я имею еще сеть сотовой связи — и вот недавно, когда мой главный конкурент вежливо попросил установить свою антенну на моей башне, рядом с моей антенной, я сразу же разрешил ему это, причем — с радостной улыбкой.

С радостной улыбкой не представляю его.

— Ныне только так! — Крот закончил.

— Так вот зачем Пень-хауз тебе! — проговорил проникательный Петр.

Крот как бы легкомысленно отмахнулся.

— И что этот Мыцин? Действительно — звезда? — вскользь поинтересовался он.

— Ну! Такие тут операции делал! На весь мир гремел!

— Так почему не уехал? — поинтересовался Крот.

— Так сын тут у него. Тоже неслабые операции делал.

— Умер? — испугался Крот.

— Хуже, — сказал Петр. — Для еврейского папы-профессора — даже хуже. Спилса.

— Как? — удивился я.

— Да почти как другие. С небольшой только разницей. Папа зачем-то в Америку послал учиться его — тому дико не понравилось там, со всеми разругался. Характер батин у него... местами. Приехал сюда — а и тут уже все прикрылось. Разругался с батей — и пошел бомжевать. На станции ошивается в основном. Тот пару раз приводил его — бесполезно. Сбегает. Вот где у профессора болит-то! Каково перед коллегами-то ему? Впрочем, сейчас почти весь его персонал на станции торгует: жить-то надо — нет?

— Да-а... бизнес у вас еще тот! — Крот усмехнулся. — Такого оскала мир еще не видал!

Мыцин держался надменно, словно он по-прежнему главный врач крупного медицинского центра... которого давным-давно нет. Впрочем, кто кем себя ощущает...

— Расскажите о ваших условиях! — высокомерно произнес он, обращаясь к Кроту.

— У вас есть имя? — довольно резко спросил Крот.

— Да... у меня есть имя, — проскрипел тот.

— Мировое?

— ...Да.

— Попробуем тогда возобновить ваш центр, — пообещал Крот. — Не только у вас, — (он посмотрел на Петра), — у меня тоже люди падают. И на буровых... а чаще всего — на ровном месте. Вы способны наладить работу?

— У меня несколько условий! — произнес Мыцин.

Еще условия он собирается диктовать! Да, есть железные люди!

— Условия? — несколько удивился Крот. Капиталистам тяжело нынче: и за комсомол приходится быть, и за профсоюз!

— Да. К нам будут поступать сюда не только... ваши кандидаты, но и все случаи, которые заинтересуют нас! Сын мой должен закончить кандидатскую диссертацию!

«Закончить»?! Петр изумленно потряс головой.

— Но у вас приличная репутация? — поинтересовался Мыцин.

Да, за этим Мыциным нужен глаз да глаз, ухо да ухо.

Потом я сбегал за Андре, поманив, вызвал его с семинара, откуда доносилось лишь тягучее жужжание мух, и он, взяв застоявшуюся камеру, радостно хромал со мной.

— Я думал, ты уж забыл меня со своим миллионером! — произнес он.

Мы подошли к живописной нашей группе. Мыцин приветствовал мастера кинокамеры сухим поклоном.

— Ну вот, — обратился Петр к Мыцину и Андре. — Хочу с крыши упасть, на коробки из-под яиц. Коробки, ясно, не покажем. Рекламный трюк.

— И что же это рекламирует? — поинтересовался Мыцин.

— Вас.

— Меня?

— И его! — Петр ткнул в сторону Крота. — Я что-нибудь поврежу маленько, а вы почините. А он тут же подсуетится, оплатит.

— Вы уже падали с крыш? — поинтересовался Мыцин.

— Сколько раз! Запросто. Скажите только, что ломать.

— Ну давайте поднимемся, посмотрим, — хладнокровно пригласил хозяин.

По-моему, нам заранее все переломают! — испуганно думал я в лифте. И вот мы шагнули в темноту — я вежливо пропустил всех вперед. Ничего! Тишина! Даже обидно. Без меня, видать, вообще никакой жизни бы не было! Уважали Мыцина? Боялись Крота? А может, утомленная нудной борьбой с зороастрийцами, охрана отдыхала? Враги ведь тоже устают.

Мы спокойно прошли через тьму и под предводительством Мыцина поднялись на крышу. Да, неплохо тут когда-то отдыхали колхозники! Точнее, председатели, думаю я. Даже бассейн тут имелся — сейчас, ясно, без воды. На облупившемся дне видна была длинная кучка пепла. Крот покачнулся и зажал рот. Мыцин смотрел абсолютно равнодушно. А вот Крот стал зеленоватым. Супермен тоже не всегда адекватен себе.

— Здесь должен быть солярий, — бубнил профессор. — При лечении некоторых болезней суставов солнечные ванны крайне необходимы.

— А как зайдет солнышко, — воскликнул Петр радостно, — казино!

— Так обдумаем ваше падение, — хладнокровно произнес Мыцин. — Прошу!

Они приблизились к краю. Крот, покачнувшись, остался на прежнем месте. Я подошел к ним трясясь. Писателю, говорят, надо все — и потрястись тоже.

— Мотивы вашего прыжка? — допытывался методичный профессор. Тоже в законах шоу-бизнеса понимает!

— Любовь! Несчастливая любовь! Жена меня не любит! — бодро чеканил Петр. Тоже — соображает!

— Только не ломайте ступню — это самое сложное, там слишком много косточек! — поучал добрый профессор.

В сочетании с высотой это действовало как-то неприятно — и я отошел по краю. Да, вид отсюда силен! Море, уходя, меняло цвет: у берега нежно-зеленое, дальше — ярко-синее, потом, к горизонту, — сверкающее, слепящее. Но до него будет не долететь.

— Ладно... Не прыгайте. Я согласен и так, — слабым голосом проговорил Крот, но прожектеры к нему не обернулись, оживленно беседуя.

— Только из уважения к вашей матери, Зинаиде Ивановне! — долетел голос Мыщина.

Отсюда домик за горкой был виден насквозь! Петр даже не смотрел туда, на место наших юношеских преступлений... Интересно, холодильник там тот же еще — куда мы ставили «странное пиво»? Да нет, тот же навряд ли. Но сердце жмет — хотя того уже не исправить!

Душевные мои терзания были прерваны резко.

— Позор! — вдруг прогремело сзади.

Я повернулся, удержав равновесие. На нас грозно, как тень отца Гамлета, надвигался Нуль... то есть, извините, — Лунь! Спутался от волнения.

Держась как бы в тени, за ним скромно двигался другой человек, и скромность его можно было понять: и так его показывали по телевизору почти ежедневно. Как же было не узнать: Арсений Фалько, последнее лицо нашей демократии (наверху), последний наш человек в Кремле, последняя наша надежда... Так это он в домике-прянике живет?.. Это за него так меня помолотили?.. Но он ведь не знал, наверное?

Хотя за ним следовал тот, кто, наверное, знал!

Зорин, Митрофан Сергееч, который у истоков нашего «Ландыша» стоял, который в Спиртозаводске нас из кутузки выручал... генерал. Да, крепко охраняет устои! Роба у меня сразу зачесалась. И кулаки.

Но не в такой же компании? Сам Фалько... последняя наша надежда. Безобразной сценой встречать его? И — при Луне, полном праведного гнева?

— Стыдно! — прогрохотал Лунь. — Стыдно видеть прежде уважаемых мною людей за столь неприглядным занятием! — Седыми бровями он указал направление нескромных взглядов: мы явно, увлеченно (и извращенно) подглядывали отсюда за тем, что творится в том домике. Иной цели у нас и быть не могло! Это было ясно, судя по Луню. Он видит глубже нас! Хотя в домике том абсолютно ничего сейчас не творилось и вообще не было ни души. Все души были тут. И какие души! Все творилось как раз тут: может быть, даже сама История?

Камера Андре стрекотала непрерывно, фиксируя все: и, конечно, появление этой величественной процессии, и то, как Лунь приосанился перед камерой, бросая возмущенный взгляд вниз, в сторону домика. Снят был и домик. Луня явно пьянило это стрекотанье, без него, можно сказать, он и не мог по-настоящему опьяняться жизнью. Реакция Фалько была прямо противоположной — он, наоборот, всячески старался не выгладеть никак, сутулился, кукожил, говорил глухим голосом, так непохожим на его громогласный публичный.

— Понимаете, — услышали мы. — Мою морду и так уже размазали по всем экранам. Могу я хотя бы на отдыхе приватно пожить, чтобы никто не заглядывал в мою спальню?

А не то... мы знаем, что будет.

Но главное — надо было моральную оценку этому дать. И Лунь давал, от всей души, которая особенно широко раскрывалась почему-то лишь на самом высоком уровне — как сейчас, давно он не смотрелся так праведно — видно, силы берег.

Крот посмотрел на Фалько. На Луня он боялся смотреть: это все равно что видеть в подлиннике какого-нибудь святого Иоанна!

— Поскольку рынок сейчас, — обратился Крот к Фалько, — даже перенасыщен порнографической продукцией, то в спальню к вам вряд ли кто будет смотреть!

Крот снова был боец. Фалько, в отчаянии махнув рукой, засеменил к выходу.

— Да! — произнес Крот. — Эти никогда не допустят, чтобы кто-то над ними жил. Безнадега! — Он сделал знак Андре, Мыщину и Петру: уходим отсюда.

— Стыдно! — повторил Лунь. То был раскат уже удаляющегося грома. Ему всегда становилось мучительно стыдно в абсолютно точно выбранный момент, в самом нужном месте. Этим и велик.

У Крота закурлыкал телефончик. Крот отошел в сторону, послушал и сказал лишь одно слово: нет.

Потом подошел к нам (великие уже удалились).

— Фрол звонит, — усмехнулся он. — Предлагает за энную сумму тело Ленина сюда положить. Гарантирует дикую раскрутку.

— Тогда я сам отсюда спрыгну! — произнес Мыщин.

— Охо-хо! Тошнехонько! — завопил Крот.

## ГЛАВА 11

Все! Мучительный самоанализ — и глубокий, освежающий сон!

Следующий день я встретил работой. У меня тоже есть свои дела! Полковник Етишин ходил по кабинету. Но с огромным трудом. И тут в дверь забарабанили, и вошел Крот.

— Все! — Он сел на стул у входа. — Хана!

— Какая именно?

— Полная!

А я думал, что уже была полная хана. Нет, оказывается? Это хорошо!

— Лунь заявление делает. Хочет придушить нас в своих объятьях. Весь народ сбегается: такое разве пропустят — когда мудрый старец разоблачает нынешнюю коррупцию: народ от этого шалеет. Так что он опять попадает в десятку!

Как всегда!

Действительно — клубился народ! И даже ликовал. Пьянел почему-то от омерзительных новостей. Толпа! В конце конференц-зала нам пришлось подниматься на цыпочки. На сцене на простом стуле сидел Лунь, в посконной рубаше, растрепанный... как бы вышедший к народу на покаяние — один за всех! Даже за тех, кто его об этом не просил. За ним бычился Сысой: мол, если надо, то мы добавим. Вела все эти дела почему-то Любка — видно, переметнувшаяся от Крота из-за какого-нибудь лишнего (или недостающего) нуля. Всем своим скромным видом она как бы подчеркивала, что духовное ей тоже гораздо важнее материального.

— ...Наш глубокоуважаемый расскажет о... — Она вопросительно уставилась на Луня.

— Да что ж тут расскажешь? — скорбно начал Лунь. — Просто — наболело... где-то вот здесь.

Потом он молчал довольно долго (сильный эффект!). Потом глухо заговорил. Суть его речи была известна — и обречена на успех. В эту лихую годину, когда народ стонет от нищеты, бесправия, чудовищной коррупции, он (Лунь) выбрал время, которого Бог ему уже не так много отвел, чтобы принять участие...

— Возглавить! — выкрикнул Сысой, но Лунь лишь горестно отмахнулся.

— Возглавлять мне что-нибудь уже поздно, — умудренно улыбнулся он. — Я просто поехал сюда, потому что надеялся в меру моих слабых уже сил как-то помочь людям в их нужде.

Одному он помог точно — Фалько.

— Но оказалось, — голос его вдруг окреп, — что здесь, под прикрытием высоких словес, творится... торжище! Совершаются сделки!

Народ заплодировал. Он, как и всякий народ, обожал безумно, когда его чудовищные подозрения наконец оправдываются и кто-то режет наконец правду-матку. Особенно — такой вот!.. Кстати — какой?

— Да ну... — произнес мужик с нами рядом. — Он, говорят, еще в ЦК был!

— Ну и что? — горячо возразила ему его жена. — А где ж такому человеку тогда было быть? В Париже — или в ЦК!

— Поэтому, — скорбно закончил Лунь, — я покидаю... это торжище!

Отличное, кстати, слово нашел. Лунь спустился со сцены, поддержанный на ступеньках Фалько.

— Во, — загудели в зале, — тот самый с ним! Который все тоже насквозь видит!

Народ шумно расступался. Лунь шел, благодаря кивками всех тех, кто освобождал ему путь, шел, как и обещал когда-то, — пешком. Правда, судя по спутнику — недалеко.

Прием этот — «полет Луны» — знали все опытные люди: внезапно вылететь, чисто и светло, из какого-нибудь крупного дела, обдав его белоснежным своим пометом... Что может быть краше? Остается лишь гордиться тем, что есть еще у нас такие люди... пока.

— Это конец! — сказал мне Крот. Нас обтекала толпа, устремившаяся за пророком. — После такой плухи нам уже не встать!

— Встанем! — сказал я.

Настоящих плюх не видал. Молодой ишшо.

В следующие дни мы с Кротом пытались как-то восстановить хозяйство. Потерпев полное поражение наверху, взяли пониже, снова подались в народ, пришли на разлив у моста, где нежилась многоглавый змей, явно торжествуя.

— Ну что? Вмазали вам? Не любите правду-то?! — проговорила его главная, бровастая голова.

Судя по его голосу, лицу, стилю поведения, он сам был не чужд восприятию сумм «в особо крупных размерах»... но при торжестве правды ликуют все — особенно если эта правда к тебе не относится.

— Ну что? За помощью пришли? — торжествовал он.

— Да хотелось бы через вас выйти хотя бы на мэра, — скромно произнес Крот.

— Ящик коньяка-то хоть будет? — пренебрежительно поинтересовался тот. Мол, на такое хоть вы способны?

Так куда ж мы денемся-то, с погубленной репутацией?

Ящик коньяка мы лично тащили с Кротом.

Ничего более безобразного, чем эта тайная встреча с мэром, я не видел давно. Мы долго поднимались в машинах по ущелью и наконец вылезли в условленном месте.

Распоряжался всем бровастый. По сигналу его бровей Ваня и его друг с хрустом полезли в кустарник, в гору, и, пошебаршив там в наступившей уже тьме, выкинули на площадку что-то тяжелое, мертвое и голое. Тело тяжело шлепнулось. Отряхивая ладони от растительного мусора, ребята, отдуваясь, слезли на дорожку.

— Вы что мне сбросили? — зашептал бровастый. — Я ж осетра заказывал! А это человек!

Я, оказавшись рядом, невольно тоже пригляделся. Человек. Голый, в одних лишь плавках, и, похоже, бездыханный.

— Так то егерь! — приглядевшись, сказал бритоголовый.

— А осетр где?

Растерянно переглянувшись, орлята снова полезли в кусты, долго там ползали в наступившей уже полной тьме, матерясь все более и более безнадежно. Ломая с треском кусты, на тропу вылетело еще одно длинное голое тело — в этот раз, похоже, осетр.

— Ну вот, — удовлетворенно произнес бровастый. Осетра стали торопливо, как бы испуганно, рубить топорами, швырять куски в котел на костре. Огромные тени металась по горам. Нарастало манящее бряканье бутылок. Крот и мэр, по фамилии Мурцовкин, как бы не замечая всей этой презренной суеты, галантно беседовали в сторонке. Несмотря на то что ночь наступила, мэр почему-то оставался в черных очках.

— Да-а... Дыр у нас много! — говорил он. — И опорно-двигательный — это наша боль. Так что... — Он развел руками, как бы принимая дорогого гостя в объятия.

— Ну... некоторые инвестиции возможны, — рокотал Крот.

Успокоенный — тут все ладится, — я отошел.

— У вас есть связи в Минприроды? — протаскивал свое Крот.

— Да, многие бывали здесь. А благодарность? — гнул свое мэр.

Голоса их затихли. Я подошел к Петру. Петр, который тоже, как член местной мафии, был здесь, поначалу чурался меня, как соучастника опозоренного всеми «торжища» (и его чуть не втянул!). Но, размачивая себя вином, постепенно отмяк.

— Мой прыжок, значит, похерен? — горестно произнес он.

— Подожди! Еще не вечер! — подбодрил его я.

Меня по-прежнему смущал безжизненный егерь, которого тоже, как осетра, подтащили к бурлящему котлу. Но, поглядев на него в очередной раз, я увидел, что глаза его открыты, весело бегают по сторонам, — и я успокоился.

Метнувшееся пламя костра осветило вдруг Ваню и его бритоголового друга, оказавшихся в непосредственной близости от нас и поглядывающих неадекватно.

— Все! — шепнул Петр. — У этих уже кулаки чешутся! Валим отсюда!

Свою работу пресс-секретаря я, в общем, считал исполненной, и мы съехали в душный, пахучий овраг. В мешке у Петра что-то брякало — и я, кажется, догадывался — что.

— Есть тут одно местечко, — прошептал Петр. — Ухайцы держат. Только примем сначала — на ход ноги.

Мы приняли и поползли по оврагу.

— С Мурцовкиным бесполезно о крупном разговаривать! — шептал Петр. — Им Джемал Дваждыхиреев командует, с кошар. Сами позвали их, от своей же лени, наших овец на кошарах пасти все лето. Теперь тут сила у их!

Ухайцы же, по словам Петра, — наоборот, мирное племя, которое было тут еще до мусульман и христиан, их обычаи совсем древние.

— Не огнепоклонники? — с опаской спросил я.

— Да не-ет! — успокоил меня Петр.

Какая-то горькая травка замечательно пахла. Дивная ночь!

— У них свои обычаи! Похороны, например... еще живого человека замуровывают сверху в такой глиняный столб: какие-то особые сигналы с небес он тогда получает, пока жив.

— Так на хрена мы туда идем? — Я остановился у каких-то свисающих на длинных ветках, шекочущих щеки цветов.

— ...Так теперь не замуровывают вроде живых-то. Там у них вроде как-бак, а для культурного отдыха — музей.



Культурный отдых я помню плохо...

Резная терраса, наполовину затемненная моей гигантской тенью от ко-стра. Быстрый, холодный ручей с сетью... но сеть не для рыбы, а для того, чтоб не унесло течением бутылки, охлаждаемые для гостей. Они, собственно, и не успели бы далеко уплыть.

Помню широкую утоптанную площадку за оградой: музей их древнего быта. Бубны с колокольчиками и ленточками, такие же шляпы, детская люлька-качалка, тоже вся обвешанная. Изделия эти продавались любознательным и, как правило, пьяным туристам. Одно, кстати, изделие, уходящее корнями в седую древность, пришлось очень кстати и в наши дни: древнее приспособление для ходьбы в пьяном виде. Дуга на колесиках по концам: продеваешь шею в хомут, руки в кожаные петли — и идешь. Дуга, упираясь в землю, не дает окончательно упасть, колокольчики звенят, ленточки развеваются! Еще ухайцы предложили нас замуровать, незадорого, но мы отказались.

Мы вылезли на шоссе. Я шел, бренча и развеваясь, Петр держал меня за пояс, не отставал. Водители, принимая нас за представителей древней цивилизации, бодро сигналили.

— Ты, можно сказать, в родном доме и не был еще, — прошептал Петр. — Ну... Войдем тихо, как два кота.

Мы, обогнув плетень, тихо вошли во двор. Родной дом был высотой метра в два длины и в ширину такой же. Как только могучее племя братьев и сестер, давшее жизни и нам, тут размещалось? Теперь он имел, правда, лишь мемориальную ценность: Петр уже всего понастроил кругом.

— Стоит, как домик Ильича среди современности, — пояснил Петр. — А вот для Славки хитрый дом строю. В одну ендову три крыши свожу!

— Да, ендова сложная! — согласился я.

Мы сели в беседке на крутом берегу, унизанном мелкими белыми ро-зами. Капли росы на них, наливаясь солнцем, желтели.

Все еще спало вокруг, лишь скотина, ворочаясь, сладко вздыхала во сне, готовясь к пробуждению.

— Тут у меня козы сейчас шерстяные. Свиной прежде держал. В горы их гонял, с кабанами скрещиваться. Шикарное мясо выходило, с дымком, с ягодным запахом. Гурманы приезжали за ним. Однажды свинка моя на спаривание мчалась и сбила с ног Мурцовкина, мэра нашего, что по шоссе вниз от бабы возвращался. Упал в пропасть Мурцовкин, три дня на ли-анах над бездной висел. С тех пор запретил это скрещивание как антина-учное. Пришлось запереть моих наглухо. Так к ним Ромео пришел!

— Ромео? — ошарашенно спросил я.

— Ну да, — спокойно ответил Петр. — А кто же он?

Петр открыл дверь нового дома, ведущую, как понял я, в их гости-ную, — и я отшатнулся, увидав прямо напротив двери жуткую мохнатую, клыкастую морду со стеклянными, розовыми от зари глазами.

— Вот любовь! — Петр указал на кабанью морду. — Ведь на верную смерть пришел! А свиношки, красавицы мои, прикрывали его от моей пули! Но все же настигла она его, я плакал! Неравнодушен к животным — от деда у меня. Тот вообще верблюда держал. Уверял, что верблюдов — луч-шее животное для нашего пояса! С самим Мичуриным переписывался... тот, правда, не отвечал. А дед на верблюде даже пахал, пока тот не разнес на хрен ворота и не убежал. А ближайшая самка отсюда — пятьсот км!

Я молчал, пораженный столь щедрой генетической информацией.

— А батя, тот охотник был, да. Тот пропадал все время — в партизанах привык к лесной жизни, остановиться не мог. Так что изредка его видели. Однажды мать с утра, пока он не очухался, не ушел, говорит ему: возьми крючок, иди хоть сена из стога в кошелку надергай, да бери не верхнее, мерзлое, а из глубины! Тот оделся, пошел. Подходит к стогу — глядь: со-всем свежие по пороше заячьи следы — только что приходили кормиться.

Зашел тихо в избу, схватил ружье и — по следам: вдоль речки, на холмы. И весь день так прошастал, никого не убил. Вернулся ночью — все уже снова спят. Жрать охота, рассказывал. В печку залез, пощупал — какая-то кастрюля теплая, в ней что-то жидкое, но попадаются и куски. Покушал и спать рухнул. Просыпается — мать ругается: «Куда болтушка для свиней делась — вечером заготовила? Ты, что ль, схлебал?»

Мы некоторое время сидели, тихо улыбаясь. Потом Петр поднялся:

— Все, пойду сдаваться властям. А ты сиди: может, еще покормят!

Он зашел в летнюю выгородку, где спала жена.

— Галя! Я животное? — слышалось оттуда.

Ответа нет.

— Галя! Я животное?

Потом, на пятый уже запрос, слышалось долгожданное:

— Да! Да!

Петр вышел оттуда довольный.

— Ну... сейчас маленько покурим — потом повторный заход предприму!!

Мы посидели молча, пока Петр набирался духу на второй заход. К беседе был прислонен черный мотоцикл, еще пахнувший разогретым мотором.

— Славки моего, — не без гордости сообщил он. — Скотиной совсем не интересуется. Одна техника на уме. Гоняет все ночи с друзьями своими! — (Как же, слышал их грохот!) — А теперь вот дрыхнет...

Не то что мы!

## ГЛАВА 12

Все! По рюмочке — и спать!

По дороге в гостиницу я выгреб на старый центр: буквою «П» три красно-белых кирпичных домика — прежде, видимо, тут самых главных. Управа? Полиция? Почта? Сейчас все здесь подзаросло лебедой, но жизнь, несмотря на ранний час, бурлила. Результаты ночного бдения бизнеса и власти были налицо: Крот получил в свое распоряжение дом, один из трех.

Мебель прежних обитателей, выкинутая решительными «секьюрити», валялась под окнами. Рядом стоял народ. Многие почему-то оказались слепыми, с какими-то бандурами, висящими на груди. Да, динамично тут работают: выселили не просто общество слепых, а филармонию слепых бандуристов! И вот они, сойдясь к дому и наострив свои бандуры, грянули «Интернационал»!

Вспомнился Петр: «„Красный пояс“, говорят! Так любой пояс покраснеет, коли все отнимать!»

Потом начался ор. Мэр все же вышел к народу. Постоял перед ним, слегка покачиваясь, почему-то с закрытыми глазами и вдруг как подкошенный рухнул в мягкую пыль. Застрелили?.. Через секунду раздался храп.

Я вошел внутрь. Крот, гулко стуча каблуками, ходил по комнатам. Подошел ко мне — бледный, невыспавшийся, похмельный.

— Ну что? Не нравится? Ну так и иди!

И я пошел.

В гостинице я вошел в лифт. Все как раз, свежие, побритые, благоухая лосьонами, струились на семинар. Вот как люди живут! Побрились, позавтракали и теперь будут говорить о высоком, наполняясь значимостью. А ты все где-то мечешься, как раненый скунс! Может, еще не поздно? Я пошел с толпой.

Но — поздно оказалось. Сысой, не находящий применения своей праведности, увидев меня, просто беркутом вылетел на трибуну. Счастью не верил своему — и торопливо, пока я не ушел, обвинил меня в чудовищной коррупции, безнравственности и пропихивании (спихивании с крыши?) ближайших родственников.

Это я удачно зашел! Быстро отделался. Я встал. Только честный Андре вышел за мной, но, как выяснилось, не с целью утешения, а, наоборот, для того, чтобы растравить мне душу еще больше.

— Явился? — спросил он гневно.

— В общем, да.

— Ну что, — спросил почему-то именно у меня. — Будет когда-нибудь справедливость или нет?

Трудно быть справедливым с похмелья. Но надо постараться.

— Слушаю тебя.

Мы спустились с ним на первый этаж. Он провел меня в комнату, оборудованную под монтажную. Стал прокручивать пленку вперед и назад, и на маленьком экранчике, торопливо размахивая руками, забегали фигурки.

— Вот! — дал нормальную скорость. — Вот Фалько говорит... А вот Лунь. А вот я забитые окна подснял, и здесь будет мой текст: «Любимец нашей демократии Фалько не хочет срывать последние шоры тоталитаризма, когда это касается лично его!» А вот опять Лунь вещает...

Голова моя сонно падала, но я мужественно ее поднимал.

— Ну как же ты? — проговорил я. — Хочешь последние наши устои порушить? Если не Лунь, если не Фалько — тогда кто же? Идеалы не бывают идеальными.

— А мне наплевать!

И я заметил, что он дрожит. Да. После того, как его земной бог — Фрол — покинул его, лишь отчаяние руководило им.

В холле встретил меня генерал Зорин, весь в белом. В петлице у него был тюльпан.

— Вы были у него?

— От вас ничего не скроешь.

— Вы видели это безумие?

— От вас ничего не скроешь.

— Что вы все повторяете одно и то же? — вдруг вспылил он. Потом взял себя в руки и даже пошутил: — Мы не для того вам дали свободу слова, чтобы вы все время одно и то же повторяли!

— ...Извините.

— Вы знаете, как я люблю вас.

...Возможно.

— И я ценю вашу дружбу с Андре. И слишком люблю этого чистого, светлого человека для того, чтобы жертвовать им. Поймите — не все же зависит от меня! Однажды он уже оказался под автомобилем, но — к счастью! — отделался ногой. Поговорите с ним. Сейчас, когда ростки демократии и справедливости только-только укрепляются в нашей почве, не следует выдирать их с корнями, чтобы посмотреть, правильно ли они растут.

Не выдернем... Конечно, ничего этого я Андре не передам. Гнусно — сбивать ангела с полета!.. Ну так другие его собьют... машиной. И все при этом благородно стоят ничего не делая! Принципы — не тронь! И так же — и даже еще благороднее — будут стоять на похоронах: погиб за идеи — и это хорошо!.. Только такой суетливый тип, как я, может еще что-то спасти.

У Зорина зазвонил телефончик, он послушал и стал вдруг белей ослепительного своего костюма, а нос, что удивительно, — алей тюльпана в петлице.

— Ваш Крот тоже сошел с ума! Все буквально обезумели!

И Крот, получается, у меня на руках? И этого вот, с тюльпаном, тоже жалко.

— Так что произошло?

— Он купил это здание!

— Это?

— Да! В котором мы с вами находимся!

У спящего мэра купил!

— Объясните хоть вы ему, — (довольно-таки обидная формулировка!), — что здесь ему все равно не жить!

— Уточните, — пробормотал я.

— Никогда не будет того, чтобы кто-то взирал на *тот* домик сверху. Поймите — никогда! Ни при какой власти! Эту ошибку архитекторов уже не исправить. И поймите: я начальник охраны Фалько, самого гуманного из политических лидеров! А ведь туда могут и другие приехать!

Думаю, хватит и тебя! Однако я пытался еще защищать позиции частной собственности, чуждые мне:

— Но ведь он это здание *купил!!*

— Да. Но у него нет наследников! — жестко произнес он. — А в действительности наших методов вы уже убедились!

Убедился...

— Попробую. — Я побрел к лифту.

Двери его разъехались — и оттуда выпорхнула почти обнаженная Любовь. Неуместность ее наряда бросалась в глаза, во всяком случае, в мои глаза — это точно.

— Отличная погода! — пропела она.

Не до погоды! У меня два кандидата в трупы на руках.

Я поспал у себя минут двадцать и пошел к Кроту. Он был уже на месте — что значит деловой человек.

— Аг-га! — произнес он яростно, увидев меня.

Опять достанется все мне! Ну что ж — такая работа. К сожалению, неоплачиваемая. Перешел уже на «ты» — видно, крепко мы за это время сблизились:

— Ты все хотел звериного оскала капитализма — так получи его.

Почему же все мне?

— Так что — все! Твои разорившиеся ортопеды, падающие братья, надоели мне. Выметайся! И кстати, этот свой дурдом на колесах — тоже забирай! Надоела мне их бессмысленная болтовня: только о себе и думают, исключительно — как пошире сказать! Вагон уже заказан, тот же самый, на четыре часа! И если кто-то тут задержится — пусть пеняет на себя! Крепость Ваниных кулаков ты уже испытал — не делай так, чтобы другие их попробовали!

Ну ясно. Как «самый понятливый» и тут всех опередил! Набрал столько авансов, что прямо разбегаются глаза.

— Понял, нет?

Понял. Но его угроза на меня действовала как-то меньше: другая опередит!

— Осторожнее будь — ты в опасности! — предупредил его я и вышел.

В холле подбежал ко мне Зорин, в том же безукоризненном костюме. В петлице у него был огурец. Судя по встревоженным глазам — уже в курсе.

— Все будет о'кей! — бодро произнес я. — Могу я видеть Великого Старца?

В глазах у Зорина появились слезы, и, несомненно, то были слезы счастья.

— Я думаю, вы просто обязаны! — улыбнулся он.

И мы пошли к домику-прянику. Сердце прыгало. Давно я в нем не бывал. С самой юности!

Зорин отпер калитку. Ничего тут почти не переменялось! Лишь копию Шишкина убрали со стены да скатерти-знамена со столов. Неужто холодильник тот же? Этого сердце может не выдержать.

Перед террасой два титана пилили дрова, и опилки сыпались в паутину на козлах. Я поглядел на их спящие бицепсы, кулаки на ручках пилы. Не их ли я осызгал тогда, в темноте?.. Да нет! То, наверное, другая смена.

Лунь с Фалько скорбно сидели на покосившейся террасе и, увидев меня, еще больше понурились: вот так вот и живем, без затей! Все вокруг было какое-то скрипучее, ветхое... какое-то тургеневское, я бы сказал. Не хватало только стройной девушки с косой... насчет косы не поймите меня превратно: тьфу-тьфу-тьфу!

Вот, говорил их вид, столько пережито, столько пожертвовано, столько сделано... и где она, человеческая благодарность?.. Да вот же она!

— Без вас как-то худо! — Я тяжело вздохнул.

Они подняли головы: ну? ну?

— Тут вообще оркестр слепых музыкантов из помещения выгнали!

— Как? — воскликнул Лунь. При нем такого быть не могло! — ...Слепых?!

— Слепых! Без приюта остались!.. А тут вон какой Пень-хауз пустует!

Лунь и Фалько поняли друг друга без слов: есть вещи, которые в словах выглядят грубовато — лучше их оставить в сфере эмоций.

— Я что-то могу сделать? — приподнялся Лунь. Старый Дон Кихот снова в бою!

— Да, кстати, неправильно меня поняли! — улыбнулся Фалько, кивая вверх. — Срывайте эти шторы к черту! Отдайте помещение... хотя бы вот этим несчастным, о которых вы говорили сейчас!

— Слепым?

— Да хотя бы слепым! — взволнованно произнес Фалько. — Они что, не люди?

Лунь гордо выпрямился: люди! да какие еще!

...Самые как раз подходящие!

Меня как бы уже и не было — они радостно переглядывались поверх меня. Безусловно, благородная эта идея зародилась в глубине их сердец!

— К кому я должен идти? — растерянно произнес Лунь.

Он беспомощно огляделся: да, я чувствую боль... но я должен почувствовать ее всенародно! Где же пресса?

Вот оно все и уладилось!

— Ладно, идемте! — Лунь вдруг решительно двинулся. — Старый Дон Кихот еще поскрипит!

— ...Спасибо, что не забыли старика! — вдруг произнес он, пока мы шли.

Такого забудешь!

Потом мы добрый час уламывали упрямого и злого Крота.

— ...Если уж на то пошло, — говорил Фалько, — наша партия купит бандуристам новые красочные наряды — я видел такие в Албании.

Через ту бандуру бандуристом стал.

— Не будет никаких бандуристов! — цедил Крот. — Тем более в Пень-хаузе!

— Но у вас есть совесть! — ворковал Лунь. — Тому хорошему, что есть в вас, надо помочь!

— Вашу помощь я уже видел. Спасибо.

— Надеюсь, что она пошла вам на пользу! — произнес Лунь.

— Короче, нужен красивый акт справедливости, — резюмировал я. — Без него пропадем!

К концу часа Крот, все понимая, сломался:

— Ну ладно. Давайте ваших слепцов!

Тут же на столике зазвонил телефон. Крот с тяжелым вздохом снял трубку.

— Извините, что я вмешиваюсь, — послышался на всю комнату взволнованный голос Зорина. — Но я поздравляю вас! Я считаю, что вы приняли продуманное и прежде всего — гуманное решение! Гуманное прежде всего по отношению к вашей жизни! — добавил он.

Уж не мог без этого!

— Охо-хо! Тошнехонько! — завопил Крот, кинув трубку.

На этой пресс-конференции Луня народу было мало. Разоблачения больше любят. Добро трудно пролагает дорогу! Это я уже как Лунь заговорил. Но и сам он неплохо справлялся:

— Я рад, что после моих трагических переживаний я встретил вдруг человека новой формации, бизнесмена с душой и сердцем!

Крот, «бизнесмен с душой и сердцем», сидел потупясь. Фалько задумчиво кивал. После пресс-конференции на меня вдруг накинудся Андре: «Ты продал наши идеалы! Шоры срываете — и запускаете слепых!» Ну а как же иначе? Кстати — первый раз я видел Андре пьяным, но, к счастью, не последний раз живым.

Лунь, Крот, Зорин, Фалько, бодро беседуя, вышли на воздух... Друзья!

Дай только людям совершить добро. Не загоняй их в угол. И вот как складненько все!

Но не все еще, оказывается!

В Ржавой бухте клубилась толпа. Табор телевизионщиков. Приплясывали в длинных балахонах толпы зороастрийцев (или это буддисты уже?). Они трясли в руках высокие палки с плакатами, на которых были намалеваны скелеты рыб. Броско! Да, этот Фрол мастер постановок! Самого бы его когда увидеть! Не этот ли — маленький, бородатый, в полотняном креслице на холме?

Группа техников в оранжевых комбинезонах спихнула, испуганно отпрянув от воды, что-то большое и белое — и по воде (действительно не совсем чистой на данный момент) поплыл, лязгая челюстью, огромный радиоуправляемый череп (оставшийся, видимо, от головы Пушкина, которую Фрол к Африке запускал)... Крепко!

Крот, забыв о нашей размолвке в луже под мостом, кинулся ко мне. Ну что же, забудем! Не впервой!

— Что творят, а? — проговорил Крот. — Уже в газете «Диверсант» статья вышла. Называется — «Бухта яда»!

— Подержи-ка костюм!

Я разделся. И нырнул. И море уташшыло меня. Хышшно!

Потом, со всех сторон обнимаемые, мы шли с ним, и Крот говорил растроганно:

— Я понял, что только благородство может победить!

Главное — что я не растворился в этой воде.

— Не волнуйся! — Я похлопал его мокрой рукой по плечу. — Со мной не пропадешь!

### ГЛАВА 13

Срывание шор было приурочено к прилету министра, который и конкурс, кстати, судил — кому отдать предстоящее строительство.

Пока что он пребывал на дальнем мысе, у москвичей. Там грохотала эстрада, лазеры кололи небо. Размах!

У нас зато — все скромно и достойно. Публика собиралась на крыше Пень-хауза. Самой элегантной парой я бы назвал пару нежно-желтых бабочек. Как они залетели на эту высоту? Он гнался за ней, она от него увиливала среди гостей. Ее полет был непредсказуем, прерывист, она меняла то направление, то ритм — и он с ленивой, уверенной грацией, с чуть заметным элегантным отставанием повторял все ее движения. Наверное, это и называется — волочиться.

Кроме них присутствовали: Лунь в мятом выцветшем пиджаке и черных тяжелых брюках, весь такой абсолютно неприспособленный к светской суете. А ведь он действительно материально беден! — вдруг пронзило меня. Как вторая бабочка, за ним неотступно следовал Фалько.

Мрачный Сысой, тяжело переживавший опалу, рвался к столам, пытаясь досрочно напиться, но официанты отгоняли его.

Были: и тучный местный контр-адмирал с женой, и мэр с супругой, благожелательно внимающие наигрыванию бандуристов, — как-никак, мэр тоже приложил руку к судьбе артистов!

Бандуристы были строгие, седые, их длинные волосы были прижаты ленточками из лыка. Костюмы из Албании молодили их.

Крот, бледный на лицо (на высоте его крепко подташнивало), шептал мне: — Влетели мне эти бандуристы в копеечку!

От мафии были — бровастый, его заместитель в интеллигентном пенсне и взволнованный Петр, еще надеющийся исполнить свой смертельный номер — прыжок с крыши.

Были Мыцин и его сын, пока еще поглядывающие друг на друга враждебно.

Ваня и его лысый друг — теперь уже не просто мильтоны, а секьюрити — стояли в черных костюмах, флегматично застыв, сложив руки с мобильниками на причинном месте, как их голливудские коллеги.

Берх, с тугой косичкой на лысой голове, снова с его фондом оказавшийся здесь, пытался воротить башку от Луня и Фалько: долго еще *эти* будут тут всем командовать? Долго. Долго еще. И голову, как ни старайся, на сто восемьдесят градусов не отвернешь: шея сломается. Вот так. Справедливость у нас всегда будет вершиться!.. кто бы ее ни вершил.

Тут же был и Фрол, с заросшим маленьким личиком, в натянутой до бровей бейсбольной кепочке — как бы отсутствующий на этом позорном акте, — но ставил-то его он! А куда денешься? наших слепых бандуристов ничем не перекрыть. Супротив нашего благородства не попрешь! И телевидение толклось тут в сладком ожидании. Фрол наверняка что-то отмочит!

Фалько, хоть и был тут первый человек, держался скромно — успел, правда, в телевизор сказать, что партия его оплатила красочные костюмы для бандуристов. Скромный-то он скромный, но недавно, напирая на общность наших убеждений, требовал, чтобы я плыл туда, на дальний мыс, во вражеский стан с чемоданом листовок.

— Нет! Только с чемоданом колготок! — твердо ответил я.

Любка была в преступном, на мой взгляд, мини: могла бы одеться и поскромней.

Андре, осунувшийся от слишком бурных переживаний последних дней, пока снимал только бабочек, порхающих среди гостей.

С дальнего мыса вспорхнул скромный вертолет министра в сопровождении двух «барракуд». Кортёж приближался... и вот — с пушечным грохотом вылетели из окон ржавые щиты!.. Узнаю эти крепкие руки! Слепые грянули «Встало солнышко» в переводе с «Битлз».

Вертолет опустился прямо на нашу крышу. «Барракуды» кругами снова в небесах. Сутулясь под замедляющимися лопастями, к трапу кинулся Крот. По ступеням молодцевато сбежал, с черными бровями и в белом костюме, министр ресурсов Шпандырин, и они с Кротом обнялись.

— Ну, этого вы знаете — наша общая совесть! — Крот подвел его к нам.

Шпандырин взмахнул руками:

— Ну как же! И моя тоже! — и обнял Луня.

— С Фалько вы, я думаю, сталкивались?

— Сталкивались! И еще будем сталкиваться! — боевито сказал министр.

Похоже, наш моральный климат нравился ему.

— Упаду для верности? — взволнованно шептал мне Петр.

— ...Погодь.

— Эх, погошу я у вас, пожалуй, недельку! — сладострастно почесываюсь под костюмом, сказал министр.

— И этот сюда! Что там у них — медом намазано? — Я с изумлением глядел на домик-пряник.

Тут у Вани заверещал телефончик, он поднес его к уху, и было слышно не только ему: «Проверить, все ли слепые слепые!» Он кинулся к бандуристам.

— А это наш замгенерального по экологии, контр-адмирал Дыбец!

— Очищаем бухту! — отрапортовал тот.

— А это замгенерального по связям с общественностью, писатель Попов.

— Тот самый? Что написал «Ой, не кори меня, мати»? — Министр буквально расцвел. Пришлось сознаться: за деньги, обещанные Кротом, и не в том сознаешься... Вот я и зам!

— По голосу совести нашего уважаемого, — забубнил я, указывая на Луня, — решили отдать Пень-хауз оркестру слепых...

Моей бы совести точно не хватило на это! Ход Лунем.

Министр благосклонно кивал... Недолго длилось это блаженство — секунд приблизительно двадцать, но какой-то «терем справедливости» я тут воздвиг.

У Любки заверещал телефончик, и она, поднеся его к уху, с отвращением, как лягушку, передала мне.

— Что там? — испуганно произнес я.

— Не знаю. Видимо, землетрясение, — проговорила она.

...Я медленно поднес трубку к уху. Голос жены:

— Приезжай в темпе — отец в больнице!

Вот я и не зам. Связь неожиданно оборвалась, и в трубке захрипел Зорин: «Проверить — все ли слепые слепые?» Я вернул аппарат.

Прощай, море! Прощай, Ярило! Прощайте, бабочки! Вечно меня кидает почему-то сверху вниз!

...Ярило, впрочем, я видел еще раз, когда самолет пробил облачность и ухо сидящего далеко впереди, в бизнес-классе, японца вдруг налилось солнцем и стало алым, как тюльпан.

И вот — снижение. И спинки пустых кресел (кто же улетает с югов в такую благодать?) с легким стуком попадали вперед друг на друга, как костяшки домино.

## ГЛАВА 14

— В реанимацию входить запрещается. Но вы можете поговорить с ним — у него мобильный телефон.

— Откуда?

— ...Принесли.

Спасибо, ребята!

Я набрал нарисованный на бумажке номер. Гулкий, очень далекий (не через Пень-хауз ли связываемся?), но вполне внятный и яростный голос отца:

— Одну руку отвязали, слава богу! Ты скажи — почему они меня тут привязанным держат? И голым, абсолютно?!

— Почему он привязан? — обратился я к медсестре.

— Чтобы не вырывал капельницу.

— А почему голый?

— Так положено в реанимации. Чтобы любая точка на теле была мгновенно доступна.

— ...Слышишь? — спрашиваю я у отца.

— ...Слышу, — недовольно хрипит он.



Потом он лежит уже в палате. Я сижу рядом. У другой стены — такая же трогательная пара: отец и сын. Их любовь — в отличие от нашей, сдержанной, — бурлит, не вызывая никаких сомнений в ее существовании:

— Отец! Ну почему ты так пьешь?

— А ты почему так пьешь, сын?

Обуреваемые этой нежной заботой, они приканчивают бутылку. И это — после инфаркта! Палата лишь на две койки, и не общаться тут нельзя. Тот отец наливает остатки и протягивает моему отцу:

— На, выпей!.. Ты что — не русский человек?

— Я русский человек. — Отец усмехается. — Но предпочитаю следовать указаниям врача.

Вдруг у него под подушкой что-то крикает. Отец изумляется, подняв брови, потом, вспомнив, достает мобильник. Недоуменно слушает, потом тыкает телефончиком в мою сторону:

— Тебя.

— Слушаю, — солидно говорю я.

Некоторое время там тишина — потом голос Любки:

— Поскольку замгенерального по связям с общественностью теперь я, а общественность теперь — это ты, то я связываюсь с тобой и сообщаю, что тендер мы выиграли.

— Ура, — произношу я.

— Но чуть было не проиграли.

— Почему?

— Сразу после твоего ухода Андре с крыши кинулся.

— ...Погиб?!

— Нет, слава богу! Зорин спас.

— Зорин?.. За ним кинулся? С парашютом?

— Нет. Это уж ты преувеличиваешь! Просто заранее Андре за ногу привязал.

— Внимательны вы к нему.

— Так он же сын Есенина и Зорге!

И вот отец уже, упрямо шаркая тапками, идет по длинным больничным коридорам, пристально — и как бы недоуменно — разглядывая то одно, то другое. Подходит к залитому солнцем окну, сморщившись, разглядывает цветы в горшках. И, продолжая свою почти столетнюю сельхоздеятельность, цепко хватая какой-то лист и с яростью разглядывает его, вывернув, как ухо провинившегося.

— Не может быть такого растения! — отпихивает лист.

И он, видимо, прав! Потом вдруг, повернувшись, смотрит на меня:

— Ну а как ты — сделал там, что намечал?

— Ничего я не сделал!

— ...Турок ты, а не казак, — ласково говорит папа.

Мы привозим его из больницы домой, кормим, и он укладывается отдохнуть. Я заглядываю в светящуюся щель: читает, почти вплотную поднеся книжку к глазам. Молодец.

Потом мы на кухне ругаемся с женой.

— У тебя после этого юга морда... как красный таз!

— А у тебя... как губка!

— Значит, мы созданы друг для друга?

На радостях мы дарим одному таракану жизнь.

## СЕКОНД-ЭНД

Думал, когда вернулся сюда: на берегу Невы всю душу распахну! Однако дело не бойко идет. Етишин погиб: отсек-таки клерк-злодей ему голову листом писчей бумаги — и на этом все кончилось. Из вещей написал

только «Песнь кладовщика», но кладовщик почему-то за ней не явился. Хотелось бы написать что-то более накипевшее, да слова не идут.

Однажды забрел на заседание «Ландыша», но Сысой, сильно за это время заскучавший, накинулся с воплем:

— И ты смеешь к нам приходиться?! После всей той коррупции?

Да, я коррумпировался. Но как-то мало.

И я вышел. Лунем ему не стать никогда. Специально прошел мимо дома Луня на Крюковом канале. Думаю, встретиться мы сейчас с ним, нашли бы друг для друга немного доброты. Все-таки душа у него есть, хотя и хитрая. И вспоминается он почему-то тепло: может быть, по сравнению с нынешними?..

Что еще? Был тут в доме культуры моряков на встрече общественности с Фалько. Говорил-то он горячо и потом, пожимая со сцены руки, пожал и мою, но явно не узнал при этом. Кто я ему? Пересекались однажды... Таких у него полно. Да и невозможно, наверно, различить отдельные лица в толпе? Конечно, хотелось бы это проверить — но где ж я возьму толпу? Только старина Зорин меня узнал, помахал. Есть и удачи. В ГНИИ чумы, где я вел литературный кружок, с нового года возобновилось финансирование. Так что я теперь снова на коне. К сожалению, на зачумленном.

Написал басню «Мышь и батон», где батон все-таки побеждает.

Крот здороваётся со мной на лестнице бегло: забыл, видимо, своего замгенерального!

Однажды только погугарили с ним. Я вышел из дома очень рано: чумовики почему-то любят литературой заниматься до начала рабочего дня. И у парадной стоял Крот, ждал машину. Было еще темно, но на тонком снегу кто-то уже отпечатал черные следы через двор наискосок.

— Знаете, — Крот сладко потянулся, — а я часто вспоминаю те дни. Очаровательное захолустье! Ветеринары, коровы...

Это же мой проект! Я еще могу! — я обрадовался. Тут подъехал «БМВ», оставляя два темных следа.

— Но предпочитаю работать более скучно, — сухо закончил он и уехал...

Любка вышла замуж за Андре, и теперь у Есенина и Зорге есть внук. В кого-то удастся?

Однажды вдруг позвонил мне Фрол и замогильным голосом спросил: не могу ли я написать ему речь на открытие берлинской выставки русских икон и пиломатериалов? Свести их, так сказать, вместе с присущей мне... Я отказался. О чем жалею. Может, все-таки можно было свести, за большие деньги?

По телевизору я гляжу, как он гуляет по странам и континентам, но не завидую ему: на него порой смотреть страшно.

Приехал вдруг Петр со своим сыном-красавцем Славкой, показывать нам его (явно гордится), а ему — Петербург. Петербург ему вроде нравится, а мы нет.

— Господи! Ну и родственнички! — читается в его взгляде. Точно так в юности я глядел на родственников там.

Петр, видя, что от сынка не дождешься ни слов, ни эмоций, взволнованно рассказывал все сам.

Упорный Мыцин восстановил-таки опорно-двигательный, но размещается он не в небоскребе, а в «жалких таких» домиках, построенных для санатория еще до тети Зины. Так что история порой движется и вспять.

В небоскребе, как и мечтал когда-то Петр, теперь развлекательный центр, но на фейс-контроле стоит Ванька с дружкой и местных пускает «под настроение».

— Но я там свой, понял? — подмигивает Петр.

Хотя, конечно, не все так, как мечталось: бандуристов перекупило рекламное агентство, а в Пень-хаузе теперь океанарий: поднимаешься в то помещение — и видишь там за стеклом скатов и мурен и ничего больше. А сколько было надежд!

— Зато коровы, — мысль Петра делает внезапный, но точный зиг-заг, — поздоровей нынче, добываем корм. Рожают телят и, как положено, облизывают. А это значит — будет жить. Со слезами гляжу!

Судя по красным его глазам, это бывает нередко.

— Но главное ж, — восклицает он, — терминал построен, подходят танкера! А этот, — влюбленный взгляд на сына, — там оператором-сливщиком у них. По триста номеров цистерн, бывает, сливает за раз!

Славка его кривится:

— Ну что ты, батя, несешь?

— Ревнует в отношении производства, — гордо поясняет Петр и, не сдержав радости за карьеру сына, восклицает: — Ну а что ж, коли хорошо? Чистота ж абсолютная! Даже дождевая вода с терминала в море не попадает, сразу на очистку идет! Представь: лебеди плавают! Но не белые, а наши, южные. Черные.

...Кстати, первым лебедем там когда-то был я. Но племяша это вряд ли заинтересует. Зато кое-чем радуется Петр.

— Тут как-то померла королева Бурунди, небольшая пьянка была. Так тебя вспоминали с теплом.

— Кто ж вспоминал меня с теплом? — не верю я.

— Ну, этот бровастый... Зыкин наш. Говорит: «Тут твой брат приехал — большой чудак. По-прежнему умывается из портфеля?» — «Это почему же?» — говорю... В общем, вспоминали с теплом. Ну, я до туалету! — исчерпав все самое главное, с облегчением произносит Петр.

Он удаляется, а я иду с кухни в комнату и погружаюсь в мой роман «Мгла», вечный символ свободы и неопределенности.

Но недолго длится эта идиллия: дребезжит звонок, и я по ритму его узнаю — Лидия Дмитриевна, соседка с третьего этажа! Я открываю. В ней нет уже прежнего кокетства, а лишь отчаяние:

— Этот ваш визави совсем распоясался — по телевизору одни помехи опять! Хотя бы вы...

Спасибо за комплимент!

— ...сказали ему!

И я иду.



---

---

ИЛЬЯ ПЛОХИХ

\*

## ГЛАЗА НЕ ВРУТ

\* \*  
\*

На меня все время смотрят стены  
трещинок прищуром, паутины.  
Я на них в предчувствие измены  
вешаю афиши и картины.

На меня все время смотрят двери.  
Нет и в этом взоре соколином  
ничего, чтоб стоило доверья.  
Я глазок замажу пластилином.

На меня все время смотрят окна.  
В хмуром взгляде тучи, трубы, дýмы.  
Если их зашторивать неплотно,  
то они подсматривают в дыры.

### Рисуя кошку

Конечно, довольно обидно для кошки,  
что вышли у кошки невзрачные рожки,  
но все-таки кошка не будет забыта:  
мы ей нарисуем большие копыта.

Мне эти кошачьи копыта весомо  
напоминают чугунные гири,  
а жители снизу уходят из дома  
в тот час, когда бродит она по квартире.

\* \*  
\*

Говорят, глаза не врут,  
говорят, что среди мути  
в них не скроет тайной сути  
даже самый ловкий плут.  
(Говорят, глаза не врут.)

Говорят, глаза не врут,  
выражая нас реально:

если есть на сердце тайна,  
в них узнать ее — не труд.  
(Говорят, глаза не врут.)

Говорят, глаза не врут:  
это две большие чаши,  
по которым чувства наши,  
словно лодочки, плывут.

### Большая медведица

Нетопыри спешат повеситься —  
остатком дней не дорожат,  
когда в Сибирь зовет медведица  
своих сбежавших медвежат.

Печален звук, который создали  
ее несчастные бока.  
На животе большими звездами  
мерцают капли молока.

И снова старый слух муссируют  
в лесах бессонные медведи,  
что матерей своих не милуют  
беспечно нынешние дети.

\* \*  
\*

Под ногами ледяная корка.  
Поздний вечер. Вьюга. Стужа. Вторник.  
Девушка стучится в двери морга,  
рыжий санитар — ее любовник.

Рыжий санитар в халате белом  
занят у стола привычным делом,  
как хирург, корпит над бранным телом.  
(В это время девушка стучит.)

Сквозь больные завыванья вьюги  
санитар услышит эти звуки,  
санитар помоем быстро руки  
и на зов любимой поспешит,

а потом разбавит спирт водою,  
а потом из шкафа вынет снедь,  
огненной, как лев, тряся главою,  
очень задушевно будет петь.

Девушка пожмет в порыве руку  
санитару, за талант воздав,  
станет тот ласкать свою подругу  
на кушетке с надписью «Минздрав».

Под ногами ледяная корка.  
Поздний вечер. Вьюга. Стужа. Вторник.  
Девушка стучится в двери морга,  
рыжий санитар — ее любовник.

Я иду своей дорогой мимо,  
и тревожит мысль одна уколом,  
что и мне когда-то молчаливым  
быть придется встречи их декором.

## Издалека

*Лене.*

Помнишь, как-то на реке  
в пара облаке-дымке,  
опустившись на колени  
и бока худые, в пене,  
надувая до овала,  
лошадь воду целовала...

Так же истово, до дрожи  
я тебя целую тоже  
из заснеженной глуши.  
До свидания. Пиши.

\* \*  
\*

Многим не хватает понимания:  
кости, попадающие в баки,  
могут пригодиться для питания  
уличной какой-нибудь собаки.

Если вы не в мусор кость выносите,  
а тому, кто в ней всегда нуждается,  
то и вам однажды все, что просите,  
прямо в руки, прямо с неба свалится.



---

---

АНДРЕЙ ВОЛОС

\*

## МУМООН

Рассказ

Л. В. Медицину.

1

**И**ногда ей казалось, что лицо — чужое. Нет, ну правда, почему — ее? Она могла бы родиться дурнушкой. Или брюнеткой. Впрочем, это почти одно и то же.

Ева шелкнула зажигалкой. Затянулась. Отражение в зеркале дрогнуло и поплыло вместе с дымом. Нет, все в полном порядке. Еще раз затянувшись, нетерпеливо загасила. Взяла с зеркальной полочки флакон и несколько раз окутала себя удушливо-пряными облачками парфюма.

Встала на пороге комнаты.

— Ты опоздал, — бесцветно сказала она горшку с геранью. — Я полчаса ждала.

— Я не виноват! — забасил Мурик. — В окно-то смотрела? Нет, ну ты взгляни! На эстакаде — вообще! Чума!

— Зачем мне в окно? Этого еще не хватало.

Под отсутствующим взглядом светло-карих глаз он морщился, будто ему жали туфли.

— Ну, кукленочек, прости.

— Гад, — сказала она, улыбаясь той самой ледяной и пронзительной улыбкой, которую переняла с лаковых обложек «Фараона». — Какой же ты гад!

Он просиял, сделал шаг и тут же облапил, заглядывая в ее золотые глаза.

— Ты готова?

— Не знаю... Я решила, ты не приедешь.

— Я?! Ты что! Ладно тебе, кукленочек... Поедем в «Бочку»!

— Опять в «Бочку»? — Ева капризно отстранилась. — Надоело.

— Не хочешь в «Бочку» — можем в «Пескаря», — ворчал он.

Она уворачивалась.

— А можем в «Аркаду»... А еще — это, как его... забыл, как называется... Типа это... Короче, Сявый говорил... как его... там дороговато.

Она фыркнула и смерила его взглядом.

— Ты как будто не зарабатываешь!

— Нет, почему... как его... давай... ну?

— Закакал! Отпустил, быстро!..

— Ну, кукленочек!

— Отпустил, сказала!

Мстительно топнула шпилькой по мыску тупоносого лакового ботинка, налегла всем весом, мурлыкнула:

— Будешь еще? Нет, ну скажи — будешь?

Он выругался и, схватив в охапку, резким движением переставил ее на полшага в сторону.

— Ты что?! Ноги-то не казенные!..

Ева едва не упала.

— Дурак! Куда скажу, туда и пойдешь! Понял?!

Отвернулась, готовая заплакать. Дурак! Мясо! Бычина!.. Несколько секунд слушала его недовольное сопение. Приласкает? Не приласкает? Баран!.. Самого бы тебя на шашлык!.. Ну что с ним делать?

— Ладно, что ж, — вздохнула она. — Я тебя прощаю...

Мурик все еще сопел.

— Ну ладно тебе, ладно... Хочешь?.. уж так и быть... к тебе заедем? Хочешь? На.

И подставила губы.

А потом весело крикнула от дверей:

— Мамулечка! Мамуленочка! Закрывайся! Мы уплыли!

## 2

Как обычно, она настояла на своем и теперь пыталась немного поусласить пилюлю: держа его под руку, говорила на ходу низким подрагивающим голосом:

— Ты меня снова замучил, маньяк. Тебе гарем нужен. Я сейчас с голду умру.

Над домами уже колыхались серо-синие сумерки, душные, как бильярдная. Ева и в самом деле еще чувствовала сладкую слабость, заставлявшую безвольно клониться к нему.

— Людоед. Туземец. Пятница. Папуас чертов. Только дырок в ушах не хватает. Нет, нет. Ты хуже дикаря. Павиан. Орангутанг. Зверюга... Сколько раз я тебе говорила — сними эту дурацкую цепь.

— Вот опять за рыбу деньги... — пробасил он. — Далось тебе. Все наши носят — и ничего. Голда — она и есть голда. Подумаешь. Протвиновские пацаны все носят. Ты ж с протвиновским ходишь? — все, не выступай за голду.

— Не выступай за голду. Ужас. Давай, давай. Носи свою голду. Еще денег наработаешь — другую тебе купим. Как у попа. С крестом. Дикарь, дикарь. Дикарина невоспитанный.

Прильнула к тяжелому размашистому телу и что-то промурлыкала.

— Что?

— Наклонись, говорю! — И прошептала в самое ухо: — Павианище ты мой любимый!

— Ну ладно, ладно... Люди кругом.

— А что мне люди?

И с вызовом оглядела низкорослого метрдотеля, в ту самую секунду мелко выбежавшего навстречу из полумрака ресторанного зала.

— Добрый вечер! — воскликнул метрдотель. — Пожалуйста!

Из-за того, что он говорил с сильным акцентом, получилось: «Дьёобры фетче! Пизалусья!»

Ева хихикнула.

— Да чего ты... — прогудел Мурик. — Иностранец, понятное дело.

— Ой, прикольно. Тут что же, всего один столик?

— Как видишь, — ответил он, озираясь. — Один, да.

— Хай класс, — сказала она и добавила с удовлетворением: — Уж это точно влетит в копеечку...

Мурик неопределенно хмыкнул.

Во влажной темноте зала могло показаться, что дальней стены попросту нет, а пространство обрывается в текучее шевеление негромко шумя-



шей реки, — там густились мокрые заросли, журчала вода, что-то незримо плескалось и хлюпало у корней.

— Бр-р-р-р! — Ева передернула плечами. — Ну, узкоплечные наворотили джунглей... Змей-то нет?

— Как же, как же! — всполошился метр. — Как же нет! Пожалуйста! Вареная змея хунцу, жареная змея хунцыг. Хунцани-хунган — змея, глотающая теленка. Пожалуйста! Все в меню! Прошу вас.

Между тем на маленькой эстраде появились музыканты. Один держал в руках плоскую коробку с тремя короткими грифами, на которых поблескивали струны, другой прижимал к губам нечто духовое: несколько разносортных гнутых трубок, расходящихся от одного мундштука. Третий был обвешан мелкими барабанами, в совокупности похожими на виноградную гроздь.

— Хуйцу-хуйган... — пробормотал Мурик, раскрыв меню и время от времени недоверчиво озирая щупленького официанта, как будто прикидывая, какой подлянки ждать. — Черт-те чем кормят, сволочи. Нужно было в «Бочку» ехать... Водка есть?

Официант закивал, залопотал, радостно улыбаясь. У этого с русским и вовсе дело было швах.

— М-да... — Мурик зачем-то вынул из керамической вазочки хризантему, понюхал и брезгливо вернул на место.

— Ой, а мне нравится! — сказала Ева. — Смотри! Red sun — триста, blue sun — триста пятьдесят!

— Это что? — спросил Мурик, тяжело всматриваясь в непонятные слова.

— Я же говорю — ты папуас. Нельзя быть таким папуасом! Red sun — красное солнце, blue sun — синее.

— Тихо, тихо... А цены-то у них в зеленых?

— Спрашиваешь!!! — ликующе воскликнула Ева. — Это тебе не «Бочка»! Сюда с полтинником не суйся!

— А это что, солнца-то эти? — недоумевал Мурик. — Блины, что ли?..

Ева фыркнула.

— Блины! Деревенщина! Наверняка не блины, а что-то экзотическое. Помнишь, в тайском ресторане? Луч с вершины горы — помнишь? Такая огромная тарелка с этим, как его... Ой, а вот еще last sea look! Поэзия!

— А это что? Пы...кор... — водил Мурик пальцем. — Двести сорок. Ни фиги себе! Что за пыкор? Это не по-английски, — уверенно сказал он (Ева пожала плечами, нехотя соглашаясь). — Хоть бы картинки нарисовали. Лу...ко...кук. Какой-то лукокук. Двести двадцать. С луком, что ли?.. Му...мо-он, — выговорил Мурик. — Ё-мое! Полторы косых этот мумоон. Да они озверели! Это из чего — мумоон-то этот?

— Где? Да не мумоон никакой. Му тоон! Опечатка. Должно быть отдельно — my тоон. Моя луна, короче. Ой, как мне нравится! You are my то-о-о-он!.. — напела она и восхищенно подтвердила: — Полторы косых! С ума сойти! Ой, Мурочка, можно, я буду эту луну? Ну, пожалуйста!

Мурик крикнул.

— Да ради бога, кукленочек, — сдержанно сказал он. — Луну так луну. А мне чего?

— Ты тоже можешь луну, — великодушно предложила Ева. — Хочешь?

— Луну? — Он пожал плечами. — Нет, ну а что это?

— Не знаю. Какая разница! Не бойся, за полторы косых плохого не дадут. Их бы уже всех постреляли, если б за такие бабки вермишель лопать. А, кисик?

— Это точно, — хмуро согласился Мурик. — Гм... Да ну ее. Мне бы мясца какого... рыбки там... Водочки.

— Ну и пожалуйста! А я — луну! You are my moon! my gold fantastic то-о-о-о-он! — дразнясь, пропела она, а затем обратилась к официанту: — Скажите, вот у вас тут в меню. Му тоон, что ли. Что это?

— Маймун, маймун. Обед из яня, — пояснил официант, восторженно улыбаясь и кивая. — Маненьки обед из яня.

— Из какого еще яня? — хмуро спросил Мурик. — Что за обед?

— Маймун, маймун, — терпеливо толковал официант. Он показал руками что-то в размер средней шуки. — Обед из яня, понимать? Маймун. Эге? — Что это?

— Такая маненька плохая селовека. — Улыбка становилась все шире. — На деревня. Понимать?

— Маленький человек из деревни, — с натугой перевел Мурик. — Колхозник, что ли? Нет, я не буду.

— Нета, нета, не селовека, а такой прыг-прыг по деревня. — Официант просто выходил из себя. — Прыг, прыг. Обед из яня! — Он задрал руку и вдруг безобразно почесался, ухая и качаясь. — Понимать?

— Обезьяна! — ахнула Ева, прикладывая ладони к щекам.

— Да, да! — обрадовался тот. — Понимать! Обед из яня!

— Вареная, что ли? — скривился Мурик и сказал твердо: — Нет, все равно не буду. Я лучше рыбки какой...

— Полторы тысячи, — задумчиво проговорила Ева. — За такие-то деньги... Это тебе не антрекот.

— Это отлсно! Отлсно! — толковал официант. Глаза его блестели. — Это кусали наши сали! Понимать? Это для осень! для осень вазных людей! Целебно!

Он замолчал, с восторженной надеждой переводя взгляд с одного на другого и так переминаясь, словно готовился к бегу.

— А она в чем? — поинтересовалась Ева. — Ну, какая?

— Такой том! — заволновался официант, и даже улыбка его поблекла. — Такой калетка! Сивежа маска! Понимать? Отлсно! Цари! Тысяся лет! Целебно! — И он молитвенно воздел руки к потолку.

— Ни черта не поймешь, — заключил Мурик. — Да ну ее. Обезьяна? Нет уж. Значит, так. Это что? Вот это. Мясо? Жареное? Во, давай это. Понял? Потом. Так. Водки давай. Понял? Это что за плошка? Ты эту плошку унеси, а дай рюмку. Большую рюмку. Понял? Так. Зелень. Понял? Маринованное что-нибудь есть? Не понимаешь? Ну, блин, с ними тут наговоришься... Соленое есть? Знаешь соленое? Во народ. Слышь, Ев, они тут огурца никогда не видели. Попали. Не понял? Ну этот, как его... камамбер! Есть?

— Кукумбер, — машинально поправила она.

— Во-во. Кукумбер. Все, давай, мужик, неси. А то мы так до ночи не выпьем. После еще поговорим.

Ева колебалась, пролистывая меню.

— Ну не знаю... А что тогда? — нерешительно проговорила она и вдруг встряхнула челкой: — Нет уж, давайте обезьяну!

### 3

Сигарета была заправлена в длинный тростниковый мундштук, доставленный официантом вместе с пепельницей. Струйка дыма тянулась вверх, пугливо отшатываясь, когда ее достигало дыхание.

— И откуда берутся такие гадкие девочки? — говорила Ева. Когда она улыбалась, глаза немного флюоресцировали. — Зачем ты со мной связался? От меня теперь не отвяжешься. Ведь не отвяжешься?

— Да ладно тебе, — возразил он. — Я и не хочу.

— А если бы даже и хотел! — Она рассмеялась и протянула ладонь к его щеке. — Нет, поздно. Ведь поздно, милый?

— Поздно, — кивнул Мурик. — Это точно.

Ева взяла мундштук, неглубоко затянулась.

— Хорошо, да? И вино такое странное... Знаешь, так редко бывает по-настоящему хорошо. Как во сне. Иногда видишь такие сладкие сны... такие долгие... особенно в детстве... куда-то плывешь, плывешь... так хорошо, так сладко... и вдруг просыпаешься — бац! зима... в школу... физика... — Она вздохнула и мягко сказала, беря его за руку: — Знаешь, давай выпьем за нас. Я тебя люблю. И пускай не говорят, что жизнь — это для других. Неправда. Жизнь — это для нас. И не когда-то, а немедленно. Да? Вот прямо сию секундочку.

— Ну.

— Потому что если ждать, когда жизнь начнется по-настоящему, так она вся пройдет — и не заметишь.

Ева подняла полупрозрачную чашечку, в которой было подано маслянистое душистое вино.

— И вообще — почему в жизни должно быть что-нибудь плохое? Обязательно просыпаться? Обязательно — зима и в школу?.. Совсем не обязательно. Мне это так надоело, — сказала она, передернув плечами. — Так все обставлено по-дурачки. Надоело. Знаешь, надо просто не делать ничего такого, чтобы... ну, ничего плохого, что ли, не делать. Чтобы не опускаться, что ли. Ну понимаешь, надо, чтобы каждый шаг вел вверх. Понимаешь? Как альпинисты. Нужно смотреть, куда ставишь ногу. И тогда все будет хорошо. Никакой зимы, никакой школы, никакой физики!.. понимаешь? Просто тянуться вверх. Как подсолнух — тянуться, тянуться... и плевать, что ветер там какой-нибудь... или снег даже... плевать! И все придет само. Ведь правда?

Мурик опрокинул рюмку, помедлил, выдохнул, погнался желваки по скулам, подцепил что-то с тарелочки, стал было брезгливо присматриваться, но потом нахмурился и сунул в рот. По мере жевания лицо его разглаживалось.

— Конечно, — сказал он. — Что там менжеваться. Нет, ну ты класс. Правильно. У нас все пацаны так конкретно думают. Чего ждать? Это же чисто без толку. Да — да, нет — нет. Верно? А про деньги ты не беспокойся. И про хату тоже. Да чего ты? — все путем. Давай выпьем, что ли. Меня Сявый обещал откидным поставить. А если...

— Откидным?

— Ну да, откидным... ну, когда типа подлом или чего не в масть... или еще фурывые, бывает, не канают. Ну, как тебе объяснить? М-м-м... Короче, откидной. Поняла?

— Ах, не важно, — с досадой сказала она. — Ладно, давай... Но я о другом. Я хочу сказать, что нужно кверху, кверху тянуться! Понимаешь? Ну, вот смотри. Вот мы тут живем в Москве, да? Ходим в «Бочку». А где-нибудь в Лондоне тоже живет человек, да? Он в «Бочку» не ходит. Он надевает смокинг и идет совершенно в другое место. И ест лягушек.

— По мне, так лучше в «Бочку», — буркнул Мурик, недовольно оглядываясь. — Нет, ну а что плохого? Мясца, водочки...

— Да подожди же, дай сказать! Ты понимаешь, что это — выше? Понимаешь? Он — выше. Это факт. Я не знаю почему. Но выше. А чем он лучше нас? Чем он круче? У тебя вот тоже есть деньги, да? Но ты не такой. Нет, ну ты не обижайся только, ладно?

Мурик засопел.

— А почему? — продолжала она. — А может быть, потому, что в смокинге ходит? Или ездит в «ягуаре»? А? Но если тебя одеть в смокинг и посадить в «ягуар», ты же все равно не пойдешь есть лягушку. Ты попрешься непременно в «Бочку», чтобы трескать там шашлык! А почему? Ну почему, скажи мне! Ведь деньги-то у него тоже не от дяди, верно? Это все сказочки — наследства там всякие, то-се... Нет! У него то же самое — как это ты говорил? — откидной подлом или что там? Он за них тоже небось ночей не спит, головой за какие-нибудь там свои фурывые масти от-

вечает! — Она говорила все горячее. — И почему же тогда он живет так — и смокинг, и лягушка, — а мы совсем иначе — «Бочка» какая-то долбаная, джип этот твой несчастный! А? Почему, спрашиваю тебя! Почему в жизни обязательно должно быть что-то плохое?!

— Да ты чего? — спросил Мурик. — Подожди! Ты чего, кукленочек? Ну, хочешь, давай тебе...

— Ах, да не надо ничего, не надо! — Ева встряхнула головой, отвернулась и несколько секунд молчала, глядя в темноту зала и порывисто дыша. Вздыхнув, смахнула непрошеную слезинку косточкой указательного пальца. — Ничего... извини. Просто обидно, что мы... что как-то... что вроде все есть... и не знаю, что делать, чтобы... Вот. Вот что обидно. Не знаю, что делать. А?

— Да ладно, ну что ты, — жалобно прогудел Мурик, беря тонкую влажную ладонь в свои лапищи.

— Хорошо, хорошо, — шепнула она, улыбаясь. — Не обращай внимания... Ладно, иди. Ты же руки хотел мыть. Что я тебе голову морочу...

Оставшись в одиночестве, Ева отпила еще глоток вина.

Почему-то подмывало оглянуться.

Пахучая влажная темнота обступала столик под лампой-луной.

Разумеется, зал не мог быть слишком большим — но все-таки казался бесконечным. Невдалеке жирно поплескивала вода возле корней замеревших у берега растений. Ровный хор насекомых время от времени разрывался резким жужжанием. Листва шевелилась почти беззвучно, но, когда долетало слабое дыхание ветра, слышался отчетливый многоголосый шепот. Где-то далеко мерцали зыбкие огоньки. Может быть, лодка безмолвно плыла по зеркальному стеклу и тусклый масляный светильник покачивался на корме? Или просто низкие желтые звезды? А может быть, кто-то коротал ночь на берегу у затухающего костра?.. Это было совершенно невероятно, но на секунду отчетливо представилось: кто-то и впрямь следит за ней оттуда, с дальнего берега. Он подносит ко лбу смуглую ладонь и щурится, и помаргивает. И вот наконец разглядев — там вдалеке одинокая женщина сидит за столиком под круглой лампой, — растягивает узкие губы в неясной усмешке...

Ева передернула плечами: показалось, совсем рядом что-то лоснящееся прошуршало в мокрых зарослях.

— Наконец-то, — с облегчением сказала она и нежно протянула: — Фу, какой! Я тут сижусь-сижусь...

Мурик снова повесил пиджак на спинку стула, а затем и сам основательно уселся.

Ба-ба-ба-бам! — ударили литавры, и они одновременно повернули головы в сторону разъехавшихся парчовых занавесок.

#### 4

Первым выступал человек с инструментом, чей вибрирующий звон так походил на литавры. В левой руке человек держал цепь, приклепанную к начищенному листу красной меди. В правой — длинный железный штырь, которым наяривал по звонкому металлу то плашмя, то острием. Резкие бряцания неожиданно складывались в переливчатую мелодию, к недостаткам которой взыскательный ценитель отнес бы разве что присущий ей дребезг. Человек был одет в сверкающий златотканый халат с такими широкими и длинными рукавами, что целиком закрывали ладони. Голову украшала низкая малиновая шапка, по тулье обшитая сине-красной тесьмой.

За ним приплясывали музыканты. Теперь они наигрывали что-то веселое и даже бравурное: первый резко и часто брэнчал по струнам своего трехгрифного инструмента, второй до красноты надувал щеки, выжимая из

кривых разносортных трубок визгливое дудение, ладони третьего двумя смуглыми бабочками порхали над рокочущими барабанами.

Следующим торжественно шагал официант, несший большую и, судя по всему, тяжелую металлическую клетку, а уже за официантом — метр-дотель, имевший в руках длинное золоченое древко с какими-то хвостами на верхушке. Он то бил им в пол, то возносил к потолку — и в целом походил на тамбурмажора перед полковым оркестром.

Прижав кулак ко рту, Ева молча смотрела на обезьяну. Обезьяна жмурилась и испуганно крутила головой. Она то и дело хваталась морщинистыми лапами за прутья решетки и, словно обжегшись, отпускала, чтобы тут же схватиться за другие. С одной стороны клетки было предусмотрено круглое отверстие размером чуть меньше ее головы. Время от времени обезьяна приникала к нему, выглядывая как в иллюминатор. Она злобно скалила клыки и фыркала, а иногда далеко высовывала руку и растопыривала скрюченные пальцы, стараясь схватиться за что-нибудь снаружи.

Совершив неторопливый круг, участники процессии остановились. Тот, что колотил штырем по меди, сделал два или три мелких шага. Оказавшись в центре группы, он резко выгнулся в пояснице, зажмурился от натуги и издал протяжное и хриплое горловое рычание. Затем вновь принялся ударять в медь, на что музыканты ответили несколькими дружными аккордами. Тот опять прогнулся и яростно прорычал теперь уже целую фразу.

— Да что с ним? — испуганно спросила Ева.

Исполнитель снова несколько раз ударил, а музыканты снова согласно ответили. Рычание сделалось безостановочным, и стало понятно, что это вовсе не припадок, а пусть и своеобразное, но все же довольно красивое пение. При этом певец не уставал громыхать, прерываясь только для того, чтобы гневно указать острым концом штыря в сторону клетки.

Так продолжалось минуты три.

— Дорогие гости, — торжественно сказал метр-дотель, как только они смолкли. Певец тяжело дышал и мелко кланялся. — Вы видели церемония. Церемония цыхуциг три тысячи лет. Певец пел боевую песню. Он пел, что царь должен есть мозг, а не печень, потому что сила не в печени, а в мозге. Церемония цыхуциг кончена. Вы можете приступить к еде. Пожалуйста.

Отступив, метр махнул рукой, и официант с некоторой натугой поставил клетку на стол. Затем раскрыл дверцу, сунул руки внутрь и сделал несколько неуловимо быстрых движений. Что-то щелкнуло. Обезьяна дико завизжала. Ее голова оказалась зажатой в специальное устройство: теменная часть черепа высовывалась из клетки, затыкая собой круглое отверстие.

Ева ахнула и сморщилась.

Обезьяна схватилась за прутья, силясь вынуть голову из западни. Она хрипло скулила и остервенело трясла прочную клетку.

Официант мягко отступил, и вдруг в руках у него оказался небольшой серебряный топор.

— Цыхуциг! — воскликнул метр-дотель, молитвенно складывая руки. — Это очень важный момент, дорогие гости. Вам понадобится некоторая торопливость: как только служитель срубит обезьяне макушку, нужно немедленно посыпать мозг пряностями и есть. Видите эти склянки? В них соль, перец, тертая трава ахуль и соус карциг. Ложечки лежат справа от ваших тарелок. Дайте знак, когда вы будете готовы.

Официант занес топор и замер.

Очевидно, уяснив, что лишь причиняет себе лишние страдания, обезьяна тоже замерла. Она часто облизывалась, а когда пыталась свирепо ощериться, густая перламутровая слюна пузырилась между зубов. Шерсть на загривке стояла дыбом.

— Вы чего, мужики? — спросил Мурик, приподнимаясь. — Вы чего?! Ну-ка дай сюда!

Официант отскочил.

— Подожди, — сказала Ева.

Побледнев, она смотрела на зверя. В углах диких желтых глаз выступила влага, а сами они подернулись белесой пленкой.

— Что с тобой, милый? — спросила она ласково. — Подожди. Сядь. Это такое блюдо. Церемония цыхуциг. Ты не понял?

Мурик помотал головой.

— Ладно, хватит прикалываться. Пошли, — сказал он, поднимаясь и беря пиджак. — Посчитайте. Только быстро.

— Не бусесе? — заискивающе спросил метрдотель.

Ева мельком взглянула на клетку. Поймав ее взгляд, обезьяна вытянула мокрые губы дудочкой и неприятно проскрежетала:

— Е-е-е-а-а!..

Официант откинул полу своего синего бархатного сюртука и разочарованно сунул топор обратно в петлю.

— Ну, Муричка! Ну подожди... Что ты?! Коров же тоже режут! Твоих любимых баранов в «Бочке» — их что, с деревьев снимают?!

Мурик нерешительно оглянулся.

— Тоже мне откидной! — презрительно сказала Ева, отворачиваясь. — Людей-то небось не жалко. А тут — вон чего... Разнервничался.

Метрдотель улыбался кивая.

Мурик издал глухой утробный звук, напоминающий что-то среднее между икотой и кашлем. Так крикают люди, когда их бьют бейсбольной битой по голове. Еве показалось, что сейчас он ей врежет, и она защибетала, стараясь загладить неловкость:

— Ну что ты рассердился, милый? Это такая церемония у них... такая страна. Такая еда у них. Нет, ну дичь же, конечно! Но я же ничего не могу сделать, кисик! В конце концов, ты сам меня сюда привел, да? Нет, ну если ты настаиваешь, то... конечно, пойдём... Но как-то странно. Почему так: как до дела доходит, так сразу на попятный, что ли? Ну, не сердись! Не сердись? Мур-мур! Ну, поцелуй!

Мурик раздосадованно выругался и сел.

— Да не люблю я этого, — заворчал он. — Нет, ну смотри. Какая-то грязная вся... хоть бы помыли, блин. Вот умора. Смотри, скалится-то, скалится... у-у-у, зверюга! — Он неожиданно расхохотался и проговорил, смеясь и притворно ужасаясь: — А в лесу такую встретишь — ой, бли-и-и-н! Сама сожрет! Смотри: клыки-то, клыки!.. Хуже собаки! У-у-у-у, тарачится!..

— Полторы косых, Мурик! — ликовала Ева. — Я же говорю — это тебе не в «Бочке»! Не в «Пескаре»! Ты понимаешь? Это потолок, потолок! Круче не бывает! Ты понял?

— Ну как хочешь, — согласился он, отсмеявшись. — Ладно, себе-то я потом мясца какого... рыбки... — Он повелительно махнул рукой: — Ты!.. Как там тебя?.. Что шуришься? Давай, ладно... чего уж... как говорится, уплотнено.

Официант с готовностью поклонился и, приятно ослабившись, ловко выдернул топорик из петли.

## 5

Музыканты вернулись на эстраду, и теперь оттуда текла негромкая музыка. Ее тягучий медленный поток не бурлил — только вздыхал, а то еще волновался, как будто огибая камень или корягу.

— Нет, — сказал Мурик, морщась и мотая головой. Он выдернул из серебряного стаканчика зубочистку и сунул в рот. — Нет, это не по мне. Кисель какой-то. Даже противно.

— Я же говорю — ты дикарь, — разнеженно констатировала Ева. Она полулежала, откинувшись на спинку удобного кресла. — Тебе и устрицы не нравятся.

— Устрицы! — возмущился он. — Что там может нравиться? Сопля в ракушке. Вот у нас, бывало, в Протвино...

— Ну, началось! Во-первых, не в Протвино, а в Протвине, я тебе тысячу раз говорила, грамотей несчастный... Мне нравится: у них в Протвине! Ну просто диву даюсь!.. Нет, ну откуда это? — Она повторила, дразня: — У них в Протвине! Тоже мне пуп земли! Протвино! Законодатель мод! И вкусов!

Мурик недовольно засопел — по-видимому, собираясь с мыслями для достойного ответа.

Неслышно появился низкорослый служитель.

— Хуа? — деловито переспросил метрдотель, когда тот шепнул ему что-то. — Хинцы?

Служитель утвердительно кивнул и пояснил:

— Кариц хуару ганциг. Кариц царуг.

— Кариц дуци-и-иг, — неодобрительно протянул метрдотель, а потом приказал: — Кариц прициг!..

Служитель кивнул и также бесшумно удалился — медленная тень, плывущая в зеленоватом струении благовоний.

Ева ласково взглянула на фарфоровый кувшинчик. Официант безмолвно наполнил чашечку.

— Всякую дрянь жрать — большого ума не надо, — заметил Мурик. — Это у них с голодухи. Если нормальной хавки нет, так и кузнечиков начнешь трескать. Вон Сявый с пацанами в «Пекине» червяков жрал. И мне заказал, урод... Чуть не стошнило... а разве откажешься?.. Не знаю... Нет, а на фиг надо? — оживился он. — Мать, бывало, напечет пирогов. Другое дело. С луком — раз! — загнул мизинец. — С картохой — два!.. Как наврнешь со сметанкой!.. — Разочарованно цыкнул и заключил: — Тоже мне — цыхуциг!

Ева рассмеялась.

— Повторил! Ты обучаем, Мурочка. Тебе бы глаза поуже, росту поменьше... и разносил бы тут обезьянок как миленький! Ага, Муренок?

Мурик хмыкнул. Неторопливо налил себе водки.

— А что, — вздохнул он, выпив. — Ко всему привыкаешь.

— Тебе бы хватит, — наставительно заметила Ева.

Убедившись, что она не собирается продолжить фразу, метрдотель поклонился и залопотал, странно кося глазами:

— Простите, госпожа... Прошу прощения, господин... Позвольте угостить вас, госпожа... Это харцин... это входит в церемонию. За счет заведения, госпожа... Пожалуйста, господин.

— Что это? — подозрительно спросил Мурик.

— Бери, бери, — приободрила она. — Не отравят.

Улыбаясь, Ева тоже взяла с подноса синюю пиалу.

Поверхность парящего напитка масляно колыхнулась, мгновенно искажив отражение двух золотых драконов. Голова закружилась от пряного аромата горячей жидкости. Первый глоток ей понравился: хотелось пить еще и еще — цедя по капле, ловя сладостные оттенки густых цветочных запахов... мир начал радостно покачиваться... хотелось еще, еще...

Метрдотель ловко вынул пиалу из ее готовых разжаться пальцев.

Ей нужно было возмутиться!.. Крикнуть: «Мурик!..»

Но пространство вокруг уже трепетало, превращаясь в переливающееся переплетение жемчужных воронок.

Справа что-то влажно цокнуло.

Она открыла глаза.

Свет был тусклым.

В полуметре от нее, по-стариковски сгорбившись и обхватив лапами колени, большая черная обезьяна сидела на низком стуле, горестно раскачиваясь, как на молитве. Золотая цепочка на шее моталась из стороны в сторону.

Ева зажмурилась — зажмурилась изо всех сил.

Конечно, этого не может быть! Этого не может быть по многим причинам. Во-первых, обезьяна не должна сидеть на стуле — по крайней мере живая. Во-вторых... во-вторых, это сон. Просто глупый и страшный сон. А на самом деле они еще идут, идут по тротуару... скоро она увидит горящую огнем вывеску ресторана и скажет: «Хочу сюда!» А Мурик ответит: «Кукленочек, ну что ты гонишь? Что это за место? Опять какой-нибудь дрянью накормят. Давай-ка лучше в „Бочку”. Нет, ну а что? — мяса, севрюжки...» И тогда она не станет капризничать и настаивать на своем, а скажет, нежно беря его за руку: «Конечно, милый!.. Ты прав — мне здесь тоже не нравится!..» Да, именно так. А то, что ей сейчас мельком привиделось, — так это просто сон. Или бред. Конечно. Наверное, она заболела. Ей мерещится. А на самом деле она не здесь. На самом деле они идут по тротуару, сейчас она увидит вывеску ресторана, но не...

— Иа-а-а-а! — негодуяще проревела обезьяна.

Ева вздрогнула и снова раскрыла глаза.

Подвал был залит желто-серым светом потолочной лампочки, забранной стальным намордником.

Сорвавшись со стула, обезьяна металась от стены к стене, как будто не находя себе места. Скачки сопровождалась резкими звуками — цоканьем, скрежетом когтей по бетону, хрипом; вот она задела стул, и он с грохотом повалился; а тень ее сигала со стены на стену совершенно беззвучно, и это было еще жутче. Вдруг, словно осознав бессмысленность своих действий, обезьяна остановилась как вкопанная; вот медленно села на пол и помотала башкой; протяжно завывала в припадке отчаяния, по-собачьи задирая морду к потолку; потом повернула голову, и ее круглые желтые глаза встретились с глазами Евы.

Взгляд обезьяны был так пронзителен, что Ева попыталась вскочить. Должно быть, однако, действие дурмана еще сказывалось: тело казалось слепленным из какой-то тяжелой и сырой субстанции; ватные ноги не послушались, и единственное, что она смогла сделать, — это лишь плотнее прижаться к стене.

Негромко заурчав, обезьяна решительно двинулась к ней. Сгорбившись и опираясь на длинные черные лапы, она сделала всего два или три быстрых и по-зверьи легких шага. Ева успела подумать, что повадки обезьяны стали иными — казалось, она чем-то обрадована; да и шагала теперь как-то иначе — по-хозяйски.

Обезьяна приблизилась и, снова низко заурчав, потянулась к ней широко мокрыми губами.

Ева не закричала.

Странно, но она испытывала не ужас и не брезгливость. Да, ей было неприятно, что обезьяна обратила на нее внимание, подошла и теперь тянется к ней губами. Но это было не омерзение, не гадливое чувство, в котором пронзительный страх мешается с гневом, а обычное, нормальное неудовольствие субъекта, которому досаждают ненужным ему сейчас вниманием.

— Отстань, — фыркнула она, отворачиваясь. — Голова болит.

Обезьяна заурчала настойчивей и схватила ее за руки.

— Ну что же это такое! — слабо вскрикнула Ева.

Но у нее не было сил сопротивляться, и поэтому через несколько секунд вялой борьбы она подчинилась. Ласково ворча, обезьяна неторопливо овладела ею раз и другой, а потом села рядом и стала искать у нее в голове, подтверждая свое расположение добродушным уханьем.



Это продлилось недолго. Послышались невнятные голоса... какое-то гремяние... Обезьяна вскочила, угрожающе рыча. По нервам ударил резкий скрежет.

Дверь распахнулась.

Ева тоже попыталась подняться на ноги — но тело снова ее не послушалось.

Вошедших было двое.

Официант с грохотом поставил клетку на пол. Метрдотель прислонил к стене украшенное куньими хвостами золоченое древко.

Ева с ужасом смотрела то на одного, то на другого.

Обезьяна прыгнула в дальний от них угол и сжалась там, рыча и скалясь.

— Хуа? — спросил официант.

— Хардациг, — ответил метрдотель, пожав плечами.

— Хуа прициг?

— Прициг нут, — сказал метрдотель и безразлично махнул рукой в сторону Евы.

Официант наклонился и просунул ладонь под ее плечи.

— Цигуа анциг, — заметил метрдотель.

Когда они затолкали безвольное тело в клетку, официант прижал голову Евы к круглому отверстию и, сморщившись от усилия, чем-то щелкнул. Одна полукруглая железка жестко схватила подбородок, вторая — затылок. Ей показалось, что голова вот-вот расколется. Облегчить страдание можно было лишь одним способом, заранее обреченным на неудачу: изо всех сил заталкивать темя как можно глубже в эту проклятую дыру.

Губы не шевелились. Она стонала беззвучно.

— Хацуг! — приказал метрдотель.

Оркестр построился у дверей. Тот, кто управлял медным листом, ударил в него железкой, и звон наполнил все помещение. Музыканты двинулись за ним: первый брэнчал по струнам, второй пронзительно дудел, третий молотил в барабаны.

Официант просунул древко в кольцо, приваренное к верху клетки.

Обезьяна в углу горестно завывала, отчаянно стуча себя кулаками по голове.

— Хицаг! — скомандовал метрдотель и первым подставил плечо под свой конец древка.

Клетка раскачивалась.

Хрипло скуля, Ева бесполезно хваталась морщинистыми лапами то за один прут, то за другой. Шерсть на загривке стояла дыбом. Она злобно скалилась, и перламутровая слюна пузырилась на клыках.

Музыканты уже выходили в зал. Шагающим следом приходилось поспешать.

Древко прогибалось и угрожающе поскрипывало.



---

---

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



## ПУТЕШЕСТВИЕ

Эфес

1

Я хотел бы увидеть Эфес, да была жара,  
Жалко было потратить полдня на поездку в глушь  
И еще полдня, чтоб вернуться; а тут гора,  
Белозубое море, а в номере — пресный душ.

Я хотел бы увидеть одно из семи чудес  
Мира — храм Артемиды в Эфесе, да в шесть утра  
Надо было вставать, а мне нравился здесь навес  
Полосатый и тень; а еще, я сказал, жара.

В ресторане белели салфетки, Эфес, прости,  
Так приятно за столиком в первом сидеть ряду,  
Бог с ним, с амфитеатром, вмещавшим до двадцати  
Тысяч зрителей, так я решил, к своему стыду.

Боже мой, ведь в Эфесе и дом сохранился тот,  
Где закончила дева Мария земные дни.  
Отпущенье грехов обещал на семь лет вперед  
Пий Двенадцатый путнику, — только зайди, взгляни.

Никогда не прошу себе слабости, сна души,  
Развращенной морским купаньем и ветерком.  
А с другой стороны, всюду Бог, — так живи, дыши,  
Плавай, радуйся жизни и с Ним говори тайком.

2

Я все-таки, представь себе, в Эфес  
Отправился в четверг, через неделю!  
Я лучше, чем я думал: я небес  
Достоин, предпочел я их отелю  
И видел все, о чем сказал уже,  
И вспомнил: это город Гераклита  
Эфесского, вменившего душе  
В обязанность огнем пылать открыто.

Он, плачущий философ, из огня  
 В слезах таскал для нас свои понятия  
 И, может быть, в виду имел меня,  
 Тебя, всех, всех, для нас свои объятья  
 Горячие раскрыв: огонь течет,  
 Меняется душа, взрослеют дети,  
 Гори и ты, как этот небосвод,  
 Как знойные пылают горы эти.

\* \*  
 \*

Бродя среди римских мраморных руин,  
 Театров, бань — в мечтаньях и в истоме,  
 Нет, я не знаю, что такое сплин!  
 Слуга себе, и раб, и господин,  
 Я даже побывал в публичном доме.

В том, что осталось от него: бруски  
 И пни колонн, оплывшие обломки  
 И диких трав пучки и колоски.  
 И никакой хандры или тоски!  
 И перекрытий тени и потемки.

Над постаментом, где бы мог стоять  
 Приап, допустим, может быть, Венера,  
 Клубился зной; две бабочки, под стать  
 Двум лепесткам, задумав полетать,  
 Взметали пыль горячую, как сера.

И дом разврата, в блеске белых плит,  
 Повергнут в прах, распахнут и низложен,  
 Внушал печаль прохожему, — не стыд,  
 Был чист, как совесть, временем отмыт,  
 Отбелен ветром и облагорожен.

\* \*  
 \*

Как француз, посвятив Ламартину книгу  
 Акварельных стихов, как сквозь забытье  
 Возвращая реальность былому мигу,  
 «Тот, кого забывают» назвал ее,  
 Так и я, ради Батюшкова к туману  
 Обращаясь морскому, морской волне,  
 Разглядел бы его там, подвел к дивану:  
 Сядь, поверь, улыбнись, не противься мне.

Я сказал бы ему, как стихи бывают  
 Заразительны лет через двести, как,  
 В плащ закутавшись, тот, кого забывают,  
 Нестерпимо любим, уходя во мрак,  
 Как докучлива жизнь без его элегий,  
 Обезвожен и безблагодатен день,  
 Знать не знающий об итальянской неге.  
 Оглянись, помаши мне рукою, тень.

## Уточнение

По прихоти своей скитаться здесь и там,  
 Но так, чтобы тебя не забывали дома  
 И чтобы по твоим дымящимся следам  
 Тянулась чья-то мысль, как в старину солома,  
 И чтобы чей-то взгляд искал тебя вдали  
 И сердце чье-нибудь, как облако, летело,  
 Чтобы сказать тебе среди чужой земли  
 Все, что сказать оно боялось и хотело.

Скитаться здесь и там по прихоти своей,  
 Но так, чтоб чья-то тень была с тобою рядом  
 И ты ей показать мог стаю кораблей,  
 Плывущих вдалеке, в бинокль, большим форматом,  
 Иль, в каменный театр спустясь, где Ипполит  
 Бежал из дома прочь — и вдруг вздымались кони,  
 Присесть с ней на скамью, где ящерица спит,  
 И уточнить судьбу, читая по ладони.

\* \*  
 \*

Обратясь к романтической ветке,  
 Поэтической ветке родной,  
 Столько раз ради трезвости меткой  
 Из упрямства отвергнутой мной,  
 Я сказал бы им, братьям горячим,  
 Как мне пусто и холодно тут!  
 Я не лью свои слезы, я прячу.  
 Дайте плащ поносить! Не дадут.

— Надо вовремя было из комнат  
 На корабль трехмачтовый взбегать,  
 Незаметною ролью и скромной  
 Не пленяться, обид не глотать,  
 Надо было не чашку и блюдце  
 И не скатерть любить на столе,  
 Надо было уйти, отвернуться  
 От всего, что любил на земле.

— Дорогие мои, не судите  
 Так же быстро, как я вас судил,  
 Восхищаясь безумством отплытий,  
 Бегств и яркостью ваших чернил,  
 Мне казалось, что мальчик в Сургуте  
 Или Вятке, где мглист небосвод,  
 Пусть он мной восхищаться не будет,  
 Повзрослеет — быть может, поймет.

— Надо было, высокого пыла  
 Не стесняясь, порвать эту сеть,  
 Выйти в ночь, где пылают светила,  
 Просиять в этой тьме и сгореть.  
 Ты же выбрал земные соцветья  
 И огонь белокрылый, дневной,  
 Так сиди ж, оставайся в ответе  
 За все слезы, весь ужас земной.

\* \*  
\*

Поскольку я завел мобильный телефон, —  
Не надо кабеля и проводов не надо, —  
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,  
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —  
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,  
Что был, не правда ли, горячий голос брата.

По музе, городу, пускай не по судьбам,  
Зато по времени, по отношению к слову.  
Ты рассказал бы мне, как ты скучаешь там,  
Или не скучно там, и, отметя полову,  
Точнее видят смысл, сочувствуют слезам,  
Подводят лучшую, чем здесь, под жизнь основу?

Тогда мне незачем стараться: ты и так  
Все знаешь в точности как есть, без искажений,  
И недруг вздорный мой смешон тебе — дурак  
С его нескладицей примет и подозрений,  
И шепчешь издали мне: обмани, приляг,  
Как я, на век, на два, на несколько мгновений.

### Кто с чем

*Омри Ронену.*

Мандельштам приедет с шубой,  
А Кузмин с той самой шапкой,  
Фет тяжелый, толстогубый  
К нам придет с цветов охапкой.

Старый Вяземский — с халатом,  
Кое-кто придет с плакатом.

Пастернак придет со стулом,  
И Ахматова с перчаткой,  
Блок, отравленный загулом,  
Принесет нам плащ украдкой.

Кто с бокалом, кто с кинжалом  
Или веткой Палестины.  
Сами знаете, пожалуй,  
Кто — часы, кто — в кубках вины.

Лишь в безумствах и в угаре  
Кое-кто из символистов  
Ничего нам не подарит.  
Не люблю их, эгоистов.

\* \*  
\*

Я их знаю, любителей самых  
Мрачных выводов: жизнь не мила.  
Что же надо им в сплетнях и дамах,  
Звоне рюмок и блеске стола?  
Почему они вина смакуют,  
Руки так потирают, скажи?  
Тем мрачнее скорбят и тоскуют,  
Про обман говорят, миражи.

Мне бы так, как они, разбираться  
В табаках и сортах коньяка  
И в меню глубоко погружаться,  
Про себя улыбаясь слегка.  
Между прочим, немецкий философ,  
Пессимизмом смутивший свой век,  
Тоже в жизни вальяжен и розов  
Был и благ не чуждался, и нег.

Я их знаю, любителей фразы,  
Спекуляций на горе и зле,  
Но цветок полевой, желтоглазый  
Значит больше на этой земле  
И в несчастье скорее поможет,  
Так на летнее солнце похож.  
С обобщеньями он осторожен,  
В философские дебри не вхож.



---

---

ВЛ. НОВИКОВ

\*

## ВЫСОЦКИЙ

*Главы из книги*

### СВОЯ ЗАГРАНИЦА

**Г**од семьдесят третий начался для Высоцкого с написания последних песен. Последних — не в буквальном смысле, конечно, — зачем торопиться туда, куда мы все равно приедем? — а в плане жизненно-композиционном. Сколько имеется уже в наличии песен и стихов? Триста? Четыреста? Статистикой заниматься некогда и неохота — дело не в количестве, а в результате.

Насчет театра наступила полная ясность. Он из него уходит — в душе заключает такой тайный договор с самим собой. То есть играть он будет — сколько хватит терпения у него и у Таганки. И играть честно, по-другому просто не получится, на ослабленном нерве, с прохладцей ничего делать ему пока не удавалось. Но сердце совершило выбор между двумя страстями — слово теперь важнее игры, поэт стоит впереди актера:

Я из дела ушел, из такого хорошего дела!  
Ничего не унес — отвалился в чем мать родила, —  
Не затем, что приспичило мне, — просто время пришло,  
Из-за синей горы понагнало другие дела.

«Синяя гора» явно из чужих стихов пришла. Конечно, это Булат скакал на своем коне — «вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки, до синей горы, моя радость, до синей горы»... Если эта гора — символ поэзии, к которой мы стремимся и которая нас к себе призывает, — то не грех и повторить. Нужны новые синонимы для заезженных уже вусмерть Парнаса и Пегаса.

С высоты синей горы, с высоты Божьего лика, глядящего на тебя из запыленной иконы, все внутритеатральные драмы и конфликты видятся уже спокойно, без раздражения:

А внизу говорят — от добра ли, от зла ли, не знаю:  
«Хорошо, что ушел, — без него стало дело верней!»  
Паутину в углу с образов я ногтями сдираю,  
Тороплюсь — потому что за домом седлают коней.

Кони эти — известно какие, могут понести «к последнему приюту». И тогда слова «я из дела ушел» приобретут дополнительное, хотя и нежелательное значение. Но игра со смертью — составная часть профессии, а после того, как черта честно подведена, наше «личное дело» передается в небесную канцелярию, и, как говорится, «ждите ответа». А пока — поживем.

---

О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир», 2000, № 11, 12.

Полностью книга выходит в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».

За границей Высоцкий не бывал со времен своей детской Германии. В последующие годы он, как и большинство советских граждан, старался не думать о том, что может оказаться недоступным. Размечаешься, разинешь рот на зарубежный каравай — а тебя огорошат тем, что ты — «невыездной». Такого прилагательного нет в словарях, но в устной речи ответственных товарищей оно имеется. В творчестве же Высоцкого нервная и болезненная тема дальних странствий нашла отражение еще в шестьдесят пятом году, когда он сочинил песню «для выезжающих за границу и возвратившихся оттуда»:

Перед выездом в загранку  
Заполняешь кучу бланков —  
Это еще не бе-да...

И вот, восемь лет спустя, он сам заполняет бланк под названием «заявление-анкета»: «Прошу разрешить... во Францию на 45 дней — с 15 апреля до 30 мая 1973 года... в гости к жене, де Полякофф Марина-Катрин (Марина Влади)». К этому прилагаются характеристика с места работы, подписанная «треугольником» (директор, секретарь партбюро, председатель месткома); справка из домоуправления; приглашение «оттуда»: «Я, нижеподписавшаяся Марина-Катрин де Полякофф... приглашаю на полное материальное обеспечение своего мужа, Высоцкого В. С., сроком на...» и т. д. «Куча бланков» сдана первого марта, но это только первый шаг. Потом начинается секретная «спецпроверка»: выясняют подноготную «претендента» и его папы с мамой.

Почему мы, советские люди, так не любим писать деловые бумаги? Потому что буквально каждый из нас должен что-то скрывать о себе и своих близких: дворянство, еврейство, принадлежность к раскулаченным или репрессированным, проживание на оккупированной территории, наличие родственников за рубежом, контакты с иностранцами или диссидентами. Напишешь все честно — сам себе навредишь, утаишь что-то — разоблачат как обманщика. А безупречных людей по меркам наших доблестных органов просто не существует.

Вроде бы не накопили на Высоцкого никаких компрометирующих материалов, и второго апреля ему позволено уплатить за вожаделенную визу госпошлину в размере 361 рубля. Деньги, между прочим, немалые! Но тремя днями раньше в газете «Советская культура» публикуется статья М. Шлифера «Частным порядком».

Какой там Шифер или Шнифер подписал этот материал — абсолютно не важно. Важно, что заведено дело на Высоцкого в связи с его февральскими гастролями в Новокузнецке. И у кого-то есть сильное желание подвести его под статью — уже не в газетном смысле. Подсчитали, что он дал за четыре дня шестнадцать концертов: «Даже богатырю, Илье Муромцу от искусства, непосильна такая нагрузка!» Докопались, что выступал без ведома «Росконцерта», по личной договоренности с директором местного драмтеатра. Что ж, договоренность была: из театра три ведущих артиста ушли, прекратились спектакли, нечем было зарплату выдавать. Заключили взаимовыгодное соглашение, которое теперь обзывают «коммерческой сделкой», «халтурой» и «незаконной предпринимательской деятельностью».

Кому докажешь, что тебе действительно под силу богатырские нагрузки, что ты способен дать людям нечто, не измеримое ни часами, ни рублями. Что в рамках их инструкций и нормативов настоящая профессиональная работа просто невозможна. Официальные ставки абсурдны. Если не договариваться «частным порядком», то народ никогда ничего хорошего не увидит и не услышит. В нашей профессии необходим свой Роберт Фишер — тот упрямой борьбой за гонорары отстоял права всех шахматистов как профессионалов, и советским гроссмейстерам тоже стали какие-то деньги платить, а не награждать за победу в международном турнире часа-



ми «Полет». Активно работающему артисту хочется что-то получать за свой труд, а не всю жизнь находиться на чьем-то «полном материальном обеспечении»...

Но главное сейчас не это. Не стоят ли за новокузнецкими кознями авторитетные товарищи из центра? Не хотят ли таким способом затруднить Высоцкому передвижение по Европе? Узнать это невозможно. Марина, чувствуя неладное, начинает дергать своих парижских друзей, они обращаются к вождю компартии Жоржу Марше, а тот звонит в Москву чуть ли не самому Брежневу. Семнадцатого апреля паспорт с визой получен, хотя настоящего спокойствия все еще нет.

«Ожидание длилось, а проводы были недолги...» Строка длиною более чем в полтора месяца. Причем проводы заняли максимум два дня — десяток коротких разговоров, в том числе телефонных, с родственниками и ближайшими друзьями. Все желают доброго пути, стараясь не обнаруживать холодок отчуждения, который неизбежно возникает в таких случаях. А ожидание длилось — сколько? Может быть, пять лет, а может быть, и все тридцать пять.

«Ему и на фиг не нужна была чужая граница», — сколько раз самые разные люди повторяли эту фразу Высоцкого как поговорку. Нет, братцы, граница нужна — хотя бы для того, чтобы на себя, здешнего, и на дела свои посмотреть с достаточной дистанции. Чтобы подумать, куда жить дальше.

Восемнадцатого апреля 1973 года Владимир Высоцкий и Марина Влади на автомобиле «рено» выезжают из Москвы. Опыт путешествий у обоих весьма солидный, но этот случай — непривычный, особенный, и торжественный и тревожный одновременно. Набрав обороты, они ведут оживленный разговор на какие-то второстепенные темы, хотя думают оба о том, что может произойти на КПП. А что, собственно, такого уж страшного может случиться? Не убьют же! Убить не убьют, но могут лишить той новой жизни, на которую уже настроился и умом, и сердцем, и всеми нервами, натянутыми, как струны. Может быть, похожий страх бессознательно испытывает младенец, нацелившийся жить, собравшийся выйти на свободу из материнского чрева, где его так долго мурыжили...

«На границе тучи ходят хмуро», — вспоминается вдруг ни к селу ни к городу бодрая песенка, хотя все тучи сгустились в душе, а небо-то над Брестом ясное. Он передает два паспорта пограничнику, который скрывается в двухэтажном здании. Ну что, вернется сейчас, козырнет и сообщит, что, согласно телефонограмме, поступившей из Москвы, виза аннулирована и гражданину такому-то надлежит поворачивать оглобли? Нет, мановением руки подзывает подъехать к служебному помещению. Со всех сторон к машине сбегаются мужчины и женщины, военные и штатские. Жаждут автографов — кто на чем: суют сигаретные пачки, паспорта, буфетное меню, хоть лоб готовы подставить. Да, здравствуйте, да, это я и это моя жена, Марина Влади (хоть бы кто догадался и Марину попросить расписаться на чем-нибудь)... Паспорта возвращают. Так, поглядим: штемпели на месте. Чаю? Да, спасибо. Сфотографироваться со всей компанией? Пожалуйста!

На польской территории уже можно дать волю эмоциям, покричать и подурачиться. Потому что мы рвемся на Запад! Свобода, свобода! Выше голову! Жизнь мчится, как стих... Сразу две вещи начали сочиняться. Одно стихотворение было начато еще на шоссе в Белоруссии, но боялось оно высунуться и расправиться. Теперь его жесткий ритмический каркас обрывает мясом подробностей:

Тени голых берез  
добровольно легли под колеса,  
Залоснилось шоссе  
и штыком заострилось вдали.

Вечный смертник — комар  
                                 разбивался у самого носа,  
 Превращая стекло  
                                 лобовое  
   в картину Дали.

Чисто литературный, непесенный стих — он не к театру ближе, а к кино. Игра общего и крупного планов, картины, атмосфера. Мистический сюр, как у Тарковского Андрея. Свободные переходы из одной эпохи в другую...

И сумбурные мысли,  
                                 лениво стучавшие в темя,  
 Устремились в пробой —  
                                 ну попробуй-ка останови!  
 И в машину ко мне  
                                 постучало просительно время, —  
 Я впустил это время,  
                                 замешенное на крови.

Марина за время этого пути стала еще и как бы «боевой подругой»: переход через границу сближает людей — даже и без того уже связанных прочными узами. Благодарность — вот новое чувство, которое он едва ли не впервые ощутил по отношению к женщине. Умеем мы влюбляться, поклоняться, страдать от разлук, безумствовать, но молча, в душе по-добро-дарить, то есть подарить добро в ответ на добро...

Польша — граница, но не чужбина. Отсюда все-таки пошла фамилия наша — и сочетание «пан Высоцкий» звучит вполне естественно. У поляков есть общее и с русскими (славянские корни никуда не денешь), и с французами (склонность к элегантности и шику). Многие наши соотечественники с гордостью говорят о наличии в составе их крови польского элемента. Марину поляки повсюду принимают за свою. Польский тип женщины — своего рода идеальный европейский образец, к которому приближаются, с восточной стороны, не слишком полные русские дамы, с западной — не слишком истощенные француженки. Жаль, с языком у нас проблемы, и дальше «Прощу, пани!» дело не идет.

Приехали-то в столицу вовремя, но неволью внесли сумятицу в польские внутренние дела. Остановились в гостинице и оттуда стали звонить Даниэлю Ольбрыхскому. Отвечает его жена Моника: Данек на съемках в Лодзи, вернется поздно вечером. И с чрезвычайным гостеприимством предлагает прямо сейчас заехать за ними в отель. И надобно ж беде случиться, что именно в этом отеле и в это самое время у Данека проходила сугубо секретная встреча, в программу которой появление жены не входило. Марина ужаснулась, хотя, с мужской точки зрения, событие не из разряда сенсационных: у многих актеров выражение «Я на съемках» зачастую имеет некоторый побочный смысл.

Тем не менее вечер с поляками удался. Вайда, Занусси, Хоффман — такого количества первоклассных режиссеров за одним столом видеть давно не доводилось. О чем бы ни говорили эти люди — чувствуется, что они двадцать четыре часа в сутки погружены в свое дело (у нас такой только Тарковский, ну, может быть, еще Кира Муратова). Не «киношники», а художники. Игровое начало в их облике отсутствует начисто. У каждого на первом плане большая мысль, главная идея, а профессионализм сам собой подразумевается, это дело техники. И откуда в этой небольшой и небогатой стране такая мощная киноиндустрия, такая высокая режиссерская культура?

Причем особенно взорлили поляки после войны, на развалинах. Честно пережили все происшедшее, не ударились в национальную амбицию, в фанфарное воспевание своих подвигов. А вот чувство родины у всех при-

существует, и политическое вольнодумство ему нисколько не противоречит. Даже в анекдотах остаются патриотами. Например: человек кладет сто злотых в банк, где ему говорят, что сохранность вклада гарантируется Советом экономической взаимопомощи и всем социалистическим сотрудничеством. «А вдруг рухнет содружество?» — «Если пану жалко отдать за это сто злотых, пан не ест поляк». А у нас в России все более модным становится говорить про самих себя — «в этой стране» и убеждать друг друга в нашей исторической обреченности. Есть разница.

Даниэль берется проводить друзей: садится в свое авто и на бешеной скорости долетает до немецкой границы, они едва за ним поспевают. Вот и прощанье: Высоцкому с Мариной — на запад, хозяину — «в другую сторону», куда его сегодня не очень тянет... Ничего, как говорят у нас, перемелется...

Проехали Фюрстенвальде, а Эберсвальде — гораздо севернее. Да и вряд ли узнал бы он гарнизонный городок своего детства. Миновали Восточный Берлин — и вот еще один Рубикон перейден: мы наконец в западном мире. Здесь предстоит ночевка, а пока — первая прогулка по капиталистической улице.

Из рассказов русских путешественников он знает, что самое сильное впечатление на них неизменно производят не памятники архитектуры, не музеи (этого добра и у нас предостаточно), а исключительно магазинные витрины. Как увидит наш человек тридцать сортов колбас да сорок видов сыров (и все «имеется в продаже», не бутафория, не выставочные образцы!) — так и падает в обморок. Слишком уж это непривычно после советских витрин с пирамидами из однородных банок с морской капустой... Режиссера одного нашего повели впервые по Елисейским полям, так ему там интереснее всего показались стоящие за стеклом на первом этаже «рено» и «пежо». Его потрясло, что можно туда просто войти, заплатить и тут же получить ключи зажигания. Французы посмотрели на него, как на пауза: не понимают они нашего мировоззрения. Любой Бельмондо у нас должен был бы полгода очереди дожидаться, потом ехать к черту на кулички, на Варшавское шоссе, там пару-тройку часов потолкаться и двадцать раз свою знаменитую улыбку в ход пустить, чтобы продать ему нашу «Ладу» с подходящим кузовом и того цвета, который ему нравится. Никакой мечтатель-романтик в самых смелых снах не узрит автомагазин, подобный парижскому, где-нибудь у нас на улице Горького.

Граница между Германией и Францией почти не ощутима, и из машины не надо выходить. А потом понемногу замечаешь разницу между народами. Немец заботится прежде всего о пользе и уюте, а француз помимо этого еще и о своей внешности всегда помнит. Даже если он в спецодежде дорожного рабочего, то какой-нибудь шейный платочек наденет, чтобы свою индивидуальность обозначить. Да еще прическа, усики, бачки всякие — в полном порядке. Клошар средних лет сидит у бензозаправки и просит у проезжающих десять франков — так он при этом вполне прилично одет и имеет ухоженную бороду. И бутылка у него в руках не с бурдой, а с бордо.

Двадцать девятого апреля прибыли в Париж. Для этого города слов у него просто не находится. И хорошо, что их нет, поскольку скатываться в общую колею и рифмовать: «Париж» — «крыш» — «говоришь» — «молчишь» — нет, не наше это дело. Можно, наконец, и помолчать, и это посвоему приятно. Ходишь по улицам, даже не спрашивая имени у каждой из них. И тебя тоже этот город не дергает, не озадачивает. Твой двигатель внутреннего творческого сгорания полностью отключен, чего на родине можно достигнуть только при помощи «проклятой». Абсолютно новое ощущение: не расходуешься, а заправляешься. Может быть, в этом и смысл путешествий?

Есть в Париже и своя Россия, с которой Марина его усиленно знакомит. Он просто не ожидал увидеть столько людей, говорящих по-русски. И при этом знающих песни Высоцкого наизусть. Цитируют, как Пушкина или Грибоедова, вставляя строчки в свою речь, иногда даже в другом, измененном смысле: «Но, к сожалению, друг оказался вдруг», «Мы таким делам вовсе не обучены», «Красота среди бегущих!». Пару раз ставил автограф на рукописных тетрадках с песнями. Многие из здешних русских слушали его в Москве или в Питере, и тут его концерт мог бы событием стать. Но тогда к новокузнецкому делу добавится еще и парижское... И — «не увижу я ни Риму, ни Парижу». Либо — наоборот: выставят за пределы России и назад не пустят. Ни то, ни другое нам решительно не подходит. В дружеской компании Высоцкий поет то, что написал еще три с чем-то года назад в ответ на слухи о том, что он «покинул Расаю»:

Кто поверил — тому по подарку, —  
 Чтоб хороший конец, как в кино:  
 Забирай Триумфальную арку,  
 Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха:  
 Как поверили этому бреду?!  
 Не волнуйтесь — я не уехал,  
 И не надейтесь — я не уеду!

И очень хорошо понимают его здешние русские. Потому что им он нужен *там*. Он должен не просто жить в России, а быть Россией. И еще приятно чувствовать, что личность твоя в основном уже состоит не из мечтаний и намерений, а из готовых песен, которые говорят о тебе во много раз больше, чем мог бы ты сам сказать в самой задушевной беседе.

Актриса Марина Влади приглашена на кинофестиваль в Каннах — вместе с супругом. Несколько непривычна для Высоцкого роль «товарища Крупского». Был такой анекдот, не совсем понятный для иностранцев. Выступает перед народом старый коммунист и рассказывает, как он работал в Народном комиссариате просвещения под руководством Надежды Константиновны Крупской. Выслушали его, а потом и спрашивают: «А с супругом Надежды Константиновны вы не виделись?» — «Нет, с товарищем Крупским, к сожалению, встречаться не довелось». Что делать: не удалось пока Высоцкому сняться в таком фильме, который мог бы котироваться на каннском уровне. Но, может быть, еще не все потеряно? Снимемся когда-нибудь в шедевре, а может быть, и сами попробуем режиссурой заняться. А пока пройдемся в смокинге под руку с Мариной по знаменитой набережной, где сейчас, на торжественном открытии, столько мировых кинозвезд.

Наутро он был приятно поражен, увидев фотографии в газетах. Профессионально снято, любо-дорого посмотреть на себя в международном контексте. В советских же газетах личность Высоцкого строго засекречена: имя еще могут назвать, а лицо держат как бы под паранджой. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток...

Из поездки Высоцкий привозит разные подарки близким: кому джинсы, кому водолазку, кому косметику... А для себя он вывез из Франции нечто бесценное и никаким таможням не подконтрольное — дух свободы и готовность бороться за свои гражданские права. В самом деле, почему мы считаем себя заведомо виноватыми? Почему мнение любого чиновника воспринимаем как глас Божий? Ведь лет через десять, ну через двадцать они все равно примут нашу точку зрения, поскольку своей у них просто нет. Ложь сама по себе ничего не производит, она всегда спекулирует на правде. Они еще будут говорить и писать о воспитательном значении пе-

сен Высоцкого, когда это им станет выгодно. Так, может быть, стоит упереться ногами в будущее и подумать головой, чего мы можем добиться уже сегодня?

Двадцать первого июня суд постановил, что Высоцкий должен вернуть в казну «незаконно» выплаченные ему девятьсот рублей. Это его, конечно, не обрадовало, но и не обескуражило. Наоборот,хватило куражу сестре за письмо к секретарю ЦК КПСС Демичеву и взять совсем другой тон:

«Уважаемый Петр Нилович! В последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры РСФСР. Девять лет я не могу пробиться к узаконенному общению со слушателями моих песен...»

Вот так! Спокойно и с достоинством. Проще всего описать ситуацию такой, какова она есть.

«Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их нет. Девять лет я прошу об одном: дать мне возможность живого общения со зрителями, отобрать песни для концерта, согласовать программу.

Почему я поставлен в положение, при котором мое граждански ответственное творчество поставлено в род самодеятельности? Я отвечаю за свое творчество перед страной, которая поет и слушает мои песни, несмотря на то, что их не пропагандируют ни радио, ни телевидение, ни концертные организации...»

«Поставлен — поставлено», «ответственное — отвечаю»... А, потом подправим весь текст, а пока — не сбиться бы с тона.

«Я хочу только одного — быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить, в согласии с идеями, которые организуют наше общество».

Нет, это не «совейский» язык, это вполне международный стандарт. Французы, пробивающие свои культурные планы и проекты, тоже ссылаются на интересы общества. Общество и государство не совсем одно и то же.

«А то, что я не похож на других, в этом и есть, быть может, часть проблемы, требующей внимания и участия руководства».

Не слишком ли? Зато честно, а честность в конечном счете невыгодной быть не может. Так принято в цивилизованном мире.

Результатом этого письма через некоторое время становится присвоение Высоцкому филармонической ставки как артисту разговорного жанра. Одиннадцать рублей пятьдесят копеек за выступление. Но не надо смеяться. С паршивой овцы — хоть шерсти клок, а потом продолжим борьбу.

## НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

В каком-то современном рассказике запомнилась ему одна мелкая, но красноречивая подробность: школьный учитель музыки видит на улице большую афишу с именем своего бывшего однокурсника, дающего сольный концерт. «Ничто так не огорчает, как успех товарища», — резюмирует по этому поводу не то персонаж, не то автор, не то оба вместе. Огорчает, да не всех. Высоцкий очень обрадовался, узнав, что в журнале «Юность» опубликована повесть Золотухина «На Исток-речушку, к детству моему». Да еще в одном номере с Борисом Васильевым — компания что надо! Когда один из наших выходит в первые ряды, в этом же нет ничего плохого, кроме хорошего. Он и нас туда тянет своим вдохновляющим примером!

Вознесенский пригласил к себе на дачу в преддверии пятисотых «Антимиров». Попробуем ему новые стихи показать, посоветоваться насчет возможной публикации. Есть шанс — именно теперь. Кто-то в литературу входит без проблем, как по лестнице. Некоторых даже везет туда эскала-

тор — за хорошие анкетные данные. Ну а нестандартным авторам приходится карабкаться на скалу, цепляясь за любой уступ.

В июле приехали в Пицунду — с Мариной и Севой Абдуловым. В Доме творчества кинематографистов встретились московские знакомые — Инга Окуневская и Виктор Суходрев. Виктор переводчиком в МИДе работает — ему доводилось даже с Хрущевым иметь дело. Инга и Виктор захотели в столовой позвать вновь прибывших за свой столик, но выяснилось, что в престижный ряд у стены не всех пускают, а только Сергея Герасимова, Эльдара Рязанова и лиц, к ним приравненных. За соблюдением иерархии строго следит администраторша по имени Гугулия, бывшая партработница. Тогда Инга с Виктором сами пересели в демократическую середину зала, где Высоцкий с Мариной и Севой получили неудобный стол у прохода. И неловкость сразу исчезла. Так оно проще, чем качать права и доказывать, ху из ху. У многих амбициозных жрецов прекрасного вся жизнь и все силы уходят на борьбу за то, чтобы их селили и сажали куда надо.

Три недели вполне безмятежного отдыха. Ездили за вином «Изабелла» в один знакомый абхазский дом, где Высоцкий прошлой осенью бывал во время съемок «Плохого хорошего человека». Сам он на этот раз в дегустации участия не принимал, а потому вел машину и по возвращении в Дом творчества выгружал из нее сначала полученную в дар бутылку, а затем павших жертвами кавказского гостеприимства Севу и Виктора.

Спокойное курортное море однажды вечером взбунтовалось, купание запретили. После дождя отдыхающая публика вышла на берег, Высоцкий со своей компанией тоже. И вдруг линия, разделяющая море и сушу, представилась ему границей между двумя мирами. И как странно ведут себя обе стороны! Белые барашки несутся со всего разбега к этой линии — и возле нее разбиваются, превращаясь в ничто. А люди хладнокровно наблюдают на гибельный процесс, развлекаются им, но даже близко не подойдут, чтобы не забрызгало их холодной влагой. Поэт, как всегда, разрезан на две половинки, одна — со страдающими, другая — с наблюдающими.

Наутро прочитал эту песню своему узкому кругу, мелодию предпочел не озвучивать. Слушали с пониманием, но, кажется, не очень восприняли последнюю строфу:

Но в сумерках морского дна —  
В глубинах тайных, кашалотьих —  
Родится и взойдет одна  
Неимоверная волна, —  
На берег ринется она —  
И наблюдающих поглотит.

Я посочувствую слегка  
Погибшим им, — издалека.

Тут и с Пушкиным ненавязчивая перекличка («Товарищ, верь, взойдет она...»), и неожиданный поворот мысли под занавес: тех, кто жизнь воспринимает как зрелище, история все равно достанет... Но нужен ли этот жесткий сарказм: «посочувствую издалека»? «Издалека» — то есть с того света. Разве там остается место для злопамятных счетов?

Один гагрский богатей учинил прием для кинематографической элиты. Во дворе своей виллы накрыл большой стол человек на тридцать, ярмарка тщеславия во всей красе! Конечно, можно было бы и не пойти, но зачем тратить энергию на гордый отказ? А потом — любая, даже самая скучная встреча — источник информации. Люди как-то себя обнаруживают, а если на них не смотреть, не слушать — о чем писать будем? «Не надо подходить к чужим столам», — совершенно справедливо сказал поэт, но засто-

лье с древнейших времен до наших дней остается главным жанром человеческого общения.

Короче, явились туда впятером — и все пошло по традиционному сценарию. После двух-трех банальных тостов хозяин, естественно, завел разговор о гитаре и песнях. Пришлось сказать, что гитара осталась в Москве. «Найдем другую, из-под земли достанем». В полном соответствии с почти сочиненными и еще пока никому не петыми «Смотринами»: «Он захотел, чтоб я попел, — зря, что ль, поили?!»

Что тут будешь делать? Ну почему Николай Крючков может спокойно сидеть, отдыхать и никто его не принуждает распевать: «Махну серебряным тебе крылом»? Высоцкий же должен их культурно обслуживать... Думают, что он кокетничает, цену себе набивает. А у него же просто нет настроения, точнее, собравшийся отборно-ограниченный контингент нужного настроя ему не дает. Он ведь не «исполняет» свои песни, а заново их творит с участием подходящих партнеров-слушателей. Автор, художник — существо с непредсказуемой психикой. Это как честная, непроданная женщина: при взаимной страсти она может тебе и где-нибудь в ванной или в лифте стоя отдаться, а без искреннего желания и от роскошного ложа убежит. Короче, не дал он себя на этот раз изнасиловать.

А *своих* через пару дней он позвал после ужина на пляж, к самому дальнему зонтику-грибочку. Очень подходящее время, поскольку публика вся кино смотрит. Тут у него запелось. И надо же: как только кончился сеанс — механик врубил на всю мощь эстрадные мелодии и ритмы. Вот черт бы его побрал, как не вовремя! Как будто услышав его проклятье, дурацкая музыка замолкает, и он показывает друзьям самые новые песни.

Наутро выясняется — люди, выходявшие из кинотеатра, услышали голос Высоцкого, попросили киномеханика вырубить репродуктор, выстроились на балконах Дома творчества и слушали до конца. Тех, чьи окна смотрят на шоссе, приглашали к себе обитатели номеров с видом на море. А Высоцкому и его компании вся эта аудитория из-за высоких деревьев не видна была.

Может быть, публика за художником следит издали не по равнодушию, а из деликатности? Стесняются вторгаться в твой мир... Подумаем еще над последней строфой новой песни. Не исключено, что обойдемся без этой мстительной губительной волны, которая всех захлестнет... Иногда лучше последнее слово оставить при себе, а в песне остановиться на предпоследнем.

В сентябре Таганка отправляется в Ташкент — правда, ни «Галилея», ни «Гамлета» туда не везут. Тем не менее одержана большая победа — В. С. Высоцкий в числе пяти особо отличившихся актеров награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Да, именно с большой буквы, потому что это считается правительственной наградой. И отныне во всех анкетах в соответствующей графе у нас будет не прочерк, не «не имею», а вот это самое.

Потом — Алма-Ата, где его активно интервьюировала пресса. Выступление на телевидении в Усть-Каменогорске. И небо не упало на землю, и воды Иртыша не потекли вспять от голоса Высоцкого. Ну почему же так боятся его на берегах Москвы-реки?

Самое важное событие на исходе семьдесят третьего года — работа над балладами для фильма «Бегство мистера Мак-Кинли», который по роману Леонида Леонова собирается ставить Михаил Швейцер. Что за роман — не так важно. Важно, что режиссерский замысел закономерно набрел на Высоцкого как поэта. Началось с того, что Швейцер захотел использовать брехтовский принцип «очуждения» смысла, способ прямого обращения к зрителю — только не в зонгах, а в сюжетно развернутых балладах, и даже

их вчерне уже написал — что-то вроде прозаического подстрочника сделал. Стал он со своей женой и соавтором Софьей Милькиной советовать. Она вычислила Высоцкого, позвонила ему и деликатно предложила посмотреть заготовки, на всякий случай. Встретились на «Мосфильме», получил он тексты, дома открыл папочку — и затянуло его в нее, с головой ушел в схематический мирок, сконструированный режиссером.

Америка не Америка здесь изображена — не в этом суть. Он там не был, не знает. Появилась возможность преодолеть притяжение собственной жизни. Дали ему для экспериментов маленькую планетку, где все можно строить сначала, все можно раскрасить своими красками. Сколько дней отводится на сотворение мира? Шесть? Так оно и выходит примерно: с пятницы до четверга шесть баллад из восьми готовы плюс седьмая, написанная уже без подстрочника, вынутая непосредственно из себя:

Кто-то высмотрел плод, что неспел, —  
 Потрусил за ствол — он упал...  
 Вот вам песня о том, кто не спел  
 И что голос имел — не узнал.

Но в тех-то шести балладах голос свой — не певческий, а поэтический — он выпустил на полную свободу. Позволил себе не думать о драматургии, не смотреть на часы. Протяженность песни зависит от собеседника — тут четко чувствуешь начало, середину, конец, тут нельзя долго ехать в одном направлении, через пару строф, как правило, поворот. Есть, конечно, такие барды, которые заведут лирическую волынку и требуют внимания. И получают это внимание — народ у нас чуткий и жалостливый. Высоцкий не такой: невысказано, чтобы у него кто-нибудь зевнул посередине песни. И заканчивает он ее всегда точно в том месте, которое дыханием слушателей подсказано. Лучше он отрубит своей песне последнюю строфу, чем допустит, чтобы заплодировали по ошибке после предпоследней.

Все так, но хочется и в себя погрузиться без ограничения глубины, а это может дать только большая форма. Для других пишем или для себя? Жизнь слишком коротка, чтобы ответить на этот вопрос. А лучше всего — это когда ты всегда один и всегда со всеми.

### ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Так уж сложилось, что собственный день рождения для Высоцкого редко получается праздничным. В середине января семьдесят четвертого у него была неделя отгулов после напряженной занятости в театре во время школьных каникул. А где отгул — там и загул, согласно корневой системе русского языка. В день тридцатилетия Высоцкого его нет на «Антимирах», двадцать шестого он отсутствует на репетиции. Опять пошли разговоры о заменах, но взялись за него, внедрили в его тело, и без того истерзанное, пресловутую «спираль» — и вот он снова Гамлет и Галилей.

Политическая погода заметно начала портиться. Можно даже сказать — климат политический переменялся. В январе исключают из Союза писателей Лидию Чуковскую, в марте — Владимира Войновича. Давно выгнанный из всех творческих организаций Галич ходит по друзьям, поет прощальные песни и надеется, что кто-нибудь его отговорит от отъезда.

Но главное событие года, а может, всего десятилетия — это изгнание Солженицына. Всемирно известного писателя, нобелевского лауреата арестовали, как урку, и в Лефортово привезли. И уже оттуда в порядке особой милости — в аэропорт. Пусть не на Колыму, а во Франкфурт-на-Майне, но он же туда не просился! Помимо права на убежище есть у человека еще и право на единственную родину... И все это произошло почти при полном равнодушии сограждан.



А где мы были в этот момент, тринадцатого февраля? Играли, пели, народ тешили... Мы, если честно сказать, просто не заметили солженицынского отъезда — в душе не отметили, чтобы избежать ненужных страданий. Мол, у самих положение шаткое. Но ведь все эти карательные акции против наших коллег имеют прямое отношение к каждому из нас. По ком звонит колокол, спрашивается?.. Если кто сейчас произнесет в ответ дурацкий каламбур «Обком звонит в колокол», — я такого идиота убью на месте. Не дети мы уже с вами, чтобы так непринужденно шутить по любому страшному поводу. Вот так и в тридцать седьмом году равнодушно слышали, как соседа ночью забирают, а утром шли заниматься своими маленькими делами. И постепенно переставали быть людьми.

В середине марта Таганка давала спектакль в подмосковном городе Жуковском. Публика там интеллигентная, искушенная в авиаконструкциях, в поэзии, в политике, во всем на свете. И просто стыдно было потчевать их халтурой. «Антимиры» износились до дыр, и все мы это чувствуем. Не какой-то там ворон кричит: «А на фига?», мы сами циниками окончательно заделались, пропитались «анафигизмом». Пробовал поделиться этими ощущениями с Золотухиным и Смаховым:

— Мы ничего не понимаем ни в экономике, ни в политике... Мы косяязычны, не можем двух слов сказать... Ни в международных делах... Страшно подумать. И не думать нельзя. А думать хочется... Что же это такое?! А они — эти — всё понимают...

Закрутил только нервы — и себе, и другим, а к ясности никакой не пришел. Ясность может прийти только стихом и песней.

Мы все живем как будто, но  
 Не будоражат нас давно  
 Ни паровозные свистки,  
 Ни пароходные гудки.  
 Иные — те, кому дано, —  
 Стремятся вглубь — и видят дно, —  
 Но — как навозные жуки  
 И мелководные мальки...

Жесткая песенка — и по тону, и по смыслу. Не тяжела ли будет для слушателей? А может быть, она только для себя, о себе... Хоть речь в ней и на «мы» ведется. Мы слишком удобно в этой жизни устроились. Считаем себя пострадавшими за правду и еще каких-то лавров себе за это требуем. Хотим, чтобы нашу правду нам разрешили. А если ее никогда не разрешат? Искать надо возможности нового, небывалого риска, а не способы выживания. Конечно, не каждому это по силам, но если уж эту силу в себе чувствуешь, то бесполезно держаться за психологию ужа. Рожденный летать — ползать не может.

Вот так в себе покопаешься, покаешься в малодушии и непоследовательности — и можно дальше жить. Все пишется из недовольства собой, как недовольство иссякнет — так и песни кончатся.

А если еще глубже в себя заглянуть, увидишь: то, что происходит в душе, по сути своей не зависит от внешних факторов. Душа имеет самостоятельный ритм — периодическое чередование грусти и радости, отчаяний и просветов. Ни успех, ни деньги, ни слава прямого влияния на этот ритм не имеют. Житейские события могут только попадать в резонанс с ним.

И ритм этот выше логики, сложнее смысла. Все «да» и «нет», все «про» и «contra» ему подчиняются: «Протопи!.. Не топи!.. Протопи!.. Не топи...» И нет конца этому спору с самим собой...

Впереди — новая поездка во Францию, в связи с чем восьмого апреля Высоцкого вызывают на собеседование в Ждановский райком КПСС.

Удовольствие сомнительное, но миновать эту процедуру невозможно. Есть выражение в советском языке, используемое во время так называемых выборов, — «блок коммунистов и беспартийных». Так и видится единый тюремный блок, в который загоняют пассивную толпу, состоящую как из членов, так и из не членов партии. Будь ты хоть трижды беспартийный, а в райком явись. И выслушивай инструкцию товарища Зубова о том, что можно и что нельзя в Париже. Не исключены идеологические провокации. И с «бывшими нашими» советуют быть осторожнее, потому что они все завербованы западными спецслужбами. Все это было бы смешно...

В тот же день встретил в Шереметьеве Марину, на следующее утро — у них вдвоем запись на «Мелодии», с оркестром под управлением Гараняна. Больше полутора часов звучания — это на большой альбом потянет! Двадцать три вещи спел сам, шесть — Марина. У нее получилось. Причем «Я несла свою Беду...», «Так случилось — мужчины ушли...» — это понятно, песни от лица женщины. Но и «мужские» песни «Надо уйти», «Два красивых автомобиля» у Марины так вышли, что он сам теперь, пожалуй, их исполнять не станет. Пусть ее серебристым тембром теперь звучит пронзительное сожаление: «Ты промедлил, светло-серый!»

Таганке исполняется десять лет. Хотя об этом совершенно не пишут в прессе, те, кому надо, эту дату — 23 апреля — знают без напоминания. За неделю до того — премьера «Деревянных коней» по Федору Абрамову. Высоцкий в ней не участвует, но вместе со всеми радуется, что деревенскую тему удалось-таки протащить, а там, глядишь, и многострадального можаевского «Живого» власти реабилитируют. Абрамов — классный мужик. Был в Ленинграде доцентом, писал статьи о том, как неправдиво в литературе изображают сельскую жизнь. А потом решил сам броситься на амбразуру, скинул лягушечью шкуру доцента и сделался чистым писателем. В своей правоте убежден абсолютно, потому умеет с чиновниками сражаться, доказывать, что его, а не их позиция патриотична.

Сначала было даже непонятно, какую театральность можно извлечь из абрамовских повестей: ну, рассказывают женщины о своей тяжелой жизни — ни динамики, ни юмора. Можаевский Кузькин в этом смысле — куда более игровой. А вот получилось — и нечто неожиданное. Русский характер именно в северной деревне в наиболее чистом виде был представлен. И не только в колхозах этих чертовых дело, хотя и в них тоже. Уходит что-то ценное и тонкое из жизни, пропадает навсегда. Ни в каком МХАТе так Милентьевну никто не сыграл бы, как это сделала Демидова, — полная органика. И Славина в Пеллагее достигла апогея своего. И Ваня Бортник роль ее мужа почти без слов слепил.

Премьера «Коней» состоялась аккуратно в тот день, когда театр «Современник» въезжал в новое здание на Чистых прудах. То есть здание-то старое, раньше в нем был кинотеатр «Колизей». Мы его в детстве посещали, хотя Высоцкому и его друзьям по Каретному во всех отношениях ближе был другой кинотеатр с «римским» названием — «Форум». Короче, уже после премьеры помчались поздравлять коллег с новосельем. Любимов «Современник» не любит — по многим причинам: и за творческую бесхарактерность, и за повышенную приспособляемость к советским условиям. Он дарит им живого петуха из таганского «Гамлета», сопроводив это умеренно ехидным поздравительным текстом. У Высоцкого каких-либо эмоций по поводу *второго* драматического театра Москвы и нет, пожалуй: после перехода Ефремова «в отстающую бригаду» МХАТа он, кроме «Своего острова» со своими песнями, там, кажется, и не видел ничего.

Буквально на день выскочил в Ужгород, где начинает сниматься «Единственная дорога» — советско-югославская картина о событиях сорок четвертого года. Немецкий танковый парк стоял без горючего. И немцы

направили туда колонну из двухсот или даже трехсот гигантских бензовозов. А шоферами посадили русских военнопленных, приковав их к машинам цепями. И сообщили партизанам: будете стрелять — машины взорвутся и русские погибнут. Сюжет очень нетривиальный. У Высоцкого роль одного из водителей — Солодова. Он ничего не говорит, но в своем последнем рейсе, перед гибелью, поет песню. После приглашения на фильм она сложилась сразу с финальным ударным двустихием:

Мы не умрем мучительную жизнью —  
Мы лучше верной смертью оживем!

Вот такая бешеная гонка! По возвращении в Москву за три дня — «Гамлет», «Павшие», «Жизнь Галилея», «Антимиры», — и двадцать девятого апреля они с Мариной отправляются по проложенному в прошлом году маршруту. Помнится, в этот день уже въезжали в город Парижск — как его обзывают некоторые русские эмигранты. Всплыли в душе тогдашние тревоги, надежды... Населенные пункты Белоруссии уже напоминают о строках, начавших сочиняться на этом шоссе. Цикл «Из дорожного дневника» недавно передан Пете Вегину, он составитель альманаха «День поэзии» будущего года, очень надеется пробить стихи к тридцатилетию Победы.

Второй Париж оказался спасительным антрактом, необходимой паузой. Понятнее становится и язык, на котором говорит этот город, и стиль здешней жизни. При всей внешней оживленности французов между людьми всегда существует интервал, дистанция — как между автомобилями. Знакомство не обзывает к сближению, душу изливать друг другу не очень принято. Каждый занят собой и своими делами. Но, может быть, для длительной и масштабной работы эта прохладная атмосфера как раз и хороша? В музее Орсе он задумывается о том, как долго жили в большинстве своем прославленные импрессионисты, как основательно и целеустремленно раскрывали свои миры. Конечно, живопись — совсем другое дело, но все-таки...

Неожиданно его знакомят с русским художником Михаилом Шемякиным, три года назад уехавшим из Ленинграда, где ему городские власти перекрыли кислород. Длинный и худой, как журавль, постоянно облаченный в спецодежду собственного фасона: кепка с козырьком, куртка, высокие черные сапоги, — этот богемно-эксцентричный Шемякин оказывается удивительно контактным. Сразу вспоминает «Охоту на волков» и высказывается о ней нестандартно: «Это как картина, в которой есть всё. Классическая соразмерность». Недалеко от Лувра у Шемякина имеется мастерская, где он вместе с женой работает без остановки. Картины у него очень непривычные, похожие на него самого — большие, властные, но не подавляющие. Успевает много читать, вообще живет в мировой культуре. Противоречия между Россией и Западом для него вроде и не существует. Русскую душевную широту, считает, вполне можно совместить с европейским разумом.

Шемякин ко всему относится профессионально и делово. Даже питье у него словно подчиняется графику. Буквально после первой встречи с Высоцким он купил приличный магнитофон, чтобы увековечить песни нового друга. У него нет ни малейшего сомнения в том, что эти записи будут нужны людям через сто — двести лет. Как и его картины.

Бедные русские: их ставят все время перед неразрешимыми дилеммами, загоняют в щель между двумя жесткими вариантами. Там жить или здесь? И решение-то заранее проигрышное: либо ты нищий раб в Союзе, либо убогий, глухонемой беженец в чужой стране. У нас академик Сахаров сквозь вой глушилок говорит по «вражескому» радио о праве человека на

свободное передвижение по планете. Так его даже интеллигенция считает сумасшедшим: ишь чего захотел! Не хватит на всех валюты... А может, заработаем? Почему бы всем не повкалывать на совесть лет десять, а на одиннадцатый год, может, и деньги появятся. Здесь, конечно, о деньгах говорят и думают слишком много, но зато все обеспечены. Чуть-чуть потолковал с домработницей: она бывала и в Италии, и в Швеции, и даже в Сингапуре. Есть работа — есть деньги, хотя их всегда не хватает. Зато стимул постоянный, концентрация энергии. Около ювелирного магазина на бульваре Бон Нувель прислушался к разговору двух девушек. Одна, показывая на какую-то «бранзулетку» в витрине, темпераментно рассказывала подруге: мол, хочу заработать «аржан» и эту штуку — того, «ашете» — купить. А у нас такие же девушки тратят время и силы на то, чтобы за сережками в Столешниковом полдня в очереди отстоять. У нас не покупают, а «достают» — непереваемое ни на какие языки понятие.

Больше же всего его ошеломило, что приличные люди — не миллионеры, а просто многие из среднего класса — здесь обеспечены не до конца месяца, не до конца года, а пожизненно. Кто унаследовал состояние родителей, кто толково вложил свои средства в банк, и очень многие работают не ради куска хлеба, а для удовольствия и утверждения своей личности. Ну а чтобы народный любимец свой гонорар тайком в конвертике получал, рискуя судебным процессом, — этого не бывало ни с Брелем, ни с Брассансом.

Почему у нас в России какое-то болезненное отношение к самой проблеме благополучия? В стране, столько оравшей на весь мир о светлом будущем, никто, по сути, не верит в возможность нормальной человеческой жизни. А ведь у нас столько пространства, столько ресурсов — даже теперь, после того, как полсотни миллионов людей извели революциями и войнами. Живем скученно, в тесноте и обиде. Словно сбились все вместе в одну скособоленную избу с окнами, глядящими в темный овраг, — вот как выглядит наш расейский быт со стороны...

«Во хмелю слегка лесом правил я...» — крутится в голове, а правит он теперь (безо всякого хмеля — упаси боже!) бежевой лошадкой «БМВ-2500». Старушка «рено» отправлена на заслуженный отдых. В Москву он возвращается «какой-то не такой», как говорят ему друзья и коллеги. Появилось внутреннее спокойствие, даже умиротворенность. Надолго ли хватит?

Театр едет на гастроли в Набережные Челны — город, где производят могучие грузовики «КамАЗы». Спектакли идут, конечно, с аншлагом, и билеты продаются с рук с огромной переплатой — по-иному не бывает. А когда первый раз шли в гостиницу, по обеим сторонам улицы из окон магнитофоны гремели голосом Высоцкого. Может быть, кому-то такого шума хватило бы на всю оставшуюся жизнь. А он смотрит на это дело трезво. Народная любовь — штука хорошая, спору нет. Но она состоит из разных компонентов, тут и разум народный, и дурь определенная, и присущая толпе восторженность, которая на что угодно может быть обращена. В момент, когда тебе что-то диктует вдохновенье, ничьих мнений просто не существует — бери тетрадь и записывай... А в промежутках между озарениями все-таки думаешь еще об одной задаче — свои звуки, как говорил один товарищ, надлежит внести в мир.

Высоцкому всегда хотелось, чтобы каждому от него досталось по куску: рабочему, крестьянину, интеллигенту. Перед снобами никогда он не заискивал, но все же нужно получить подтверждение своих мыслей у людей образованных, искушенных в поэтических тонкостях, ценящих, как и он, ту же Ахмадулину. Прочитывают ли они в его песнях художественную сверхзадачу — или считают, что он грубоватым языком излагает очевидные истины? Все реже с ним говорят откровенно на эти темы люди своего круга, все отчетливее полоса отчуждения.

Город попросил Любимова дать помимо спектаклей еще концерт артистов прославленного театра. Оборудовали зал — мест на три тыщи, если не больше. Стали выходить таганские звезды. Демидова замечательно прочитала стихи Блока — вежливо ей похлопали. Следующий был номер — да не важно чей, но человека совершенно по-хамски согнали гулом и свистом со сцены. Это они ждут Высоцкого и от нетерпения способны на все. Собрался Смехов исполнять Маяковского — и опять нависла угроза обструкции. Высоцкого просто выносит на сцену, гнев его распирает, и он взглядом василиска в мгновение заставляет толпу онеметь.

— Если вы сейчас же не замолчите, я вас уважать не буду. Вы обидели не только моих друзей, но и артистов высочайшего класса.

Объяснил популярно, кто здесь кто. Поняли, успокоились. Выслушали и Смехова, и Золотухина. А он на эту публику всерьез рассердился: если вы любите Высоцкого, то зачем же его так подводите, ставите в дурацкое положение? Но, кажется, они это не со зла. Вышел уже с гитарой, осторожным жестом приостановил радостный шквал. Нет, это не массовое одурение, лица все-таки не фанатичные, достаточно осмысленные...

После всех записок, вопросов-ответов он выходит, преследуемый собирателями автографов, на свежий воздух. Садится в автобус — и вдруг поднимается в воздух. Что, мы в самолет по ошибке сели? Нет, это поклонники подняли автобус на руках. Ну, это можно, если вам так нравится: все же я в этом автобусе не один, а с товарищами.

Первого июля отправились на катере вниз по Каме — в Елабугу. Оплата проезда — натурой, то есть Высоцким. Еще у Пушкина описано такое распределение труда: «Нас было много на челне, иные парус напрягали... Та-та-та-та наш кормщик умный в молчанье правил грузный челн, а я — беспечной веры полн, — пловцам я пел...» Приплыли, вскарабкались на крутой берег, добрались до места, где Цветаева жила и где с жизнью рассталась.

Дом оказался наглухо закрытым, подались к соседке. От нее узнали, что дом переделан, что нет уже ни комнаты, в которой Цветаева с сыном Муром жила, ни пристройки, в которой «эта писательница» повесилась. Пристройка была низкая, и ей пришлось на колени стать. (Прощения у Бога просила — подумалось.) Тетка что-то еще плела про жареную картошку на сковородке, про запас крупы в шкафу. Все-то они со жратвой сравнивают, хотя при чем тут это: от голода с собой не кончают... А от чего все-таки? Сколько уж всего наговорено на тему самоубийства, сколько мифов и теорий нагорожено, а всякий раз начинаешь думать об этом как впервые...

Нет, хрен вам, пуля и петля! Никогда и ни за что! Это ему теперь стало окончательно ясно. Самоубийство — смерть разума, которую разлученная с ним душа вытерпеть не может. А он со своим разумом еще ни дня в разлуке не прожил. Все пока что всегда понимал трезво — как ни вызывающе это слово звучит применительно к его образу жизни. Если что не выдержит когда-то — так это душа, а души самоубийцами не бывают, они просто переходят в другое пространство.

Могилу Марины тогда в сорок первом потеряли, потом через двадцать с лишним лет памятник поставили там, где по интуиции указала сестра Анастасия. «Здесь, я чувю!» — старушка кричала. Правильно, что ее послушались. С душой поэта ведь можно говорить в любом месте, если проговоришь про себя несколько его строк: «Кто победил на площади — про то не думай и не ведай, в уединении груди — справляй и погребай победу уединения в груди. Уединение: уйди, жизнь!»

Из напитков ему здесь больше всего нравится кумыс — говорят, он даже с градусами! Ему достают его столько, что почти на всю труппу хватает. Люди здесь объявились такие — даже не назовешь их пошлым словом «поклонники», в общем, хорошо его понимающие. Работают на

КамаЗе, а читают побольше, чем московские задаваки. Ходили с коллегами в гости в одну такую семью — там на полке, рядом с книгами классиков, пленки с аккуратными надписями «Высоцкий» по краю коробки. «У нас все хорошо знают вашу поэзию», — спокойно так говорят, без подобострастия. Есть читатели, будет для них и книга когда-то.

Пожалуй, главное из того, что он написал на тридцать седьмом году жизни своей, — это «Погоня» и «Старый дом». Не просто цикл получился, а как бы маленькая поэма в двух частях — «Очи черные», и финал не только вторую песню завершает, но и замыкает кольцо:

...Сколько кануло, сколько схлынуло!  
Жизнь кидала меня — не докинула.  
Может, спел про вас неумело я,  
Очи черные, скатерть белая?!

Два образа России. В одиночку наш человек отчаянно смел — и от любых волков ускачет. А как сойдутся вместе, то — «скисли душами, опрыщавели», «испокону мы — в зле да шепоте». Получается, что зло у нас множится в коллективных формах, а добро всегда индивидуально. Во все времена.

Может быть, «Погоню» он спел в новом фильме Хейфица — «Единственная». Это по рассказу Павла Нилина с отличным названием «Дурь». И любовный треугольник там довольно необычный. Главного героя, шофера, играет Золотухин, его жену — Проклова. Ее героиня такая, как говорят в народе, «не б..., а честная давалка» — не может устоять перед личностью в штанах. И вот очередным ее предметом становится руководитель хорового кружка Борис Ильич, которому она после душевного разговора отдается. Высоцкому предложено этого провинциального неудачника сыграть, а если захочет — то и спеть. Предложение принято, а насчет песни — посмотрим.

На гастроли в Вильнюс труппа приехала поездом «Летува», а Высоцкий с Дыховичным и Золотухиным на «БМВ». «И какой же еврей не любит быстрой езды», — острил Золотухин, когда Дыховичный был за рулем. Переночевали в Минске. Ваня угощал жареными утками, подстреленными на «царской» охоте его тестем, членом Политбюро ЦК КПСС.

Началось все нормально, а потом навис очередной срыв. Разругался с Таней, потом просил у нее прощения на глазах у всех. А самого себя простить можно, увы, единственным способом...

Сутки проспал в номере. Машину Дыховичный перегнал в Москву, куда они уже потом вместе отправились поездом. Гастроли продолжают в Риге, но туда Высоцкий попадает не сразу. Опять в нем жизнь и смерть захотели помериться силами. Разум как будто скован, но все-таки цел и продолжает пассивное наблюдение за происходящим. Вот его несчастный владелец вырезает из себя «вшивку», вот он тем же ножом ударяет себя в грудь — но знает, что удар не смертелен. Дает Дыховичному себя скрутить и вызвать «скорую помощь», которая накладывает швы. Что потом? Пытается выброситься из окна, но чувствует, что притяжение жизни сильнее. Оказывается в Склифе, через сутки выписывается и едет не домой, а к Севе Абдулову на Немировича-Данченко, откуда его вновь везут в Склиф, предварительно вшив «эспераль» — прямо на столе.

Все-таки последние пять дней в Риге доиграл, а потом — в Ленинград, на весь октябрь. В самом начале месяца туда приходит известие о смерти Шукшина. Умер Вася в сорок пять лет, во время съемок помпезного фильма Бондарчука «Они сражались за Родину» — по одноименному недописанному роману Шолохова (не может дописать, потому что самому, наверное, противна эта никому не нужная тягомотина). Шукшин работал в начальственной картине в надежде получить добро на собственный фильм о

Разине, это была его заветная мечта. И вот — конец всем замыслам. Все конечно же принялись вспоминать, как в фильме «Калина красная» Шукшин свою смерть предсказал, хотя несколько месяцев назад эту картину дружно ругали за неестественность конфликта, за отсутствие живых характеров и натужную «чуйствительность».

Шукшина Высоцкий не видел уже несколько лет, профессиональное их сотрудничество когда-то свелось к доисторическим уже разговорам по поводу фильма «Живет такой парень» — лучшей, наверное, вещи Шукшина, куда тот даже попробовал Высоцкого на роль Пашки Колокольниковца, уже обещанную Куравлеву. Ранние песни Шукшин слушал на Большом Каретном — молча, без комментариев, а потом никак своего отношения к работе Высоцкого не обнаруживал. Но разве это важно сейчас? Мы всегда оставляем возможность встречи с человеком на потом, на перспективу, а потом — суп с котом. Не встретимся уже, не поговорим.

Рванул в Москву, успел на отпевание и на похороны. В актерской среде особенно ощутима театральность посмертного ритуала. Для многих это продолжение ярмарки тщеславия, повод выказать себя. Хотя видишь и искреннюю боль на некоторых лицах. Все в нас перемешано: не поймешь, где играем, а где живем и умираем. Артист — как ребенок: вот он залез на окно и грозит прыгнуть. Играет вроде и чуть ли не смеется. Но не удержишь — так он упадет же и разобьется до смерти.

Стоя у гроба, вдруг поймал себя на мысли, что приехал он как бы и на свою смерть со стороны взглянуть. Хоть и описал он уже все это в стихах с предельной точностью, а потянуло посмотреть, «как это делается». Нехорошо... Одно оправданье: быть может, после этой репетиции, этого учебного полета, скоро и нам отправляться в небеса...

Возвращался на машине и за семьдесят километров до Ленинграда перевернулся, как в кино. И, как каскадер на съемках, остался целехонек. Помятый бок машины знакомый мастер за два дня выровнял. Ох и задержал в последнее время раб божий Владимир Господа своего! Просился к нему, а тот его на место поставил: не пришла твоя очередь, поживи еще да помайся как следует!

И — давай пиши о впечатлениях, даром, что ли, катался туда-сюда?

Незадолго до отъезда из Питера побывали с Мариной у Федора Абрамова. Он подарил свою книгу «Последняя охота». А по возвращении в Москву узнали, что Гена Шпаликов повесился. Возраст — тридцать семь. Алкоголь — да. Публикации — нет, если не считать каких-то пустяков в песенниках. Народ поет дурными голосами «А я иду, шагаю по Москве...», не зная имени автора. Ушел в статусе сценариста, сейчас, может быть, начнут вынимать из стола стихи и печатать.

Эмоциональный фон — хуже не придумаешь. После отъезда Марины — еще одно погружение во тьму. В театре — рутинная работа. Любимов возобновил репетиции «Живого», хочет его все-таки сдать. А в качестве синицы в руках — «Пристегните ремни». Вся сцена — самолет изнутри, сидят там разные люди, вспоминают о войне, рассказывают о трудностях, с которыми в наше время сталкиваются строители... Поначалу у Высоцкого была роль Режиссера, выяснявшего отношения с Писателем (артист В. Золотухин), потом все перекроили. Смелость там была второй свежести, так и ее цензура урезала.

Но начало спектакля получается хорошее. Через весь зал проходит солдат, при полной выкладке, с автоматом за спиной, в руках гитара, как оружие. Его сразу узнают по голосу, и песню многие в зале давно помнят наизусть:

От границы мы Землю вертели назад —  
 Было дело сначала, —  
 Но обратно ее закрутил наш комбат,  
 Оттолкнувшись ногой от Урала.

Наконец-то нам дали приказ наступать,  
 Отбирать наши пяди и крохи, —  
 Но мы помним, как солнце отправилось вспять  
 И едва не зашло на востоке.

Мы не меряем Землю шагами,  
 Понапрасну цветы теребя, —  
 Мы толкаем ее сапогами —  
 От себя, от себя!

## ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ

Последнюю «фатальную цифру» отметил в дороге: накануне, двадцать четвертого января, отправились с Мариной из Москвы. А за два дня до отъезда у них была встреча с Демичевым. Петр Нилович принимает их по первому разряду — поит кофеем, расспрашивает о творческих планах, о погоде в Париже и прочих светских вещах. Потом велит секретарше соединить его с директором «Мелодии» и выражает искреннее недоумение в связи с тем, что до сих пор еще не выпущена пластинка Марины Влади и Владимира Высоцкого. Все разыграно по системе Станиславского, красиво и убедительно. Наверху звучит «да», а внизу потом все сводится на нет, причем без слов, втихую.

Грустное настроение передалось автомобилю, и его мотор заглох километров за двести до Бреста. Множество добрых людей пришло на помощь, но в импортной технике разобраться не смогли. Поляки — те честно отказались связываться с «БМВ». Только в Западном Берлине, в мастерской с теми же тремя буквами на вывеске, машину легко вернули к жизни.

Из впечатлений: в Варшаве у Вайды спектакль-премьеры «Жизнь Дантона», а на стыке Германии и Франции город Страсбург.

Третий Париж омрачен, даже отравлен историей с Игорем — старшим сыном Марины. Он в наркологической больнице, как и его неотлучный дружок Алекс. Долгие беседы с врачом, надменным и самоуверенным типом, поиски приемлемого для всех выхода из безвыходной ситуации.

Некоторое успокоение приносит вечер в ресторане «У Жана», где обосновался Алеша Дмитриевич — русский цыганский барон. Но душе тесновато, хочется совсем в другие места. Вот рассказали, что Андрею Донатовичу Синявскому будут вручать премию имени Даля. Подходящий повод увидеться с учителем десять лет спустя, посмотреть, какой он теперь. Но заявиться в малину реакционной эмиграции — это удовольствие может слишком дорого обойтись...

Все-таки рискнул. И Синявского поздравил, и со многими пообщался. Знакомили его с разными людьми. Тут у них большая русская литературная жизнь. Владимир Максимов с прошлого года издает журнал с красивым названием «Континент», в котором можно опубликоваться — если ты готов никогда не печататься в Союзе или вообще намерен «свалить». При этом никто силком в антисоветские объятия не тащит, все достаточно сдержанны. В общем, не зря сходил, почувствовал свою независимость, так сказать, с обеих сторон.

Но, как говорится в повести «Дубровский», на другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Уже по телетайпу передали, что на вручении премии Синявскому присутствовал лично товарищ Высоцкий. Как они все-таки, суки, оперативны. И уже звонки пошли от некоторых двусмысленных личностей, с провокационными вопросами типа «Ты из повиновения вышел?». «Я в нем и не был» — единственный тут возможный ответ, но противно, когда цитатами из Высоцкого сыплют люди, никогда не бывшие его друзьями, а сейчас пытающиеся сделать на нем свой маленький бизнес. Может быть, прямо с телефона на магнитофон записывают.

А у него и у Марины это все вызывает нервозность еще и потому, что виза-то оформлена на тридцать дней, и вскоре предстоит обращаться к со-



ветскому послу Червоненко с просьбой о продлении. Свободу передвижения «туда и обратно» приходится отстаивать шаг за шагом, по сантиметру, а некоторым мелким людям — что там, что здесь — очень приятно было бы полюбоваться, как он ступит не туда — и упадет, пропадет...

Примерно две недели он вел дневник, описав в нем дорогу до Парижа и первые французские впечатления. Делал это, в общем, для себя, но и не без оглядки некоторой: вдруг получится проза, вдруг вырулит перо с дневниковой тропинки на дорогу большого романа...

Перечитал — и страшно огорчился. Так все плоско, одномерно — никакой объемности. И слишком серьезно — о тех бытовых мелочах и невзгодах, которые привык шутя воспринимать. А ведь вроде искренне писал, стремясь к точности и конкретности. Но для себя как читателя не воскресил только что происшедшее, при перечитывании заново его не пережил. В чем же дело?

Писать для себя и писать для читателя — совершенно разные вещи. Дневник — это не литература, это психотерапевтическое средство, способ самолечения, зализывания ран. Жалобы никто слушать не любит, а бумага все стерпит. Вот и он излил на нее только тревогу, досаду, недовольство, раздражение по большим и малым поводам. Все значительное, все, ради чего живешь, остается между строк. Ну, например: «Я послал 3 баллады Сергею и замучился с 4-й о любви. Сегодня, кажется, добил». Имеется в виду Сергей Тарасов и его фильм «Стрелы Робин Гуда», для которого сочиняются песни-баллады. Написано уклончиво, как бы в маске затраханного профессионала, уставшего от объятий музыки. А как было на самом деле?

Сидишь, грызешь карандаш, коришь себя за беспомощность, униженно сравниваешь свои потуги с творчеством великих: Пастернак — тот писал по-настоящему, а я... Пора бросить это дело и замолчать навеки. И вот когда ты уже пал в собственных глазах ниже некуда — вдруг набегают откуда ни возьмись волна и тащит...

Когда вода Всемирного потопа  
Вернулась вновь в границы берегов,  
Из пены уходящего потока  
На сушу тихо выбралась Любовь —  
И растворилась в воздухе до срока,  
А срока было сорок сороков...

А после этого рокотанья вдруг выливается припев без единого «р», с мягким «эль» и распевом гласных. Сплошное «у» — как губы, вытянутые для поцелуя:

Я поля влюбленным постелю-у-у —  
Пу-усть пою-ут во сне и наяву-у!..  
Я дышу, и значит — я люблю-у!  
Я люблю, и значит — я живу!

Оказывается, может голос Высоцкого быть безукоризненно нежным! Хотя чистая творческая радость и длилась меньше секунды. Для нее нет ни слов, ни тем более фраз. Она попала в пробел. Да, как правильно сказано у Бориса Леонидовича, «надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях». Прозу лучше писать не о себе — не на «я», а на «он». «Я» — первая буква в алфавите поэзии, там ей самое место, и честное песенное слово никакие дневники не заменят.

Первая в жизни переправа через Ла-Манш. Англия — это за граница за границы. Теперь уже Франция кажется своей и домашней. В отличие от насквозь зрелищного Парижа, Лондон — город закрытый и непостижи-

мый. Чуть выйдешь за пределы традиционно туристского пространства — и тебя окружит суровый мрак. Сколько здесь мрачных серых и желтых домов, похожих на наши Бутырки, а между тем это все солидные бизнес-здания или отели высокого класса.

Уютная столичная суета ощущается только на обставленной магазинами Оксфорд-стрит. Улица узкая, и, сидя в двухэтажном автобусе, невольно удивляешься мастерству водителей: как это они ухитряются провести свои громоздкие дома на колесах, никого не задев? Арабов и африканцев еще больше, чем в Париже, но только здесь у них в лицах нечто птичье, задумчивое — в отличие от оживленной мимики афро-азиатских парижан. Понятно: язык влияет. И все они себя англичанами чувствуют, чего не скажешь, к примеру, о кавказцах в Москве — они у нас чужие, «чучмеки», и потому из чувства уязвленной амбиции стремятся доказать свое превосходство. А здесь господствует спокойное равенство — наверное, в глубине есть какие-то расовые противоречия, но они вежливостью надежно окутаны.

Откуда берется знаменитый английский юмор? Никто вокруг не смеется и даже не улыбается. Наверное, он в них где-то очень глубоко сидит. Эти мысли возникают по поводу «Алисы в Стране чудес» — работа над пластинкой тянется уже два с половиной года, а Муза никак по-настоящему не посетит. Когда Олег Герасимов позвал его писать песни для этой сказки, он согласился, что называется, не глядя, прочитав же сказку, сразу решил отказаться: там какие-то вторые, третьи смыслы, как говорят советские цензоры — «неконтролируемый подтекст». Сквозь перевод в глубину не продерешься — надо понимать язык оригинала, а еще лучше — родиться англичанином. Но Герасимов все же уговорил его, к тому же Марина когда-то играла Алису во французской радиопостановке. До сих пор нет, однако, уверенности, что получится. Русский смех прочно связан с сатирой, с социальной критикой. Мы с нашими Гоголем и Щедриным бичуем «недостатки» исходя из какой-то нормы, какого-то идеала, считая, что мы знаем, «как надо». А Кэрролл вышучивает само устройство мира, видит «сдвинутость» буквально во всем...

Стал высматривать на улицах, в магазинах и ресторанах «живую натуру» — людей, похожих на персонажей «Алисы». В том числе и тех, кого он придумал сам. Разбитные Робин Гусь и Орленок Эд встретились довольно скоро, около какого-то паба. На Кэрролла пробовал нескольких джентльменов, но в лицах у них чего-то не хватало — парадоксальности, что ли. Наконец в магазине «Фортнум энд Мэйсон» на Пикадилли, где он жадно взирал на разноцветные банки с чаем, попался на глаза один художавый человек с глубоко посаженными грустными глазами. Вот этого утверждаю на роль Кэрролла, он же Птица Додо! Грустный англичанин в этот момент вдруг улыбнулся краешками губ.

Натуральную Алису углядеть среди здешней детворы он и не пытался, скорее во взрослых особах искал нечто «Алисье»: доверчивость и любопытство. Все эти физиогномические игры помогли настроиться на нужную волну. Конечно, хорошо бы родной язык Кэрролла освоить, но времени нет на это, будем изобретать для нашей сказки особую речь — не английскую, не совсем русскую, а «высоцкую»...

В Лондоне встречались с Олегом Халимоновым и его женой Вероникой. Олег работает в международной конторе по защите моря от загрязнения. Его коллеги, узнав, что Высоцкий здесь, уговорили выступить в советском посольстве. Там, конечно, места всем не хватило, и потом пел еще дома у Халимоновых, где ближайшие его товарищи собрались.

В апреле — круиз по маршруту Генуя — Касабланка — Канары — Мадейра и посещение Мексики. Разнообразие впечатлений — на уровне чистой детской радости. Только на таком просторе мог родиться отчаянный

Попугай (для той же «Алисы»), щеголяющий раскатистым «р» и в своих мечтах побывавший уже на всех континентах:

Я Индию видел, Китай и Ирак.  
Я — инди-и-видум — не попка-дурак.  
(Так думают только одни дикари.)  
Карамба! Коррида! И — черт побери!

## СОВСЕМ ДРУГОЙ ТЕАТР

Любимова итальянцы позвали ставить оперу в миланской «Ла Скала» — как говорится, от таких предложений не отказываются. И вот по случаю отъезда он позвал сделать что-нибудь на Таганке Анатолия Эфроса. Тот выбрал «Вишневый сад». Об этом велись разговоры давно, и намекалось, что Лопахиным будет Высоцкий, но пока он путешествовал, начались репетиции. С Шаповаловым. Надо посмотреть, что там такое происходит.

Прошел незаметно в неосвещенный зал, устроился в одном из последних рядов. Может, сзади и не так красиво, но — намного шире кругозор... Так что же мы видим на сцене? Режиссер расхаживает по ней с актерами и наговаривает текст. То с одним прогуляется, то с другим... Ничему не учит, ничего не требует, а просто выхаживает с ними их роли таким способом. Вот это да! Неужели можно так просто и так нежно осуществлять эту мужественную функцию? Потом режиссер приступил к замечаниям. Буквально — что заметил, тем и поделился, спокойно, без резкостей, глядя куда-то в пространство. А пространство-то его слушало внимательнейшим образом, усваивая каждое слово... Пора выходить из тени. «Ах, это вы, Володя!..» — «Да, Анатолий Васильевич, с корабля на бал...»

Бал закрутился стремительно. Чехов неожиданно оказался переводимым на таганский язык. У него в тексте много слоев, там и проза есть, и поэзия. И для некоторого брехтовского «очуждения» обнаружились ресурсы, можно и без зонгов обойтись. Эфрос выделил куски, монологи, которые произносятся Демидовой — Раневской, Лопахиным — Высоцким, Золотухиным — Петей Трофимовым в зал, почти с выходом из образа. На общем достоверно-психологическом фоне это производит потрясающий эффект. Так называемая «четвертая стена» время от времени открывается, а потом закрывается вновь. Получается замечательная мешанина из «мхатства» (не нынешнего, а давнишнего, настоящего) и «любимовщины» самого первого сорта. Это Высоцкому — просто маслом по сердцу, именно этого ему всю таганскую жизнь так не хватало. Его личная стратегия в искусстве — всегда тащить сразу две линии, переплетая их между собою. Думал, что в «Гамлете» этого он добился полностью, а может быть, и нет, еще один горизонт впереди открывается.

Есть роли, в которых задана духовная вертикаль, и в таких случаях актеру надо только тянуться, упираться изо всех сил, чтобы решить свою задачу. Таковы для него были Галилей и Гамлет (в кино, увы, пока не довелось вершин штурмовать). А есть роли, куда надо чего-то своего крупно добавить. Таков Лопахин. Чехов задал нам в нем некоторую загадку, задачу, допускающую несколько решений. Почему это у него тонкие, нежные пальцы, как у артиста? Почему он не просто мужлан и мурло, какими, судя по всему, были в большинстве своем купцы такого среднего класса?

Эфрос предложил актерам вообразить, что все персонажи — дети, бегающие по заминированному полю, а Лопахин — единственный взрослый, рассказывающий им об этой опасности, безуспешно зывающий к осторожности. Этим режиссер, конечно, выдвинул Лопахина в великаны, нашел обоснование для избыточного темперамента исполнителя. А психологическая достоверность достигается вполне традиционным решением: Ло-

пахин влюблен в Раневскую с тех самых пор, когда он был мальчиком, а она барышней. «Любовь Андреевна — молоденькая, худенькая...» — как произнес Высоцкий эти слова с мужественной, только ему доступной нежностью — так и пошло-поехало. Демидова откликнулась — глубоко и пронзительно, вызвав у него абсолютно искреннее восхищение. Да, она играет здесь лучше всех.

Много чего делалось за эти одиннадцать лет на таганской сцене. Здесь пели, кричали, выделывали невероятные кульбиты, стояли на голове, маршировали, палили из огнестрельного оружия... А вот была ли любовь на сцене у Любимова? Оставим этот вопрос историкам театра. Эфрос, во всяком случае, ее контрабандой пронес — и что-то здесь переменялось, сдвинулось. Но как же все-таки быть с покупкой Лопахиным вишневого сада? Тут, как ни крути, лирика кончается. «Вишневый сад теперь мой!» — и начинается бешеная пляска, экстаз, демонстрация душевной изнанки. Чисто театрально это все можно истолковать: контраст, перепад от лиризма к сарказму — и прочие эстетические штучки. А вот как самому себе это объяснить — чтобы органично существовать в роли до конца?

Ясно, что Лопахин перегнул палку в утолении инстинкта собственника. Но как Высоцкому-то проникнуться этим ощущением? Что такое деньги — он по-настоящему не знает, поскольку подолгу с ними не живет. Даже автомобили свои бережет скверно, а недвижимостью пока никакой не обзавелся. Нужен, нужен эквивалент страсти. Каким таким вишневым садом хотелось бы ему самому обладать?

Успех — вот, наверное, возможный ответ. Человек пишущий и играющий не может не желать успеха, тут полное бескорыстие было бы противоестественным. Желание успеха помогает нам вынимать из душевных глубин полезные ископаемые. А что, если это желание выпустить из себя в его полном объеме, без сдерживающих пружин? Представить, как тебе вдруг все пошло навстречу — печатают каждую твою букву, дают играть все, что захочешь, говорят и пишут о тебе без конца... А ты хочешь еще и еще: хвалите, восхищайтесь, преклоняйтесь! В художнике живут одновременно ребенок и зверь. Ребенок творит бескорыстно, играючи, а зверь для осуществления своих творческих appetitов кушает всех, кто рядом. Может быть, даже жалеет их, но поглощает неумолимо. Как сам Высоцкий — с чьей-то точки зрения — скушал Шапена, хотя это и способствовало повышению питательности спектакля в целом. Ни у кого нет сомнения, что Высоцкий играет эту роль лучше, но чтобы *так* сыграть, нужен был тот победительный и беспощадный азарт, с которым он на роль накинулся.

Перенес эти «предлагаемые обстоятельства» в монолог Лопахина в третьем акте. Получилось ошеломляюще и жутковато вместе с тем. Зверское упоение, а потом — стыд, раскаяние, когда он в своей бешеной пляске перед Раневской на коленях оказывается. Демидова потом сравнила эту сцену с его лучшими песнями...

Да, пришел, увидел, победил... Между первой репетицией и премьерой — шестого июля — прошло чуть более месяца. Любимов просто возненавидел и спектакль этот, и режиссера. Широкая у шефа натура: не только Моцарт в нем живет, но и небольшой Сальери где-то в уголке души угнездился. Однако все-таки не стал вырубать «Вишневый сад» из репертуара, а чтобы душу отвести, начал выступать против «звездной болезни» у актеров. Эфрос, конечно, в этом повинен — умеет звезды зажигать.

А вот Шаповалов ситуацию пережил болезненно. Всех оповестил, как перед сдачей спектакля пришел на примерку в мастерские Большого театра, а там говорят, что костюм Лопахина сшит на Высоцкого. Мягкий и интеллигентный Эфрос не сказал вовремя, что Шаповалова держит в качестве второго. Тот — и его можно понять — заявил: «Не надейтесь, что буду у вас играть, когда Володя уедет в Париж».

В труппе, в «коллективе», постепенно сгущается неприязнь к одному чересчур заблиставшему товарищу. Все ему позволено — по Парижам и по Италиям разъезжать, а потом по возвращении отхватывать лучшие роли. Срывать спектакли в родном театре и аплодисменты на персональных концертах. Одним все, другим ничего... Песня старая как мир, но оттого не менее угрожающая.

Все-таки вера не утрачена, все-таки он в эту жизнь штопором ввинтился, и уже что-то вокруг него затевается интересное и нестандартное. Александр Митта, с которым они уже столько лет дружат, задумал «под Высоцкого» фильм о царе и поэте, как бы о первом русском интеллигенте, «черной овечке» в варварском окружении. И сценарий Дунский с Фридом написали с такой установкой — «Арап Петра Великого». Недописанный роман Пушкина — здесь только повод, трамплин. Собственно, можно в «арапе» самого Пушкина сыграть, в сопоставлении с Петром Первым... Не обошлось, естественно, без трудностей с утверждением на роль. Начальство стало требовать натурального эфиопа, режиссеру пришлось даже для блезиру снять пробы с двумя африканцами и их отбраковать. Возникла также идея совместного с американцами фильма — при условии, что главную роль исполнит чернокожий актер. Отбились и от этого. Высоцкого достаточно чернили на его профессиональном пути, так что к этой роли он готов — и внутренне, и наружно. Съемки начинаются в июле в Юрмале, куда он приезжает с Мариной после короткого пребывания в гостях у Говорухина под Одессой.

Выходит наконец «День поэзии-1975», но радости приносит мало. В результате опубликована ровно одна вещь — «Ожидание длилось...», к тому же в последний момент подлая начальница по фамилии Карпова резанула оттуда две строфы. После такого длительного ожидания увидеть в печатном шрифте треть своего триптиха, да еще с увечьями... Вегину он, конечно, сказал только добрые слова: «Старик, здорово размочили! И славно, что мы с тобой рядом напечатаны!» Но неуютно как-то почувствовал себя в стихотворной «братской могиле», где все лежат в алфавитном порядке. Люди могут просто не догадаться, что это «тот самый Высоцкий». Подумают, какой-нибудь однофамилец, — и даже не прочтут.

А в «Авроре» дело ограничилось публикацией дружеского шаржа на Высоцкого. Подборка стихов, правленная, исчерканная, с дурацкими замечаниями на полях, отправлена в корзину. Хотя, может быть, кто-то ее прибережет на будущее — потом отдаст в музей. Про Цветаеву рассказывают, что, когда она в Союз вернулась, вокруг нее вились коллекционеры ее рукописных автографов — люди грамотные и культурные хорошо понимали значение этих бумажек. Еще она много и нервно говорила о поэзии, о музыке, обо всем на свете — часто совершенно случайным собеседникам, и те просто неловко себя чувствовали: такой роскошный монолог звучит, запомнить невозможно, пропадают такие слова... Не было тогда у людей магнитофонов — теперь все-таки меньше потери на переправе через Лету...

Первая, кажется, большая «персональная» статья вышла о Высоцком. В сборнике «Актеры советского кино» о нем написала дама по имени Рубанова. Сносно, в общем, но эти критики так нечувствительны к слову, что, как говорил товарищ Чацкий, «не поздоровится от этаких похвал»:

«Высоцкому не дано того, что называют абсолютным обаянием. В его артистическом облике вызов и сознательное стремление жить в роли наперекор принятому представлению о привлекательности. Это и вообще характерная черта для актеров Театра на Таганке — А. Демидовой, В. Золотухина, З. Славинной. В Высоцком она усилена индивидуальным природным „вопрекизмом“».

Ну как вот это перевести на простой русский язык? Что Высоцкий и его товарищи по театру — вообще-то уроды, но своей игрой они доказывают, что быть красивыми не обязательно? Нет? А что тогда? И зачем придумывать какие-то дурацкие «вопрекизмы»? Нормальный читатель увидит начало абзаца: «Высоцкому не дано...» — и сразу споткнется. А, ладно. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Только бы равнодушием где-то разжиться, хоть самую малость...

В Риге записал баллады для «Стрел Робин Гуда». Колоссально понравилось себе самому, ну просто, как говорят руководители нашей страны, — чувство глубокого удовлетворения (по-брежневски, как будто камни пережевывая и с этим южным «г» — «глубокого»). Не первый ли признак маразма — такое самоупоение, а? Да нет, просто баллады эти написаны на выдохе — может быть, он десять лет воздуху в легкие для них набирал. Высказался прямой речью наконец — как говорится, без позы и маски. Только «Песня о вольных стрелках» — условная, ролевая, что ли. А остальные — без игрового раздвоения, без намеков и подтекстов. И без иронии смог обойтись, даже, пожалуй, здесь есть какая-то антиирония: отважная прямота, как ударом меча, крушит иронические ухмылки, голову любому цинизму отрубает:

Чистоту, простоту мы у древних берем,  
Саги, сказки — из прошлого ташим, —  
Потому что добро остается добром —  
В прошлом, будущем и настоящем!

Все мы люди слабые, дряни в нас предостаточно. Для того чтобы всегда жить достойно, не хватает элементарных сил. Но когда-то надо выпрямиться во весь рост и без приторного пафоса выложить основные свои принципы: что ты можешь сказать о добре и зле, любви и ненависти. И вот — получилось. Даже если кто-то никогда не слышал о Высоцком, он может по пяти балладам судить теперь о нем. Не нравится — не берите, но я именно так. И есть в моей стране десятки, если не сотни тысяч людей, которые в этих балладах увидят свое кредо и под каждым словом подпишутся. И случай такой, что фигура автора, его мимика и прочее для этих текстов не нужны. Именно поющий голос за кадром — подходящая форма существования. Но вместит ли фильм этот напор? Опять тревога и противное ощущение собственной беспомощности.

«Курица не птица, Болгария не заграница». Так говорят аристократы, избалованные множеством заграничных поездок. Не в презрительном смысле, а потому что Болгария — страна, первая по потенциальной доступности для русских. Ведь только в порядке особого исключения можно с первого раза в капиталистическую Францию въехать. Существует иерархия, согласно которой человека сначала проверяют на идейно-политическую стойкость посещением соцстраны. Болгария в этом ряду — самая социалистическая и самая дружественная. А для крамольной Таганки гастроль в Болгарии — первый шаг в Европу, очень важный. Ну и время подходящее — сентябрь, бархатный сезон.

В аэропорту встречают журналисты с телекамерами, сразу просят сказать что-то в микрофон, а моторы еще не умолкли. Только Высоцкий в состоянии перекричать их: «Тепло, тепло! И в воздухе, и в душах». Приехали с «Гамлетом», у знаменитого занавеса это тоже первый зарубежный вояж. О «Гамлете» потом много говорили с Любеном Георгиевым для телевидения — большая получилась передача. Кстати, перед исполнением «Братских могил» Любен прочитал недавно опубликованный перевод на болгарский.

То же телевидение затеяло на фирме «Балкантон» запись для большого диска. Одной гитары тут мало. Позвал Шаповалова и Межевича помочь

с аккомпанементом. Приехали, без репетиций, без единого дубля записали пятнадцать песен с небольшим авторским комментарием. Шапен дал, как это только он умеет, мощный ритм, в «Моей цыганской» все верхушки сыграл. Ну, и Межевич сделал всякие украшения. Из новых записали «Всю войну под завязку...» и «Я вчера закончил ковку». Есть там и «Тот, который не стрелял», и «Песня микрофона», и «Иноходец»... Осталось только проверить на собственном опыте твердость болгарской цензуры...

## КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Квартирный вопрос в нашей стране всегда исполнен особой важности и напряженности. По мнению булгаковского Воланда, многих москвичей он испортил. Ох уж эта борьба за квадратные метры, эти многолетние очереди, интриги, семейные драмы. Западным людям этого никогда не понять — они часто не знают своего метража, а некоторые могут даже ошибиться насчет количества комнат. У нас же цифра метража — это коэффициент оценки личности, не менее важный, чем ставка зарплаты. Обладателя трехкомнатной квартиры никак не спутаешь с жильцом комнаты в коммуналке — у них и осанка разная, и выражение лица.

В возрасте тридцати семи лет Высоцкий наконец достиг высокого титула «ответственный квартиросъемщик», получив ключи от трехкомнатной квартиры номер тридцать на восьмом этаже нового дома номер двадцать восемь по Малой Грузинской. Дом кооперативный, населенный художниками, у некоторых есть мастерские на самом верху, а также «искусствоведомы в штатском». На первом этаже — выставочный зал.

С новосельем пришлось повременить: гастроли в Ростове, по возвращении — почечный приступ и несколько дней в Институте имени Вишневского. Но вот наконец перевезли туда мебель, которой, конечно, оказалось слишком мало для новых владений. Проявив деловитость, хозяин квартиры находит каких-то шустрых солдатиков, которые за несколько часов изготавливают для кухни стол и две большие лавки. А для кабинета он им заказывает полки — из самых толстых досок, чтобы не прогибались под книгами. Вынули с Ваней Бортником все книжки из картонных коробок, расставили. Ну вот, можно начинать новую, счастливую жизнь.

У Рембрандта есть «Автопортрет с Саскией» — веселенькая такая картинка. Были бы у Высоцкого дома палитра и мольберт, он так же бы изобразил автопортрет с Мариной. Но самому осваивать искусство живописи недосуг, заказать некому (не Глазунову же — пусть тот лучше рисует Брежнева с Индирой Ганди на коленях!). Воспользуемся предложением самого модного сейчас фотохудожника — Валерия Плотникова. Некоторые говорят, что его работы слишком статичны. Но именно статика нам и нужна, к динамике будем стремиться на киноэкране. А тут бы — поймать и остановить мгновенье.

Они получились в этом кадре почти такими, какими были восемь лет назад, а точнее — вне времени. Оба молодые, в джинсах. У Марины — улыбка и рука, покоящаяся на его колене. У него — длинные волосы, опущенные для «Арапа», но аккуратно уложенные. По горизонтали — гитара, как линия жизни. Сам он так здорово развернут вертикально, приподнят над землей. И никаких нервов, никаких драм... Останемся для людей такими, пусть *им* будет хорошо...

В большой комнате повесил карту мира, хорошую такую, с прочным целлофановым покрытием. Еще в Париже купил кнопок с разноцветными пластмассовыми шляпками и начал отмечать ими те города и страны, в которых за последние неполных три года довелось побывать. Польша, Гер-

мания, Франция, Англия, Югославия, Венгрия, Болгария, Италия, Испания, Марокко, остров Мадейра, Канарские острова, Мексика... Неплохо. Северная Америка пока не освоена — ничего, доберемся.

Со «Стрелами Робин Гуда» подтвердились худшие опасения: ни одна стрела не долетела до цели. Мол, картина приключенческая, не вписываются в нее серьезные баллады... И как издевательский намек — выходит рекламно-коммерческий фильм «Знаки Зодиака», где благополучно звучит совершенно проходная песня Высоцкого об этих самых знаках. Там задача была предельно простая: перечислить все двенадцать созвездий плюс обыграть как-то тему ювелирных изделий. Сочинил без труда: «Он эти созвездия с неба достал, оправил он их в драгоценный металл...» А по поводу предшествующего текста, где изголодавшийся Лев глядит на Овена, а к Близнецам Девы руки воздели и прочее, один человек ему так задумчиво сказал: «Слушай! Пушкин на эту твою песню давно сочинил пародию...» — «Какую?» — «Смешалось все под нашим Зодиаком. Стал Козерогом Лев, а Дева стала Раком». Тут уж крыть нечем, у Пушкина и короче, и остроумнее.

Но случай этот мелкий как эксперимент показателен: халтура никого не смущает, а честная, вдохновенная работа оказывается в результате не нужной...

Началась запись для «Алисы». Досочинил несколько песен в срочном порядке, выматывая жилы. И когда все сложилось вместе, он эту работу полюбил. Бывает и такое: едешь на чьем-то буксире, а потом так разгонишься... Теперь он себя чувствует автором этого спектакля — не меньшим, чем Кэрролл и Герасимов. И ему очень безразлично, кто и как там будет петь. Попугая и орленка Эда он зарезервировал для себя. Кэрролла поет Сева Абдулов. Долго искали Алису — наконец нашли Клару Румянову, ту, которая Заяц в мультфильме «Ну, погоди!». Вещь получается ни на что не похожая: английская эксцентричность полностью прижилась на русско-советской почве. «Много неясного в странной стране...» Да каждая страна по-своему странна. Что касается нас, то нам больше всего мешает склонность к заведомо нереальным целям — со времен Петра Первого, а то и более ранних задолженность накопилась:

Мы неточный план браним, и  
Он ползет по швам — там-тирам...  
Дорогие вы мои,  
Планы выполнимые,  
Рядом с вами мнимые —  
пунктиром...

Есть вопросы, стоящие абсолютно одинаково для англичанина и русского, для богача и бедняка. Каждому из нас дана порция времени, которую мы не умеем оценить и расходует бестолково. А это приводит к порче единого, вечного Времени с большой буквы. Когда-то эти вопросы обсуждали самые большие мудрецы, Платоны в своих Грециях. А потом люди стали стесняться высоких материй, и для предельно серьезных разговоров осталось только детское сказочное пространство:

Но... плохо за часами наблюдали  
счастливые,  
И нарочно время замедляли  
трусливые,  
Торопили Время, понукали  
крикливые,  
Без причины время убивали  
ленивые.

С какого-то момента Высоцкому понятно стало, что он к этому большому Времени приобщился. Связь скорее болезненная, чем приятная. По-



нятно, что песни переживут его самого — иначе и писать не стоило бы. Бессмертие — не такой уж редкий удел. Особенно это заметно на примере детских писателей. Детишкам совершенно безразлично, жив или нет автор «Золушки» или там «Мухи-Цокотухи». Но помимо творческих, профессиональных задач существует диалог со временем, который ведет всякий мыслящий человек:

Смажь колеса Времени —  
 Не для первой премии, —  
 Ему ведь очень больно от трения.  
 Обижать не следует Время, —  
 Плохо и тоскливо жить без Времени.

И чтобы собеседников своих в простых и вечных истинах убедить, он сам в это время перевоплотился, хоть и не от первого лица песня написана. И боль от трения он, живущий по воле судьбы именно здесь и теперь, ощутил вполне. Вот куда неожиданно завела детская пластинка.

### ДРУЗЬЯ И ДРУЖБА

«Что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделья или покровительства позор».

Это невеселое определение дал Пушкин, которого вопрос о дружбе занимал всю жизнь. Говорят, слово «друг» в его произведениях встречается чуть ли не семьсот раз, ну это вместе с письмами и т. д. Для Высоцкого это тоже важное слово, и проблема им от Пушкина унаследована в полном объеме. Как классик наш верил в лицейское братство и девятнадцатого октября честно вспоминал товарищей по Царскому Селу, так и Высоцкий старается отстоять идею дружбы в своем диалоге с неуклонно расширяющейся аудиторией. Все чаще он рассказывает о том, как появились его первые песни, о Большом Каретном, и это становится уже устойчивой устной новеллой:

«Мне казалось, что я пишу для очень маленького круга — человек пять-шесть — своих близких друзей и так оно будет всю жизнь. Это были люди весьма достойные, компания была прекрасная... Я никогда не рассчитывал на большие аудитории — ни на залы, ни на дворцы, ни на стадионы, — а только на эту небольшую компанию самых близких мне людей. Я думал, что это так и останется. Может быть, эти песни и стали известны из-за того, что в них есть вот этот дружеский настрой...» Он уже убедил в этом и себя, и сотни тысяч людей, переписывающих эти слова с магнитофона на магнитофон. Слушатели Высоцкого давно усвоили, что его рассказы — не просто заполнение паузы в перерыве между песнями и называемые здесь имена навсегда увековечены. Кочарян, Макаров, Акимов — это звучит теперь, как Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер. Если и преувеличена слегка роль Шукшина и Тарковского в истории Большого Каретного — так не для собственного же тщеславия, а для полноты и внушительности общей картины: какие люди там бывали!

Вернемся все-таки к поставленному Пушкиным вопросу: что есть дружба? «Легкий пыл похмелья» — это у нас в далеком прошлом, теперь о легкости и речи быть не может: если опять начнется это безрадостное дело, то уж не до дружбы будет. «Обиды вольной разговор» — это нам знакомо, в среде артистической неизбежных разговоров почти и не бывает. «Обмен тщеславия, безделья» — стараюсь в этом участия не принимать, что, кстати, неминуемо ведет к изоляции. «Покровительства позор» — тут Бог миловал: хоть и приходилось иногда петь в присутствии высокопоставленных особ — дружбы с ними не сложилось. Хотя столько ходит слухов, и песни порой слишком буквально понимают: мол, Высоцкого к себе

звуют большие люди, чтоб он им пел «Охоту на волков». Ну, во-первых, это художественный вымысел, а не репортаж с места события. А во-вторых, и в-главных, нет в стране такого большого человека, чтобы мог смело покровительствовать — это вам не в царской России. Случалось ведь петь в доме Галины Брежневой, папаша которой в это время лежал в больничной палате и в телефонную трубку слушал голос Высоцкого. Трогательный факт, конечно, но что он меняет в жизни? Даже Брежнев не может разрешить Высоцкого — ему Сулов не позволит. Система устроена таким образом, что «первый» контролируется и блокируется «вторым»...

Пушкин недаром выговорил в горькую минуту эти четыре беспощадные строки о дружбе — в конечном счете его вера в друзей оказалась иллюзией. В последний год никто не заботился о нем настолько, чтобы уберечь от дуэли, от поединка со смертью, выступившей под псевдонимом Дантес. Не было рядом равного человека. Не обязательно равного по таланту — жизнь к поэзии не сводится, — а по жизненной силе. Такая витальность зашкаливала всех, с кем сводила его судьба.

За границей в этом отношении проще, они называют «друзьями» всех подряд — знакомых, приятелей, коллег и партнеров. Слово «друг» у них — знак вежливости, не более. У нас же «дружба» означает нечто святое, это понятие прямо-таки религиозное. А где религия, культ, там неизбежное противоречие между словом и делом.

Если считать по-иностранному, то у Высоцкого друзей не меньше тысячи — все, с кем есть общие дела, кто приглашает его в разные города, кто собирает его записи. А считай по-нашему — так получится совсем немного, почти ничего.

В театре и в кино — дружба дружбой, а служба службой. С Миттой вот как уж дружили, сколько Новых годов вместе встретили, а на съемочной площадке все разлаживается. Начали делать один фильм, а теперь получается совсем другой, и название поменяли — появилась в нем лубочная пошлость: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Теперь Высоцкий после Петра и после запятой. Что говорить, Алексей Петренко, конечно, мужик фактурный, но почему бы тогда не снять с ним чистого Петра, без нас с арапом и с Пушкиным? Эта подлая советская иерархия во все проникает: царь вроде генерального секретаря и должен везде быть первым, а интеллигент может быть только безответным придурком, которого все, кому не лень, унижают. А мечталось, что творческая личность у нас на равных с властью предстанет. В жизни подобного еще не было, так хотя бы на экране...

Ну и опять с песнями... Ни «Купола», ни «Разбойничья» в фильм не попадают. Митта говорит, что песни выносят наружу весь наш замысел, что мы с ними будем беззащитны перед редакторскими претензиями. Хорошо, от редакторов замысел мы скроем, но ведь и от зрителей тоже! Для чего тогда огород городить? Зачем тогда работать вообще?

Друга Золотухина тем временем толкают в Гамлеты. Шеф прямо ему сказал: «С господином Высоцким я работать больше не могу». Да, «господин» — это впервые. У Любимова был целый спектр способов называния, иногда в пределах одной репетиции. Сначала «Володя» или даже «Володенька», потом: «Владимир, ну что ты...», потом: «Владимир Семенович, так нельзя...», наконец, в третьем лице, апеллируя к другим артистам: «Скажите товарищу Высоцкому, что...» Теперь Высоцкий уже и не товарищ... «Господин» — это значит: катись в свой Париж или еще подальше.

С Валерой довольно нервно поговорили. Ехали от театра в машине, и, миновав площадь Ногина, Высоцкий тормознул: «Если ты сыграешь Гамлета, я уйду из театра». Говорил ему еще: для меня самое главное в жиз-

ни — друзья, дружба. А потом, вспоминая эту сцену, самокритично подумал: почему ради дружбы на жертвы должна идти только одна сторона? Тоже не совсем честно получается...

А дружба с поэтами? Снаружи все нормально, а как дойдет до самых главных дел, начинается: ну зачем тебе этот Союз писателей говенный, зачем тебе, такому независимому, подчиняться какой-то сволочи? Мало тебе твоей фантастической известности, всенародной славы? Книжку твою если даже выпустят, то в таком кастрированном виде, что сам себя не узнаешь. Зачем, мол, тебе становиться начинающим поэтом? Ты же теперь совершенно легально можешь выступать и через общество «Знание», и через общество книголюбов...

Трогательна эта забота о репутации Высоцкого. Уж в начинающие-то он никак не попадет, читатели его стаж и выслугу лет хорошо помнят! Это ведь как защита диссертации: у одного она поздно состоялась потому, что он слабак и серость, а у другого — потому, что его за научную смелость тормозили. И хоть научные степени у бездарей и талантов называются одинаково, толковый народ понимает разницу.

Вроде и помогают друзья-поэты, куда-то носят его стихи, с кем-то из начальства беседуют. Но не идут на рискованные обострения, потому что считают литературные заботы Высоцкого блажью. Не чувствуют, что у него внутри творится. Разорвет его критическая масса написанного за пятнадцать лет, разнесет в клочки! Чем больше перепад между реальной известностью и официальным непризнанием, тем страшнее давление внутри души. Это природа, физика, и никакие разумные успокаивающие речи тут не помогут...

Эта проклятая слава разлучает буквально со всеми. Как знакома ему холодная маска, вдруг возникающая на лицах даже близких людей! «Только не подумай, что я тебе завидую», — и от этого банального, совершенно одинакового у всех секундного мимического паралича рушится все, что когда-то объединяло с людьми, радовало, давало силы жить и работать.

### ВАДИМ ТУМАНОВ

Их познакомил один товарищ из Магадана, потом встретились в какой-то компании. Туманов организовал старательскую артель в Сибири: моют мужики золотишко, и нет у них там ни начальников, ни подчиненных. И в московской среде тоже этот человек держится со всеми на равных: цепкий взгляд, глуховатый голос, невозмутимая интонация. В общем, сошлись сразу. А потом уже Высоцкий узнал подробности биографии нового друга: в сорок восьмом году, будучи молодым штурманом на Дальнем Востоке, схлопотал 58-ю статью, пункт 10 — «антисоветская агитация и пропаганда» — за недобрительные высказывания о Маяковском, за чтение Есенина и за большую любовь к Вертинскому, сорок пластинок которого были конфискованы у Туманова при обыске. (Господи, где еще, в какой стране такой ценой платят за свободу эстетического вкуса!) Из лагерей Туманов бежал семь (прописью!) раз и при этом непостижимым образом остался жив. Освободился в пятьдесят шестом. При таких анкетных данных отношение человека к песням Высоцкого вычислить нетрудно — самое прямое.

Ерунда, что друзья приобретаются лишь в детстве и в юности. Может быть, уже проскочив все фатальные даты и цифры, ты только и начинаешь понимать, чувствовать *разность* и *равенство* — два необходимых условия подлинной дружбы.

Равенство — это не одинаковость. Недаром близнецы редко дружат и стараются вместе не показываться — если не эксплуатируют свою похо-

жесть, работая в цирке. Много есть видов ложного равенства: одноклассники, однокурсники и прочее. Причем люди почему-то стесняются сами себе признаться, что не так уж сильна близость, создаваемая обстоятельствами. Ну и что с того, что вместе учились, жили в одном дворе, да хоть и работали вместе в одном учреждении! В глубине души, на подсознательном уровне каждый хочет отличиться от себе подобных, проявиться как личность, а не как частичка, крупница. Отсюда — потребность в непохожести, в разности, к дружбе с совсем другими, чем ты, людьми. Может быть, и внутри любви иногда содержится дружба: мужчина и женщина быть одинаковыми не могут по законам природы — стало быть, для зависти и ненависти меньше поводов и оснований. Если на то пошло, Марина все эти годы была ему еще и настоящим другом — на одной любви они бы далеко не уехали и так долго вместе не пробыли бы.

С Вадимом у Высоцкого и разница есть в одиннадцать лет, и равенство — в бесстрашии перед судьбой. Оба, по сути, *старатели*, вложившие себя в работу со всеми потрохами — так, что уже поздно выгадывать, высчитывать другие варианты судьбы. Туманов реально испытал то, о чем Высоцкий уже написал, — по интуиции, за счет воображения. Редкая возможность проверки и подтверждения искусства — жизнью. Вадим, в свою очередь, из тех людей, которые испытывают непритворную психологическую потребность в искусстве — не для развлечения, не для престижа. Короче, близкие по духу люди могут долгое время жить параллельно и встретиться в возрасте вполне зрелом. «Не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей...» — сказано давно и без особой задней мысли, а теперь вот подтверждается.

Как-то они сидят на Малой Грузинской около телевизора, в котором политический обозреватель Юрий Жуков что-то врет, изображая чтение «писем трудящихся». И откуда таких выкапывают? Вдруг Высоцкому приходит идея, чтобы каждый написал список из ста самых ненавистных людей. Разошлись по разным комнатам. У Высоцкого список минут через сорок готов, он уже торопит Вадима: «Скоро ты?»

Сравнили: процентов на семьдесят списки совпали. Первая четверка одинаковая: Гитлер, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун. Причем Мао оказался у обоих четвертым, а «пьедалстал почета» слегка расходится. Попали в общий список и Фидель Кастро, и Ким Ир Сен — словом, вся история двадцатого века в лицах. Ну и столетие нам досталось: все герои — отрицательные! И что занятно — и у Высоцкого, и у Туманова под четырнадцатым номером оказался певец Дин Рид. После таких совпадений и группу крови проверять не надо — она общая. Только с Вадимом он смог поделиться мучительными мыслями о невыносимо двусмысленном своем положении в мире поэзии, неудовлетворенностью контактами с Вознесенским и Евтушенко. «Они меня считают чистильщиком», — вырвалось вдруг. Туманов не переспросил, что имеется в виду, да и сам Высоцкий, честно говоря, не очень понимал, что хотел обозначить этим небрежным словечком. Но надо, просто необходимо, чтобы кто-то понимал тебя и вне слова, без слов.

## ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Это медицинское выражение давно засело у него в сознании: жужжит, как муха, накручивая на себя ритм и сюжет. Сколько времени провел Высоцкий в больницах! Сколько всяких мучительных процедур над ним проделали! Честное слово, к перечню его ролей в театре и кино надлежит добавить еще роль Пациента в театре жизни. Кто-то ему сказал, что «пациент» — по-латыни означает «страдающий», и в этом есть момент истины. Вроде бы добровольно поступаешь в медицинское учреждение, иногда

тебя по знакомству, по благу пристраивают. А ощущаешь себя там как узник, как жертва, во врачах и персонале видишь палачей и инквизиторов.

Лежу на сгибе бытия,  
На полдороге к бездне, —  
И вся история моя —  
История болезни.

Из этой строфы-зерна на сгибе семьдесят пятого — семьдесят шестого годов разворачивается песенная трилогия. Может быть, это даже поэма — только о публикации даже думать не приходится. Да и непонятно, где и кому можно спеть полностью такое сочинение. Получилось не «ад-чистилище-рай», а сплошной ад в трех видах. Первая часть — медицинский осмотр:

Я взят в тиски, я в клещи взят —  
По мне елозят, егозят,  
Всё вызнать, выведать хотят,  
      Всё пробуют на ощупь, —  
Тут не пройдут и пять минут,  
Как душу вынут, изомнут,  
Всю испоганят, изорвут,  
      Ужмут и прополошут.

Во второй песне описан прием у психиатра. Эта сцена решена в шутейном, комическом ключе:

«Доктор, мы здесь с глазу на глаз —  
Отвечай же мне, будь скор:  
Или будет мне диагноз,  
Или будет приговор?»  
.....  
И нависло острие,  
И пожилась бумага, —  
Доктор действовал во благо,  
Жалко — благо не мое...

За такие шуточки, впрочем, срок полагается. И напророчить себе беду, сделать сказку былью можно запросто. Будь ты хоть трижды Высоцкий, а интеллигентный психиатр, если ему дадут указание, оформит тебе положенный диагноз, а потом придет домой, нальет рюмочку и, включив магнитофон, прослушает соответствующую песню с большим удовольствием и пониманием. И никак он не согласится с авторской оговоркой: «Эти строки не про вас, а про других врачей». Твоими же словами из более ранней песни, уже перешедшей в ранг неофициальной классики, ответит: «Это ж про меня, про нас про всех, какие, к черту, волки!» И с чего это некоторые доброжелатели решили, что хорошее знание творчества Высоцкого во властных кругах сулит какие-то выгоды или хотя бы поправки автору? Хватит, насочинял достаточно, можно уже дать ему какое-нибудь успокоительное, чтобы утих окончательно.

Об этом — третья песня, где от имени беспощадно-циничного врача подводится безнадежный философский итог:

Вы огорчаться не должны —  
Для вас покой полезней, —  
Ведь вся история страны —  
История болезни.

У человечества всего —  
То колики, то рези, —  
И вся история его —  
История болезни.

Живет больное все бодрей,  
Все злей и бесполезней —  
И наслаждается своей  
Историей болезни...

Всю трилогию показал пока только Вадиму, а на публику еще не выносил. И не только из соображений осторожности. В Институте хирургии имени Вишневского попробовал было завести разговор, прочитал четыре строки «Лежу на сгибе бытия...», посмотрел на доброжелательные, но слегка озадаченные лица (все-таки люди привыкли с Высоцким вместе смеяться, а не плакать) — и оборвал себя: ладно, кроме истории болезни есть еще и история здоровья. И концерт пошел своим чередом. Наверное, все-таки не стоит нагружать людей неразрешимыми проблемами.

Но сколько ни переводи свои недуги в символический план, организм твой подчиняется вполне земным, физическим законам. Удары сыплются с неизменным постоянством, и защиты нет от них никакой. Одной истории с «Мистером Мак-Кинли» достаточно, чтобы в гроб вогнать даже абсолютно здорового человека. Пригласили в фильм ни много ни мало — в качестве Автора. Билл Сиггер гуляет в кадре, поет баллады, а на их фоне какой-то там сюжетик развивается с Банионисом и прочими. Ну, автор и постарался, сочинил свой «фильм в фильме». «Мистерия Хиппи» — это целая сжатая опера. Сукин сын Ермаш, номенклатурный шкода, именно эту оперу первым делом и порубил. Больно даже вспоминать эти девять баллад, из которых в картину вошли только подсокращенные «Манекены» и «Уход в рай». Куда теперь девать свои ампутированные органы?

Все труднее находить способы подзаправиться новой энергией. Народная любовь, живая реакция аудитории — источник мощный, без него бы Высоцкий давно сгорел, испепелил себя дотла, но только этого источника мало. Это не жадность, не зазнайство какое-то. Просто энергия, полученная из зала, из искренних признаний слушателей и собирателей песен, — она вся тут же уходит на новую работу, для себя, для чистого эгоистического удовольствия ничего урвать не удастся.

То же с дружескими связями. Не умеет он близкими людьми питаться, односторонне их использовать. Так уж он устроен: сколько взял — столько тут же и отдал. Семьи в нормальном смысле слова Бог не дал. «Мы бездомны, бесчинны, бессемейны, нищи» — это Блок и о нем сказал.

Женщины? Нет уже того азарта, чтобы их добиваться, а они — народ чуткий, мгновенно реагируют на недостаток искреннего к ним внимания. «Нет, ты представляешь, у них теперь мода такая — не дать самому Высоцкому» — это бонмо он отпустил недавно и повторяет время от времени в мужских разговорах. Но про себя-то понимает, что с этих — пусть порой довольно милых — дурочек, очарованных его славой, и взять особенно нечего... Да и по природе своей он не донжуан-потребитель, а скорее отчаянно-жертвенный Дон Гуан. Если еще и блеснет любовь улыбкою прощальной, то шаги Командора достигнут неминуемо...

В общем, все меньше остается в жизни того, что помогает не умирать. И новую энергию удается извлечь только путем саморазрушения. Во время адских почечных болей прошлой осенью кто-то (не будем уточнять, кто именно) предложил Высоцкому попробовать амфитамины — стимуляторы такие, спортсмены к ним прибегают иногда. Настоящим наркотиком это даже не считается. От болей помогло, а потом оказалось, что и зеленого змия можно такой инъекцией выгонять... Нет, все в рамках разумного. Читали мы Булгакова рассказ — «Морфий», написанный, надо полагать, на основе собственного опыта. Не стал же Михаил Афанасьевич наркоманом, взял себя в руки. А тут даже не о морфии речь, а о медикаменте практически безобидном...

## ОТ БОДАЙБО ДО МОНРЕАЛЯ

И опять от всего помогает отвлечься очередное путешествие. Первого апреля они с Мариной отправляются по накатанному маршруту. На этот

раз почему-то в глаза бросается обилие бездомных собак — сугубо отечественная особенность, зарубежные псины все в ошейниках и при хозяевах:

Едешь хозяином ты вдоль земли —  
Скажем, в Великие Луки, —  
А под колеса снуют кобели  
И попадаютсу суки.

Их на дороге размазавши в слизь,  
Что вы за чушь создадите?  
Вы поощряете сюрреализм,  
Милый товарищ водитель.

От этих злых, усталых строк воображение сворачивает совсем в другую сторону, и «собачья» тема довольно скоро обретет иное решение:

Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену,  
Со мною пес — Судьба моя, беспомощна, больна, —  
Я гнал ее камнями, но жметса пес к колену —  
Глядит, глаза навывкате, и с языка — слюна.

В Минске встретились с Алесем Адамовичем, получили от него в подарок «Хатынскую повесть». Тоже человеку несладко: войну с цензурой ведет постоянную, и побед в ней не больше, чем потерь.

В Кёльне, как водится, изучали знаменитый собор снаружи и изнутри, удивляясь, как он уцелел во время бомбежек: после войны почти весь город отстраивался заново. Отправили Нине Максимовне довольно веселую открытку, где после вежливых Марининых фраз он приписал: «Мамуля! Мы тут обнаглели и шпарим по-немецки — я помню только одну фразу и везде ее употребляю. Целую. Вова».

После Парижа — снова Мадейра, Канары, Португалия, Марокко. Все замечательно, но «в соответствии с Положением о въезде в СССР и выезде из СССР, утвержденным постановлением Совета Министров от 22.09.1970 г. № 801, въезд в развивающиеся и капиталистические страны разрешается один раз в год». Есть еще планы на это лето. Пустят ли?

В Москву вернулись на новом «Мерседесе-350», голубой металлик. Говорят, такая модель в образцовом коммунистическом городе имеется еще у двух автолюбителей — шахматного чемпиона Анатолия Карпова и генсека Брежнева. По возвращении закончил дела с «Арапом»: что получилось, то и получилось. Попробовался на роль Пугачева. Фильм будет ставить Алексей Салтыков по сценарию Эдика Володарского. Хотят Марину пригласить на Екатерину Вторую. Мечтать пока в этой стране не запрещено...

А теперь — на восток. С сыном Вадима прилетели в Иркутск, где устроили Высоцкому прием с пышными гостями, но начался вдруг такой тошнотворный барственно-советский разговор, что пришлось сказаться больным и удалиться, не спев ни песни. В провинции тоже встречается всякое. Вот был у военных, на танке даже покатался, а потом подходит один офицер и, взяв за рукав, начинает прорабатывать: «Стране нужны совсем другие песни... Ваше, с позволения сказать, творчество...» Или в бодайбинском аэропорту, когда он сидел, набрасывая строки «Мы говорим не штóрмы, а штормá...» (это для фильма «Ветер надежды» Одесской студии, а куда денешься?), подошли трое патлатых и подвыпивших, суют гитару с наклейками из голых баб и просят обслужить. Чуть-чуть дело до драки не дошло...

Но, конечно, не этим Сибирь запомнилась. У Байкала постоял, вспоминая Вампилова, почти ровесника своего, ушедшего четыре года назад. Оказывается, не утонул он, а от сердечного приступа умер, не дойдя нескольких шагов до берега. Осталась потрясающая пьеса «Утиная охота»,

ждушая смельчаков, которые возьмутся ее ставить. Проезжая мимо станции Зима, сфотографировался на память о городке, который подарил России Евгения Евтушенко — при всем его пижонстве он все-таки поэт, а Вадим его еще и человеком считает. На прииске Хомолхо потрогал рукой вскрытую бульдозером вечную мерзлоту: по острой грани бытие движется, живое и мертвое рядом... А когда ехали поездом на Бирюсу, он, взяв гитару, начал в купе тихо напевать, и проводница изумилась: «Прям совсем как Высоцкий!»

На приисках у Вадима народ замечательный. Лица кирзовые, а души шелковые. Есть разговорчивые, но больше молчаливых. И от тех и других успел набраться — на месяцы вперед. В Хомолхо начало концерта долго откладывалось: столовая всех, естественно, не вместила, пришлось выставлять рамы из окон. Перед ним то и дело извинялись, а он одно отвечал, спокойно, без пафоса: «Эти люди нужны мне больше, чем я им».

Вторая поездка во Францию далась не без труда: сначала в ОВИРе написали стандартный отказ, но посоветовали обжаловать решение в МВД, что и было сделано. Кажется, были еще и звонки «значительных лиц». В общем, начальник главного, союзного ОВИРа Обидин, вопреки фамилии своей, на письмо Высоцкого начертал совсем не обидную резолюцию, попросив московское ведомство «внимательно рассмотреть просьбу заявителя». Отпустили, взыскав за визу 271 рубль.

В Париж прибыли самолетом, а через несколько дней — в Монреаль, где в самом разгаре Олимпийские игры. Остановились в доме Марининой подруги Дианы Дюфрен. Буквально в первый вечер натолкнулись в городе на двух знаменитых футболистов — Блохина и Буряка. В прошлом году Высоцкий выступил перед нашей сборной на подмосковной базе, после чего она выиграла какой-то товарищеский матч. На этот раз команда лавров не стяжала, и ребята явно подавлены. Привели их к себе, а когда они обмолвились, что у Буряка завтра день рождения, — с удовольствием напел им на кассету несколько вещей. Здесь, естественно, присутствует целая «группа поддержки» из советских эстрадных артистов. На следующий день Лев Лещенко пытается пригласить Высоцкого спеть перед матчем наших с немцами, но спортивный министр Павлов не позволяет.

Сделана запись на студии «RCA»: там и старые песни, и новые, в том числе «Купола» и «Разбойничья». Обещают выпустить диск. А после короткого знакомства с Нью-Йорком — вновь Париж и там основательная работа на студии «Le Chant du Monde», с ансамблем Константина Казанского. Уже не терпится подержать в руках свою полноценную, большую и твердую пластинку, а то советские гибкие «миньоны» смотрятся жалкой подачкой. Народ их, конечно, покупает, и даже журнал «Кругозор» с дыркой посередине, где две баллады из «Мак-Кинли» опубликованы, имеет хождение у коллекционеров, но конкурировать с сотнями тысяч самодельных магнитофонных записей эта мелочевка никак не может.

А еще позвонил эмигрант Миша Аллен, который пять-шесть лет назад опубликовал в здешних журналах свои переводы песен Высоцкого на английский язык. Здорово!

По прибытии в Москву Высоцкий относит в ОВИР бумагу с признанием в самовольном посещении Канады и США — в связи с работой жены в этих странах. Вроде бы никаких негативных последствий это не вызвало.

А девятого сентября Таганка отправляется в Югославию на десятый, юбилейный БИТЕФ — Белградский интернациональный театральный фестиваль. Привезли «Гамлета», «Десять дней» и «Зори здесь тихие». Югославию недаром считают страной не совсем социалистической: никакого бардака, культура организации — высочайшая. У нас бы всяких прихлеба-



телей сотни три суеилось, а тут буквально несколько человек все устраивают, сочетая по несколько функций: он и шофер, и администратор, и переводчик со всех языков. Прямо как мы по несколько ролей в спектакле ташим. Играли то в Белграде, то в Загребе, то в Сараеве — тоже, наверное, не случайно: ведь когда артисты в поезде ночуют, им гостиница не нужна. Во всем мудрый расчет.

«Гамлет» занял первое место. Точнее, поделил его со спектаклем Питера Брука «Племя Ик» и с мюзиклом «Эйнштейн на пляже» американца Уилсона. Но первым все-таки при объявлении победителей был назван Любимов.

Потом две недели гастролей в Будапеште. Шефу стукнуло пятьдесят девять — Высоцкий с Бортником зачитали ему приветствие, заканчивающееся словами «Ваня. Вова». Коллективу, однако, не по душе и то, что два артиста так заружились, и то, что к престолу они оказались приближены. Почему Любимов с ними за обедом сидит, почему меня не в той же, что их, гостинице поселили, ну и так далее. «Царство Вовки и Бортняги» — кто-то уже прокомментировал злобно. Странное дело! Поговоришь с каждым по отдельности — не видно, где в нем эта злость. А когда они втихомолку злословят, то как будто выделяют из себя нечто липкое, и эта гадость людей между собой склеивает гораздо крепче, чем высокие цели и помыслы.

Дружественность — это не норма, не правило, как думали мы в юные годы, — это скорее исключение и редкая роскошь. Так почему бы не радоваться каждому просвету взаимной доброжелательности на общем фоне будничной, сумрачной вражды? Любимов сейчас потеплел к Высоцкому по одной простой, но неожиданной причине. Шеф вступил во вторую (или третью — историки разберутся) молодость — влюбился в мадьярку, переводчицу по имени Катарина. По слухам, она дочь здешнего правителя Яноша Кадара. Все таганцы насупились: а как же, мол, Целиковская и вообще моральный облик режиссера? И только Высоцкий по-мужски понял шефа, нуждающегося в поддержке. Дело даже не в советах по поводу ухаживания за иностранками, выбора ресторанов и прочего — это все скорее шуточный треп. «Она хороший человек» — вот главное, что было сказано, а большего и не надо. И ничего другого, кстати, влюбленному человеку не стоит говорить — что в пятьдесят девять лет, что в девятнадцать. Законы порядочности предельно просты, сложны только способы оправдания ее отсутствия.

Марина приехала сюда сниматься в фильме Марты Месарош «Их — двое». У нее тут главная роль, а по случаю приезда Высоцкого в сценарий добавили эпизод, где героиня встречается с неким мужчиной. Продолжительный поцелуй увенчал эту сцену.



---

---

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ

\*

## ЯГОДНЫЙ ДОЖДЬ

Так вот во что створожилась любовь

*Так вот во что — створожилась любовь:  
сначала ела, пела, говорила,  
потом, как рыба снулая, застыла,  
а раньше — как животное рвалося.*

А кто-нибудь — проснется поутру,  
как яблоня — в неистовом цветенье,  
с одним сплошным, цветным стихтвореньем,  
с огромным стихтворением — во рту.

И мы — проснемся, на чужих руках,  
и быть желанными друг другу покланемся,  
и — как влюбленные — в последний раз упремся —  
цветочным ржаньем — в собственных гробах.

И я — проснусь, я все ж таки проснусь,  
цветным чудовищем, конем твоим железным,  
и даже там, где рваться бесполезно,  
я все равно — в который раз — рванусь.

Как все, как все — неоспоримой кровью,  
как все — своих не зная берегов,  
сырой землю и земной любовью,  
как яблоня — набитый до краев.

\* \*  
\*

*За нестерпимый блеск чужого бытия,  
за кость мою, не ставшую сиренью,  
из силы — славы —  
слабости — забвенья,  
за вас за всех — я голосую: за.*

Так пусть же будет жизнь благословенна:  
как свежемытая рубашка — на ветру,  
как эта девочка — которая нетленна,  
как эти мальчики, которые — в цвету.

Когда мы все — как школьники вставали  
в восторге, в дружбе, в бешенстве, в любви,  
мы тоже ничего не обещали  
и тоже дали больше, чем могли.

---

Воденников Дмитрий Борисович родился в 1968 году. Закончил Московский Государственный педагогический институт. Автор трех книг стихов, лауреат сетевого литературного конкурса «Улов» (2001). В течение длительного времени работает на «Радио России», автор передачи «Своя колокольня», посвященной современной литературе. Живет в Москве.

Из всех смертей, от всех земных насилий,  
двумя подошвами, сведенными в одну,  
*мы* были — этим бешенством, *мы* — были  
сырой сиренью, прыгнувшей — в весну.

О, знал бы я, как жизнь самозабвенно  
всей свежесмытой рубашкой на плацу,  
всей этой веткой — с переполненной сиренью,  
меня — за все это — ударит по лицу.

Но я хочу, я *требую* — чтоб следом  
за мной, наевшимся, мной, благодарным, — шли,  
вы, сделавшие нас — *своей победой*,  
вы — даже не хлебнувшие — земли.

Из всех смертей, от всех земных насилий,  
двумя подошвами, цветущими во тьму,  
одним неопытным, одним мужским усилием  
вы тоже, тоже — прыгнете — в весну.

*И пусть тогда* — как все, нарядным тленом  
я стану сам — в сиреневом ряду,  
но эта девочка *останется* — нетленна,  
а эти мальчики — *живыми* — и в цвету.

\* \*  
\*

*Эти ягоды слаще, чем все поцелуи твои,  
и твои, и твои, и твои.  
Ну и хватит об этом,  
Дай мне ягоду эту — в твоей и моей крови.  
Слаще ягоды этой — поганой — на свете нету.*

Я с детства сладок был настолько, что меня  
от самого себя, как от вина, тошнило,  
а это — просто бог кусал меня,  
а это — просто жизнь со мной дружила.

Уже — всей сладостью, всей горечью — тогда  
я понимал, что я никем не буду,  
а этой мелочью, снимаемой с куста,  
а этой формой *самого* куста,  
а этой ягодой блаженной — буду, буду.

Цветочным грузом — в чьих-нибудь руках,  
отягощенный нежностью и силой,  
я утром просыпался в синяках,  
но это бог — жевал меня впотьмах,  
но это просто — жизнь меня любила.

Так — в лихорадках каждого куста,  
обсыпанного розовой сыпью,  
я узнавал и вспоминал себя:  
*ты* — заразил меня, *ты* — наказал меня,  
*ты* — этой мелочью бессмысленной — рассыпал.

Я знаю, что я временно живу,  
но ради этих — белых, синих, алых,  
так мало давших сердцу и уму, —  
о нет, пожалуйста, не начинай сначала.

Пусть *эта книга*, пусть — *она* — стоит,  
вся в горьких ягодах, вся в вмятинах уродства,  
смотри, смотри — она сейчас прольется  
прощальным ливнем ягод и обид.

О, дай же мне — таким же светлым днем  
всей этой сладостью и горечью напиться,  
стать этой гущей ягод — а потом  
перевалиться на твою страницу  
цветочным ливнем, ягодным дождем.

И больше — *никогда* — не повторится.  
*Нигде — ни с кем — никак — не повторится,*  
*ни там, ни здесь,*  
*ни дальше — ни потом.*

### Прощаясь — грубо, длительно, с любовью

*Ну что — опять?  
(в последний раз?) — цветком горячим в мыле,  
как лошадь загнанная, вздрагивать во сне? —  
да все всё поняли уже, всё — уяснили,  
а ты — всё о себе да о себе.*

Будь — навсегда — цветком горячим в мыле,  
будь — этой лошастью, запрыгнувшей в себя,  
тогда своей рукой,  
своей ладонью сильной  
мне легче будет *вытянуть* — тебя.

Да, сладко жить, да, страшно жить, да, трудно,  
но *ты зажмуришься*:  
в прощальной синеве  
сирень и яблоня, обнявшиеся крупно,  
как я, заступятся за младшего — в тебе.

И родина придет с тобой прощаться,  
цветочным запахом нахлынув на тебя.  
Я столько раз не мог с земли подняться,  
что, разумеется, она *уже* — моя.

*Я говорю — а мне никто не верит,  
так сколько — остается —  
нам вдвоем  
еще стоять — в моем — тупом сиротстве,  
в благоуханном одиночестве — твоём?*

Прощаясь — грубо, с нежностью, с любовью,  
я не унижу, Господи, Тебя  
ни этим «всё», ни этим «нет — довольно».  
Я — тот цветок, которому не больно.  
Я — эта лошадь, Господи, Твоя.

Я *обязательно* оставлю все, как было,  
 чтобы Тебе — в конце — на склоне дня —  
 Тебе — *твоей* рукой,  
*твоей* ладонью — мыльной —  
 сподручней было бы *вытягивать* — меня.

И очень может быть —  
*не письменным и устным* —  
 но, может быть, ты вытянешь меня  
*совсем другим* — не ярким и не вкусным,  
 и все поверят мне, и все — простят меня.

А может быть (при всем моем желанье),  
 всем корнем — зацепившийся опять —  
 я *захлебнусь* — своим прощальным ржаньем,  
 я тоже — не умею — умирать.

Но в этот краткий миг,  
 за этот взрыв минутный  
 (так одинок, что некому отдать  
 все прозвища, названья, клички, буквы) —  
 я *все скажу*, что я хотел сказать.

Спасибо, Господи, за яблоню — уверен:  
 из всех стихотворений и людей  
 (ну, за единственным, пожалуй, исключением) —  
 меня никто не прижимал сильнее.

*Зато — с другим рывком,  
 в блаженном издыханье,  
 все потеряв, что можно потерять:  
 пол, имя, возраст, родину, сознание, —  
 я все — забыл, что я хотел сказать.*

И мне не нужно знать  
 (но за какие муки,  
 но за какие силы и слова!) —  
*откуда* — этот свет, летящий прямо в руки,  
*весь этот свет* — летящий *прямо* в руки,  
 вся эта яблоня, вся эта — синева...



ГЕОРГИЙ ХАЗАГЕРОВ



## ПЕРСОНОСФЕРА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

### Два свойства персоносферы

**И**дея персоносферы возникла как естественное продолжение мысли академика Д. С. Лихачева о концептосфере русского языка. Она лежит в русле общих представлений об объективности идеального, посетивших наши палестины, как только отпала необходимость присягать на «Материализме и эмпириокритицизме». Очевидное соображение о том, что мысли и представления других людей существуют для нас так же объективно, как предметы материального мира, внезапно сделалось в нашей филологии легальным. И сразу же появилась возможность говорить о «небе идей», языковой картине мира, гумбольдтианстве, потебнианстве и даже о мнениях, правящих миром (в безгумбольдтианской терминологии — мифологемах). Этим немедленно воспользовалась наиболее культурная часть нашей гуманитарной среды, а также чуткая к новациям научная молодежь. На этой волне, в частности, вышел и словарь академика Ю. С. Степанова «Концепты русской культуры». Мысль о том, что концепты образуют в национальном сознании свой собственный мир и что любая концептуализация должна с этим миром так или иначе считаться, стала для современного русского интеллектуала общим местом.

Что же такое персоносфера? Это сфера персоналий, образов, сфера литературных, исторических, фольклорных, религиозных персонажей. И в этом смысле можно говорить не только о национальной персоносфере, но и о персоносфере отдельного человека, персоносфере социальной группы, о транснациональной персоносфере, свойственной тому или иному культурному ареалу, и даже о персоносфере всего человечества. Однако, поскольку значительная часть персонажей «говорящая», интереснее всего именно национальная персоносфера, в которой инациональные и транснациональные персонажи (библейские, античные) воспринимаются сквозь призму национального языка.

Обитатели персоносферы русской культуры говорят по-русски, а иногда и по-церковнославянски. Правда, на ее билингвистической периферии отдельные зарубежные персонажи изъясняются по-немецки, по-французски, по-английски, по-итальянски и на разных других языках. (Я назвал европейские языки в порядке убывания глубины контакта с нашей культурой.) Но в центре персоносферы те же персонажи говорят сугубо по-русски: Цезарь — «Пришел, увидел, победил»; Лютер — «На том стою»; Генрих IV — «Париж стоит мессы».

Персоносфера — живое, одушевленное население планеты концептов. Она находится с этой планетой в таких же отношениях, в каких биосфера — с геосферой. В качестве ноосферы, наверное, можно рассматривать «говорящую» часть персоносферы. Конечно же все это не более чем уподобления. Реально же персоносферу от концептосферы отличают два фундаментальных свойства,

---

Хазагеров Георгий Георгиевич — филолог. Родился в 1949 году в Ростове-на-Дону. Закончил Ростовский университет, где в настоящее время является профессором. В Москве — сотрудник Института национальной модели экономики. Публиковался в научной прессе, в журналах «Знамя», «Человек» и др. В «Новом мире» печатается впервые.

первое из которых достаточно очевидно, а второе требует специального разъяснения.

Первое свойство (есть резоны назвать его диалогизацией) состоит в том, что объекты персоносферы — это лица, личности. Отсюда проистекает возможность сопоставления себя с ними, возможность сопереживания, подражания, в частности, копирования речевых манер; возможность помещения себя в мир персоносферы, моделирования своего поведения в этом мире.

Второе свойство можно понять, обратившись к явлению, которое в поэтике и риторике называется антономасией. Оно состоит в том, что о ревнивце мы говорим: «Отелло!», бескорыстного идеалиста называем Дон Кихотом, а силача — Ильей Муромцем. Интересно же вот что. Любой продвинутый школьник помнит, что «Отелло» Шекспира — это трагедия обманутого доверия, а не ревности. Мы, однако, интуитивно чувствуем, что «неправильное», упрощенное понимание образа мавра не только не мешает нам в повседневном языковом общении, но, пожалуй, и способствует этому общению. И так обстоят дела не только с маврами. Невинный басенный Заяц, один из низовых жителей персоносферы, как известно, труслив и бесправен. Однако поведение реального зайца не столь однозначно: что хорошо видно хотя бы из рассказов писателей-натуралистов: он и труслив и храбр одновременно. Похоже обстоит дело и с народами мира. Каждый видит собственную сложность и противоречивость, а в других, особенно малоизвестных, замечает только их басенные качества; тут достаточно задуматься над словом «вандал», обозначавшим реальный народ.

Как относиться к рассматриваемому свойству персоносферы (резонно назвать его метафоричностью)? Очевидно, как к полезному. Сказав «Иванов поступил как заяц», мы ясно охарактеризуем поступок Иванова. Семиотическая прелесть басенного зверя в том, что он прост. А прост он исключительно потому, что далек от нас. Метафоричность персоносферы состоит в способности более близкое схватывать через более далекое и поэтому более однозначное, несущее определенность. Но, спросит читатель, не есть ли это ущемление прав зайца и искажение его облика? Нет, потому что на авансцене может оказаться любой объект, и тогда другие объекты превратятся в обслуживающих его «зайцев».

Однако при всей обратимости метафоры (сегодня Иванов похож на зайца, завтра заяц похож на Иванова) национальная персоносфера имеет свою, как бы априорно заданную, центрально-периферийную структуру. Скажем, античные персонажи занимают в русской персоносфере явно не центральное место, и это делает их удобными значками внутри самой персоносферы. Когда Константин Аксаков называл Гоголя Гомером, а Белинский с ним не соглашался, Гомер выступал как знак народного эпически объективного художника. В таком дискурсе, конечно, нет места для пресловутого гомеровского вопроса. Красноречивого человека можно назвать Демосфеном, не вдумываясь особенно в характер Демосфенова красноречия. Только специалист станет сравнивать Демосфена с Лисием, а Цицерона с Гортензием. Однако поле символов Демосфен — Цицерон — Златоуст, объективно присутствующее в нашей персоносфере, дает возможность различать некоторые нюансы ораторского искусства и характеризовать с помощью «басенных» персонажей наших знакомых. Демосфен — это и красноречивый человек, и тот, кто старанием добился совершенства в своем искусстве. Цицерон — искусный оратор на общественном поприще. Златоуст — оратор-проповедник, мудрый и в то же время сладкоречивый, очаровывающий собеседника словом. Таково примерно положение этих персонажей в общенациональной персоносфере, насколько его можно определить, не прибегая к специальным исследованиям.

Языкознание больше полувека оперирует термином «поле». Суть «поля» в том, что значение слова определяется тем положением, которое оно занимает среди других слов, подобно тому как значение игрока на поле определяется положением других игроков. Если, например, в системе школьных оценок

есть только «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», объем значения оценки «удовлетворительно» будет шире, чем в том случае, когда система оценок охватывает шкалу «отлично — хорошо — удовлетворительно — неудовлетворительно». Первое «удовлетворительно» родитель проглотит, второе его насторожит.

В своей метафорической функции «игроки» национальной персониферы образуют поле, вернее, поля, например, поле ораторов, о котором говорилось только что, поле царей, поле жен, поле начальников и т. д. Ясно, что от структуры этих полей сильно зависит наше понимание роли оратора или роли царя вообще. Национальное поле царей — это набор лекал, которым располагает нация, вычерчивая для себя образ царя, оценивая того или иного правителя как царя. Кто он? Иван? Петр? В чем он Иван Грозный? В какой мере он Петр Великий? С такими мерками подступаем мы к правителям. Имея другую персониферу, мы замечали бы другие черты первого лица государства (например, Александра II) и не замечали бы те, которые хорошо видим сегодня.

Национальное видение мира далеко не в последнюю очередь определяется характером персониферы, но при этом именно персонифера — самая изменчивая часть картины мира. Национальные открытия и переосмысления происходят прежде всего через изменения персониферы, где все культурные потрясения сопровождаются великим переселением народов — персонифер.

Факт крещения Руси означал не только обращение к новым концептам, идеям, но и приобщение к новой персонифере. В древнерусском сознании появились евангельские персонажи и святые, а визуально эта персонифера заявила о себе в иконографии. Вот тогда очень важным стало понятие «образ», в девятнадцатом веке превратившееся в синоним литературного персонажа. Весь литературоцентрический девятнадцатый век был веком активного заселения светского континента культуры литературными персонажами русской классики. Демография духовного континента колебалась, но оставалась невысокой. После семнадцатого года на обоих континентах началась резня. Появились новые персоны, прочно обосновались в нашем сознании «вожди», а вот новые литературные персонажи хоть и плодились, но быстро хирели и умирали, чему были свои резоны. Но о персонифере советского и постсоветского периода разговор особый.

### Параллели: я и другие. Лакуны в русской персонифере

Реципиент персониферы по-разному соотносит себя с ее персонажами. Расширяя геометафору, можно обозначить эти соотношения как параллели и меридианы. Параллели — это когда я соотношу себя с героями персониферы, сравниваю с их свою жизнь, с их свое поведение, в том числе поведение речевое. Живу, как Башмачкин, мечтаю, как Манилов, изъясняюсь, как Козьма Прутков. Меридианы — это когда я ставлю себя на одну прямую с персонажами персониферы, соотнося с ними тех, с кем мне предстоит взаимодействовать. Ведь я не гарантирован ни от «душечки», ни от «попрыгуньи» в роли подруги жизни, ни от Беневоленского в роли начальника, ни от Чичикова в роли подчиненного.

Начнем с параллелей, и притом с параллелей языковых. Они откроют нам глаза на несовершенство нашей школы и укажут на реальный путь трансляции культуры.

Никого не удивишь тем фактом, что основная масса косноязычных людей произросла отнюдь не в культурных семьях. Не удивит и указание на то обстоятельство, что люди эти не зачитывались в детстве Тургеневым, не смаковали прозу Бунина, не пытались подражать речам Плевако. Тем не менее культура речи как учебный предмет апеллирует к безличному владению языком. «Соблюдай языковые нормы!» — говорят школьнику, начисто забывая, что нормы эти возникли не в результате прямого усвоения языка каких-то неведомых «мастеров слова», а как подражание языку вполне ведомых Александра Серге-



евича, Николая Михайловича, Михаила Юрьевича. Ребенок инстинктивно подражает родителям, читатель — писателям. А «Родная речь» отвращает нас, вопреки названию, от подражания классикам. В писателях она не видит учителей, безусловные авторитеты, которым следует довериться. Учителем для школы является автор учебника или тот, кто стоит с указкой у доски, писатели же есть лишь исторический коллаж. Советская школа вообще не слишком доверяла властителям дум, силясь объяснить их историческую и сословную ограниченность. Логика персониферы диктует совершенно другой взгляд на речевую культуру.

Логика эта проста. Бери себе в учителя Крылова, Карамзина, Пушкина. Научись сначала говорить языком крыловских басен, потом писать языком русского путешественника, затем рассказывать языком Белкина. Не ищи у одного лексики, у другого синтаксиса, у третьего семантики. Подражай им. Доверься им. Худому не научат. А если что не так, то при достаточно широком репертуаре сам сообразишь, что хорошо, что худо. Речевая культура — это культура освоения персониферы, освоения того немалого богатства речевых манер, которое в ней заключено. Напомню, что образами у нас называют не только иконы, не только литературных героев. Чтобы придать образ себе, чтобы образовать себя, чтобы получить образование, надо примериться к образам других людей, в том числе — к «образу автора», надо уметь подражать им, надо пропустить эти образы через себя.

Как это делать? Кому подражать, а кому нет? Учиться ли у литературных персонажей? А как поступать с персонажами заведомо отрицательными, с теми, чье языковое поведение смешно?

Греческое слово «мимесис» буквально значит «подражание», «изображение», в риторике так называли еще и передразнивание чужой речевой манеры. Есть разные виды подражания. Это и стилизация, и пародия, и травестия.

Особо хочется сказать о мимесисе как умении понять дурное и тем самым избавиться от аналогичных черт собственный язык. Такое понимание дает пародия. Однажды мне пришлось неделю прожить в доме, где не было ничего, кроме дореволюционного собрания сочинений Леонида Андреева. Результат не замедлил сказаться: я заговорил его языком. Заговорил — и ужаснулся. Мне нравится писатель Андреев, но в его языке есть то, что можно назвать издержками серебряного века. Единожды это почувствовав, я понял больше, чем понял бы сегодня, читая солидные ученые монографии, хотя тогда был всего лишь подростком.

Но мы увлеклись языком. Пора обратиться к героине, которой рано нравились романы. Они ей заменяли все. Пушкин ясно показал нам, что у Татьяны была своя персонифера, по ней училась она культуре чувств. Но и сама Татьяна стала неотъемлемой частью персониферы русских женщин. Шутки шутками, а ведь сотни тысяч русских девушек хоть раз в жизни, но определяли свое место в системе «Татьяна — Ольга». Здесь то же, что и с языком. Религиозное воспитание немыслимо без библейских образов и образов святых, патристическое — без образов героев. Воспитание же чувств трудно представить без поэтических образов.

В отличие от языкового поведения героев персониферы, дающего нам лишь образцы речи, реальное их поведение дает образцы поступков и более того — образцы всей жизни, образцы биографий. В этом глубокий смысл слова «житие». В интерпретации советского поэта это называется «делать жизнь с кого». Образцы поступков — это атлас, в левой части которого стоит «если». А если нападет враг? А если она меня разлюбит? А если настанет голод? А если другу станет худо и вообще не повезет? Образец жизни — это путь, который выбирает себе человек, образ жизни в прямом смысле этого слова. Путь веры, служение науке, судьба художника, женская доля, путь народного заступника. Путь — чрезвычайно важная категория в формировании личности. И задается он не абстрактным вычислением жизненной траектории, а примерами, персониферой.

Путь революционера, проложенный Рахметовым и укрепленный революционными житиями и апокрифами, создал особый тип личности. Но были и те, кто повернул с этого пути в отчий дом, ибо и на это существовал свой пример — притча о блудном сыне. Вообще в определении пути ощущается превосходство религиозного над светским. Давно замечено, что путь Павла Корчагина — это советская рецепция жития мученика за веру. Советская литература не один и не два раза возрождала сюжеты, в которых вера в будущую жизнь (земную, разумеется) позволяла герою преодолеть телесную немощь.

Самый главный, исконный, архетипический сюжет, путь всех путей — это, конечно, воскресение. Вспомним, с какой настойчивостью в балладах самого популярного поэта-барда советского времени Владимира Высоцкого воспроизводится знакомый сюжет: страсти, гибель — и чудесное воскресение вопреки всему. Мы любим узнавать эту схему и в отечественной истории. Это придает нам надежды.

Персонасфера помогает изживать пороки. Это верно как в случае с языком, так и в случае с поступками и чувствами. Никто не хотел бы высечь себя, как пресловутая унтер-офицерская вдова, завраться, как Хлестаков, быть неотесанным, как Скалозуб. Отрицательные персонажи словно подстерегают нас: сделал ложный шаг — и оказался в их объятиях.

В так называемой двойнической литературе XVII века человеческие пороки в самом прямом смысле слова выскакивали на человека: «Скочи Горе из-за серого камня». Пьянство и слабоволие персонифицировались в Горе и Злочастиии, одновременно определяя уже и «путь» (Горе подпоясано лыком, подобная манера одеваться ждет и самого доброго молодца). Позже из-за серого камня выскакивали то Плюшкин с Коробочкой, то Штольц с Обломовым, то Ионыч с Котиком.

Обо всем этом можно говорить с улыбкой, но дело-то довольно серьезное. Исключительно сильная своим обличительным пафосом, наша литература наложила эмбарго на целые занятия и профессии. Началось это в незапамятные времена с насмешек над подьячими. Если бы Пушкин в «Станционном смотрителе», Гоголь в «Шинели» и Достоевский в «Бедных людях» не заступились за чиновников, мы не узнали бы, как можно быть чиновником, оставаясь человеком. А купцу, негоцианту, предпринимателю охотно и много показывали, как выглядят пороки его профессии, на показ же добродетелей скупались.

Лакуны в персонасфере — вот тема для размышлений. Полагаю, что наличие этих лакун самым плачевным образом сказалось на нашей истории. Можно только удивляться мудрости Пушкина и досадовать на писателей рубежа веков, объявивших войну мещанам, обывателям и дачникам. После революции война «с серединым» началом, развязанная самим великим Гоголем, перешла в другие руки и приняла характер геноцида.

Говоря о наших лакунах, полезно вспомнить, что Чарлз Диккенс, великий, по определению Достоевского, христианин, показал на примерах своих героев, как можно обладать высокой душой без посредства эпилепсии и преступления. В «Больших надеждах» есть замечательный диалог. Юный Пип спрашивает беглого каторжника, кем тот готовился стать в детстве, и получает честный ответ: «Кандальником, сэр». Когда школа воспитывала нас на примерах Разина, Пугачева, Болотникова, кого она из нас готовила? Если законопослушный гражданин всегда туп, а часто и подл, если торговец всегда вор, чего же ждать от общественной жизни и от торговли? Если всегда прав бунтарь, то почему нельзя разбить стекло в учительской и изрезать сиденье в автобусе?

Нет персонасферы без лакун, как нет человека без греха. Но национальные раны надо знать хотя бы для того, чтобы не берeditь их. Двадцатый век показал: опасность исходила не от дачки на речке. Но что могли сделать очевидные бесы Достоевского против целой когорты положительных бунтарей, сущих ангелов? А симпатичные мещане, жмущиеся по углам персонасферы, — против легионов мещан-уродов? Пусть наше поколение по крайней мере не расширяет этих лакун.

### Меридианы: я и другие. Парадокс русской персониферы

Параллели не существуют без меридианов. Вообразившая себя Татьяной должна вообразить себе и Онегина. Кто она, та самая Женщина, с которой предстоит встретиться мальчику, когда он вырастет? Лиза Калитина? Девушка из Нагасаки, танцующая джигу в кабаках? Тоня Туманова, пытавшаяся сбить с истинного пути Павку Корчагина? Старуха Изергиль с ее декамероновской биографией? Забава Путятишна? Рабыня Изаура? Алла Борисовна Пугачева? Чего ждать от этой виртуальной женщины? Верности боевой подруги? Коварства пресловутой Мурки? Материнской заботы Василисы Премудрой, которая с помощью мамок-нянек поможет решить трудные задачи века сего? Пушкинская Земфира поет: «Режь меня, жги меня», современная Земфира: «Хочешь, я убью соседей, что мешают [тебе] спать?» А лермонтовская царица Тамара, например, имела прискорбное обыкновение сбрасывать своих любовников в Терек.

Даже беглый обзор галереи женских образов ставит вопрос о бедности и богатстве идеала, а также о его добротности, пригодности для жизни, или, выражаясь сухо, адекватности. Неадекватность возникает в том случае, когда персонифера бедна, а образы ее экзотичны. Женщины из жестоких романсов вроде зарезанной девушки из Нагасаки, отравившейся Маруси и девочки из ма-аленькой таверны сами по себе вполне невинны, я бы даже сказал, расширяют представления если и не о женщине как таковой, то о чем-то с ней связанном. Но все это при условии широты диапазона. А без широты — это все то же диккенсовское «Кандальником, сэр!».

Пересечение в персонифере параллелей с меридианами задает драматургию человеческих отношений. Может быть, в первую очередь здесь действуют он и она. Перипетии любовных диалогов, исходы любовных драм — все это черпается из недр персониферы и воплощается в жизнь.

И здесь мы приближаемся к парадоксу или, если угодно, к драме нашей персониферы. Уже стало общим местом наблюдение, что русское «друг» не передается английским friend или даже close friend. Наша дружба предполагает — и это признают зарубежные исследователи — более тесные отношения. Есть повод порадоваться, какие мы хорошие. Но вот странно... В английской и американской литературе тема мужской дружбы звучит внятно, а у нас слышны лишь неясные, хотя и возвышенные звуки. Да, Пьер с Андреем открывают друг другу душу, а у Холмса с Ватсоном (как, впрочем, и у Арамиса с д'Артаньяном) этого и в заводе нет. Но вправе ли граф Безухов похвастаться таким надежным другом, которому, как герою О. Генри, можно адресовать короткий призыв: «На помощь, друг!» Для нас дружба — это прежде всего доверительное общение, взаимная исповедь, осознание братства и совместной устремленности к высшему началу. И лишь в последнюю очередь это партнерство, парные отношения, восходящие к рыцарскому воинскому товариществу. Но ведь именно этот рыцарский союз и есть дружба в собственном, узком смысле слова, подобно тому как любовь в узком смысле слова называется чувством между мужчиной и женщиной, а не братская привязанность. Однако и в отношениях между мужчиной и женщиной в нашей литературе, как ни в какой другой, присутствует нечто большее, чем просто любовное влечение. Здесь и духовный союз, и целая гамма сложных чувств, иногда трогательных, как у Александра Адуева и его молодой «тетушки» Елизаветы, иногда смешных, как у Верховенского-старшего и Варвары Петровны. Ни для кого не секрет, что подобная «размытость» интимных отношений присутствует и в нашей жизни.

Но драма нашей персониферы распространяется не только на любовь и дружбу. Всякие «специальные» отношения, всякий «специальный» человек вызывают у нашей литературы некоторое подозрение: а не есть ли эта специализация — отпадение от целого? Верный слуга, исполнительный чиновник, хозяйственный помещик — все это хорошо, но не кроется ли за этим однобокость? Если даже от женщины требуется нечто большее, чем любовь и семья,

то что же говорить об отношениях служебных! Социальная жизнь представлена у нас богатейшей коллекцией карикатур, помпадурами и помпадуршами. Положительный идеал — редкость. Может быть, драма всей нашей культуры в том, что стремление к целостному, истинному существованию ставит под сомнение решение частных задач. Все это, разумеется, не стоит понимать слишком прямо. В нашей персонифицированной среде живут и Гринев, и Савельич, и капитан Миронов, и Максим Максимыч, и Тимохин. Но характерно, что все это герои нерелевантные, «простые». Чем дальше отстоят литературные персонажи от бытовой православной жизни, тем громче взыскует автор высшего града. Простому чиновнику Лескову не нужно надрываться, чтобы стать «всечеловеком». А вот у писателей больших тем коллизия русской драмы ощутительна: либо все (чего не бывает), либо ничего (откуда галерея уродов), либо (что чаще) постоянное недовольство собой.

Но какие бы драмы ни разыгрывались на меридианах русской персонифицированной сферы, они формируют нашу жизнь и требуют серьезного осмысления. Ведь здесь и любовь и дружба, и отцы и дети, и начальники и подчиненные, и, наконец, народ и власть.

### **Полюса: мы и другие. Три кита русской персонифицированной сферы. Историзм против дидактики**

До сих пор мы рассматривали оппозицию «я» — «другой», теперь рассмотрим отношения «мы» — «другие». Русская персонифицированная сфера отражает и русскую жизнь, и жизнь других народов, поскольку они имеют в ней свои представительства в виде «переводных» персонажей.

Начнем со «своего», а там доберемся и до «чужого». Полнокровное существование в русской вселенной обеспечивается четырьмя источниками: православием, историей, литературой и фольклором. История и литература — это светская культура, православие — «духовная культура», фольклор же — «народная культура».

Когда одной из опор недостает, культура хромает.

Наиболее типичный случай — человек, упустивший из виду Библию, знающий со стихией фольклора по анекдотам, знающий историю по ее отдельным вехам, а русскую литературу — по тягостным школьным воспоминаниям. Таких людей Солженицын назвал «образованщиной», хотя с таким же успехом их можно назвать и «необразованщиной». Негуманитарное образование вообще не имеет отношения к нашим рассуждениям, потому что само по себе не прибавляет фигур к персонифицированной сфере человека. Гуманитарное образование, особенно филологическое, имеет к персонифицированной сфере отношение самое прямое, но здесь-то и встает вопрос о его качестве. Так или иначе, но литературно-фольклорная персонифицированная сфера, в которую не так давно вводило простого советского человека наше филологическое образование, оставляет огромный провал в понимании «своего». Попытка интерпретировать христианский фундамент культуры как поэтический вымысел, научную отсталость и происки попов оказалась не вполне состоятельной.

Гораздо реже встречается фигура негуманитария-неофита, шагнувшего от братьев Стругацких и «Техники молодежи» непосредственно к Священному Писанию. На русскую литературу такой человек поглядывает свысока, считая все светское чем-то второсортным.

Забвение фольклора — это следствие другого неопитства — светского. Это продолжение так называемого гиперурбанизма, когда сельский житель, приметив, что в городе говорят «Федор», а не «Хведор», начинает произносить «фост» вместо «хвост». В мои ученические годы таким «фостом» был уже упомянутый мной серебряный век. «Ante lucem», — с вызовом произносила аспирантка, но безразлично корчилась при слове «былина», не помнила русских сказок и как бы не ведала о частушках. Я не ставлю, конечно, Устюшкину мать в один ряд со святыми, в Русской земле просиявшими, или с рефлектирующими героями рус-

ской классики, я утверждаю только, что познание «своего» не должно быть прихотливо выборочным. Персонасфера русской культуры — реальность.

А что «чужое»? Как представляем себе мы иные культурные миры?

Начнем с мира изучаемого языка. Здесь на наших глазах произошла смена парадигмы. Сначала школа изучала иностранный язык не столько даже на русских, сколько на советских реалиях. В учебниках изображалось то, что в логике называют «возможными мирами». Мы перевели на английский язык слово «колхоз», а во французский его, так сказать, заимствовали. Если верить старым учебникам, во всех странах происходит примерно одно и то же. Позже в основу обучения были положены коммуникативные ситуации, и теперь вместо разговоров о забастовках можно заказать себе обед, снять номер в отеле, сделать покупку в магазине. Но дедовский и прадедовский способ познания чужой культуры через чужую литературу и фольклор и сейчас используется очень и очень скудно.

Ну а что сама литература? «Зарубежку» советского периода отличало беззастенчивое хозяйничанье в чужой культуре: в первом ряду оказались авторы, которых у себя дома изрядно подзабыли, а во второй были оттеснены те, кто составлял цвет чужой культуры. Любопытно, что с немецкой литературой считались все-таки больше, чем с английской. Очевидно, длительный культурный контакт ставил какие-то ограничения на перетолковывание чужой культуры. Вот один пример из жизни английской персонасферы в вузовской программе по зарубежной литературе. Диккенс, будем справедливы, входил в программу. Но что? «Тяжелые времена». Имя Скрудж «наш человек» узнал только благодаря мультфильму, Юрай Хипп (Урия Гип — в старой транскрипции) — благодаря названию рок-группы, Дэвид Копперфилд — благодаря псевдониму фокусника.

Но вузовская программа для филологов — не самые широкие двери в персонасферу. Огромную роль в освоении чужого играет приключенческая литература, а с нею, к счастью или к несчастью, и язык ее переводов. Русский Джек Лондон — вот самые широкие ворота в западный мир. Твен, так много дающий для понимания Америки, — ворота поуже.

Вообще-то на приключенческой литературе, да и едва ли не на всем, что занимательно, остроумно и читабельно, лежит «фост» гиперурбанического презрения. Презрение это абсолютно безосновательно. Надо только отличать приключенческую литературу, поставляющую в нашу персонасферу долгожителей, от литературы, таковых не поставляющей. Последнюю, если очень хочется, можно презирать. С первой воленс-ноленс приходится считаться. Нельзя отменить Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Можно сказать студентам, что «Три мушкетера» написал не тот Дюма, который у себя на родине прочно вошел в курс истории французской литературы. Но выкурить самих мушкетеров из русской персонасферы никак невозможно. А совсем недавно в нашу жизнь вошли добротные хоббиты, до этого мы о них и не подозревали.

Разговор о персонасфере возвращает нас к теме школы, что, впрочем, вполне естественно: именно она ответственна за трансляцию персонасферы и за ее единство. Сколько себя помню, дореволюционную историографию школа ругала именно за привязывание исторических событий к «царям». Вместо царей в ход шли «формации» и «законы истории». В результате происходило обеднение персонасферы. Исторический мир, лишенный исторических личностей, оставлял в памяти только голые схемы, да и долго они там не задерживались.

По большому счету, все это издержки культурно-исторической школы и принципа историзма вообще. Прodelав огромную работу, проявив ставшую легендарной научную добросовестность, культурно-историческая школа упустила из виду дидактический момент. Предположим, применительно к научной истории литературы принцип «петраркизм важнее Петрарки» можно принять как рабочий прием, но применительно к школьной программе этот принцип просто никуда не годится. Если бы древним римлянам предложили вместо

Вергилия «вергилизм», они были бы, должно быть, очень озадачены. Античный мир основывал на персоносфере все свое воспитание. Слово подкреплялось здесь пластикой. Ну а христианский мир без персоносферы просто немислим. Язык не поворачивается примериться с «петраркизмом» к святому.

Историзм фиксирует свое внимание на причинно-следственных связях, а дидактика стремится вооружить обучаемого яркими образами, закрепляющими воспроизводимую систему ценностей. Позитивизм, охотно делившийся своими методами с гуманитарными науками, свел образы исторических личностей и литературных персонажей до уровня наглядных пособий по биологии. Но заспиртованные лягушки не транслируют этических норм, не являются примерами поведения. Если и возлагать такую задачу на лягушек, то на басенных, которые воют с мышами и тщатся изобразить вола.

Справедливости ради следует сказать, что наша школа все же не была безгранично историчной. Она отступала от этого принципа, когда речь шла о вождах революций, мятежей, восстаний и бунтов. Образ бунтаря был разработан достаточно детально. Однако для постижения национальных культур он мало что давал. Вся галерея бунтарей от Спартака до Ильича даже не намекала на национальную специфику. И здесь раскрывается еще одна грань принципа историзма: его акцентирование приводит к интернационализации истории.

Самое плохое, что сделала наша школа в отношении понятия «чужого» и с чем теперь нельзя не считаться, — это то, что она создала прецедент схематического, безобразного его усвоения.

### **Оледенения и потепления. Животворящий образ и мертвящая схема**

Обратимся к бурным процессам, происходящим в нашей персоносфере, — к ближайшей истории, с которой тесно связано наше сегодняшнее национальное самоопределение.

Мне кажется, что самой большой ошибкой советской идеологии, ошибкой, которая, быть может, стоила ей жизни, было сочинение образов «под идею». Это путь диаметрально противоположный христианству. О Христе можно говорить и с ребенком, но сумму христианских идей не уместить ни в один компендиум. Мы же имели дело с небольшим набором идеологических установок, гибко корректировавшихся в связи с задачами дня. Набор можно было уместить в школьной тетради, и для наглядности к установкам привязывались образы. Наспех создавалась новая персоносфера.

Даже на образах реальных людей в советской персоносфере лежит печать поспешной подгонки под злобу дня. Стахановцы, например, начиная с самого Стаханова, лепились точно так же, как сегодня «раскручиваются» эстрадные звезды. Вообще идея «звезды», не советская по своему происхождению и активно эксплуатирующаяся у нас сегодня, замешена на том же самом эрзаце и на том же непонимании фундаментальных свойств персоносферы. Думаю, что там, где персоносфера «нежней», психологичней, а абстрактно-схоластическая проработка мира «мягче», «раскрученная» культура оказывается менее жизнеспособной. Держаться она может только за счет совсем уж девственных душ. Ее база — либо тинейджеры, которым просто недостает жизненного опыта, либо жители резерваций, куда вся информация поступает через радиоточки, либо люди, не умеющие ни читать, ни писать. Байки о фантастических промываниях мозгов и коварных политехнологиях, способных в условиях свободы слова и всеобщего образования имплантировать высосанные из пальца идейные установки, — сон человека, родившегося в резервации.

Конечно, обществу нужны и герои, и «стахановцы», и эстрадные звезды, — мало ли чем живет полнокровная персоносфера. Только естественный путь — это путь от личности к идеологии, а не наоборот. Идея столпничества не рождается в кабинетах. Рождается не идея, а столпник. Исторический Стаханов не хотел читать книг, а по схеме ему полагалось, он пил водку, а по схе-

ме ему не полагалось. Народ прозвал его «Стакановым», а это никак не входило в пропагандистский план. Жития не получилось.

Не все советские жития отличались подобной несостоятельностью, однако недоверие к собственным святым, быстро меняющаяся политическая конъюнктура, технологии возведения потемкинских деревень сказались на долготелии этой персониферы.

Еще пышнее подгонка образа под идею, как известно, расцвела в советской художественной литературе. Ей так и не удалось вынырнуть из «железного потока», и, устав от него, она принялась над ним смеяться. Но он (как «Бурный поток» Евгения Сазонова) оказался не очень-то и смешным. Сон разума рождает чудовищ, а сон души не рождает ничего. Безобразность скучна, ее не хочется даже пародировать, как Мастеру не хотелось описывать Алоизия Могарыча. Помню страдания не только абитуриентов, но и членов приемной комиссии, когда они пытались отличить один от другого женские образы романа «Мать». Кто Саша? Кто Наташа? Кто Софья? Хорошо, что Находка был по крайней мере хохол. Душа на нем отдыхала.

Но то, что не сделала или почти не сделала советская литература, сделало советское кино. Актерская игра поддерживала целостность образа, выходила из-под рационального идеологического контроля. Здесь действительно была игра, импровизация в пределах темы. Как и русской классической литературе, которой и наследовало кино, ему блестяще удались образы сатирические. Лидирует, видимо, «Бриллиантовая рука», в чем можно убедиться, перелистывая словарь киноцитат.

Однако если официальные образы советской персониферы были картонными и неживыми, то сама она находилась в постоянном движении, и движение это не контролировалось сверху. О последнем свидетельствуют два любопытных феномена: путь из героев в анекдот и путь из сатиры в идеал.

Классические герои первого пути — Василий Иванович и Петька. Эти первопроходцы выявили глубокие тектонические процессы, происходящие в персонифере в связи с самоидентификацией позднего советского человека. Некогда с Василием Ивановичем и Петькой надо было соотносить себя. «А теперь?» — спросил себя советский человек, окончивший десятилетку, — и начал помещать эти образы в заведомо современные ситуации. Анекдоты строились на неадекватности старого Василия Ивановича новой жизни. Герой не понимал новых слов, не соблюдал правил гигиены, не знал (что достаточно любопытно) английского языка.

И вместе с тем юмор анекдотов о Василии Ивановиче я не назвал бы злым. Смеялись над собой, над теми своими чертами, с которыми спешили расстаться. Показателен и гигантизм анекдотического образа. У Василия Ивановича был масштаб Гаргантюа. Стоило ему опустить в озеро носок — и вся вода делалась черной. Мощный, дремучий, почти хтонический образ революционного прошлого в рецепции советского инженера — вот что такое Василий Иванович.

Более тонкое дело — анекдоты о поручике Ржевском. Тут, напротив, себя помещали в дворянскую среду — и тем самым тоже смеялись над собой. Проверяли, насколько мы, теперь уже образованные, соотносимся с теми, из царской России, про которых учат в школе. Неспроста Ржевский общался с Наташей Ростовской. Чтобы поддержать светский разговор, он подбрасывал ногой собаку и галантно замечал: «Низко пошла!» Смеялись главным образом над своей неловкостью и неотесанностью, отсутствием должной куртуазии в обращении с дамой.

Другой путь — путь из сатиры в идеал. Его с блеском проделал Остап Бендер Задунайский. Бендер как положительный идеал вызревал в среде советской интеллигенции, не в последнюю очередь партийной, на протяжении пятидесятых — шестидесятых — семидесятых годов. Своеобразная и достаточно амбивалентная фигура, великий комбинатор был носителем расхожих истин, не санкционированных официальной моралью, но тем не менее широко применяемых в быту. По-видимому, без Бендера концептуализация нашей хозяйственной жизни вообще была бы невозможной. «Сначала деньги, потом сту-

ля» и прочее, и прочее. В условиях культурного дефицита Бендер был единственным полноценным жителем этого сектора персоносферы. Интересно отметить и своеобразную демократизацию образа Бендера: в тридцатые годы это был герой интеллигенции, в конце семидесятых он спустился до уровня хозяйственника с неоконченным высшим. Не надо забывать и о том, что великий комбинатор восполнял старую лакуну — был достаточно обаятельным для человека, блюдущего свою выгоду. Первые представления о морали в бизнесе несут на себе отпечаток именно его черт.

Безобразность советской персоносферы, ее картонность вызвала к жизни еще одно мощное явление — вестернизацию. Но слово «вестернизация» отражает лишь поверхность этого непростого феномена. Дело не в одном только заимствовании западных слов, стереотипов или институтов. Дело в том, что в теории тропов (образов) называется «реализацией метафоры». Метафорическое «чужое» используется как материал для постижения, упорядочения «своего». Сегодня мы понимаем под цирком не совсем то учреждение, что было в древнем Риме. Арена — это отнюдь не посыпанная толченым мрамором площадка для гладиаторских боев. Но если бы мы вдруг завели у себя цирк в старинном смысле слова, то есть реализовали метафору, мы бы уже не распевали: «Цирк не любить все равно, что детей не любить».

Когда «свое» становится безликим, к «чужому» обращаются не как к метафоре, а как к источнику восполнения «своего». Чужое «свое» выглядит при этом достаточно фантастично. Многие тут и началось с фантастики, с гриновского мира, с Зурбагана и Лисса. В сущности, это мир макаронический, мир иностранно-русской диффузии. А соль и капитан Грей говорят по-русски не потому, что они переведены на русский язык, как Смок и Малыш, а потому, что они рождены на русской почве. А с ними и Ихтиандр, и пираты из мультфильмов и авторской песни, и волшебник Изумрудного города, и другие ангажированные и неангажированные макаронические персонажи, по-своему сигнализирующие о разломах в нашей персоносфере.

Истинный же вред безобразности, о которой говорилось выше, — это невозможность задать норму.

Язык, не поддержанный персоносферой, не может быть задан как норма, как образец. Все литературные языки сформировались под влиянием практики художественной литературы. Пушкин стал основоположником русского литературного языка не потому, что так захотел царь Николай или, предположим, декабристы, а потому, что языку Пушкина хотелось подражать. Безличные, призрачные силы не способны ни задавать, ни поддерживать норму. Отсутствие авторитетных писателей, отказ литературы от создания ярких персонажей не создают условий для закрепления языковой нормы. Это трагедия наших дней.

То же самое справедливо и в отношении норм поведения. Для современного публичного пространства характерно бытование лозунгов, за которыми нет никакого образа.

Огромное распространение получили сегодня лжеобразы — образы «раскрученные», ненастоящие. Не все лжеобразы сочиняются под идею. Иные рождаются под девизом искусства для искусства, если только этот девиз можно отнести к ситуации, когда искусством не пахнет. Избыточное, пустопорожнее образотворчество пустило корни в художественной литературе. Семиотически оно похоже на создание ненужных перифразов вроде «обойтись посредством носового платка». Лжеобразы активно творятся в мире эстрадных звезд, сочиняются в ходе пиар-кампаний. Все это — деньги, вложенные в холст, на котором ничего не написано.

### Реставрация персоносферы?

Исторические разломы в коре персоносферы, пустыни лжеобразов наводят на мысль о желательной реставрации персоносферы русской культуры. Возможна ли такая реставрация как культурный проект?



Оплот русской персониферы — русская классика, а естественный ее хранитель — русская интеллигенция. В свое время было много дискуссий о том, что же такое настоящий русский интеллигент. Обычно спорщики, среди которых были и люди очень для меня авторитетные, начинали с того, что интеллигентность не имеет отношения к профессиональным занятиям, затем, развивая эту мысль, говорили, что она не имеет отношения и к образованности, а далее обращались к высоким моральным качествам русской интеллигенции, причем каждый называл те из них, которые ему больше приглянулись: жертвенность, бесребреничество и даже готовность за свои убеждения взойти на костер. Вот уже лет двадцать, как хочется на это возразить, и год за годом я все больше и больше укрепляюсь в своих возражениях.

Старую интеллигенцию мне случалось наблюдать вживе. Благодаря отдельным семейным заповедникам ее можно увидеть и сегодня. Последним, с кем довелось мне разговаривать, был покойный Владимир Сергеевич Муравьев. А познакомился я с ним при весьма знаменательных обстоятельствах, способных, как мне кажется, пролить свет на природу старой русской интеллигенции. На сайте «Дальняя связь» были помещены вопросы Владимира Сергеевича о Толстом и Достоевском. Главная мысль вопрошающего состояла в том, что именно Толстой и Достоевский определили наше умственное пространство, в связи с чем он и интересовался отношением читателей сайта к этим писателям. Вопросы, ответы и комментарии к ним В. С. Муравьева печатались в «Независимой газете». То, что уместилось на паре газетных страниц, можно смело назвать диалогом между русской и советской интеллигенцией. Диалогом и коммуникативной неудачей. Для читателей сайта оказалась непонятной сама идея презумпции русской литературы — идея, из которой исходил переводчик и литературовед Муравьев. О Толстом и Достоевском говорили просто как об авторах, которых когда-то прочли (многие без стеснения признавались в том, что не смогли дочитать длинных романов до конца). Толстого свысока поругивали за отклонение от православия, Достоевского — за национализм. Похваливали бывших властителей дум за их, так сказать, литературные дарования. Реакция автора вопросов только на первый взгляд могла показаться неоправданно гневной, ибо старая русская интеллигенция — это та часть России, для которой русская словесность, русская книжность были альфой и омегой ее существования. Русская интеллигенция *жила* в пространстве, созданном русским Словом, в русской персонифере, считала *ее* исходной реальностью, мерила жизнь *ее* мерками. Бесребреничество и прочие добродетели — лишь следствие того климата, который царил в этой персонифере. Отлучение Толстого и толстовство, безумное бунтарство и расшатывание устоев, столь же нетерпимая «охранительность», спор славянофилов и западников — все это дела внутренние, и чтобы вникнуть в них, надо поселиться в царстве русской культуры, а не наблюдать его в музейной экспозиции, зевая перед громоздкими экспонатами вроде «Братьев Карамазовых».

С русской персониферой и с русской интеллигенцией дело обстоит достаточно ясно. Вопрос в том, насколько живы сейчас и та, и другая (при том, что жизнь одной без другой представляется достаточно проблематичной). Чтобы ответить на этот вопрос, надо задуматься над тем, а что же такое советская и постсоветская интеллигенция и что такое советская и постсоветская персонифера. Ясного ответа на эти вопросы у меня нет. И все же попробую дать общий его абрис.

За годы советской власти персонифера пополнилась многими именами. В ней, например, поселился Буратино, которого Ю. С. Степанов удостоил включения в словарь концептов русской культуры. Но сама советская персонифера не обладает той цельностью, которой обладала старая русская. На ней отразилась череда идеологических кампаний, колебание «генеральной линии», глубокий внутренний раскол общества, образовавшийся после семнадцатого года, постоянное сокращение социальной базы примитивного агитпропа, тавование несусветного количества призрачных персонажей — поручиков Киж,

делающих персониферу растяжимой. Неоднородна и сама советская интеллигенция, состоящая, помимо всего прочего, далеко не в таких кристально ясных отношениях с собственной персониферой, как интеллигенция старая.

Мне кажется, что с середины шестидесятых годов стала складываться новая российская интеллигенция — носительница новой персониферы. Эта персонифера вобрала в себя значительную часть старой русской и наиболее жизнеспособную часть ранней советской. Это персонифера, где проживают Высоцкий, Окуджава, великие артисты советского кино, космонавты, Штирлиц и Дюжонкин, Сахаров, Солженицын, Хрущев, Брежнев, физики, художники... Главная ее особенность — малый удельный вес художественной литературы, пока еще неуверенное освоение религиозной культуры, угасание сельского фольклора и расцвет городского.

В постсоветское время в формировании персониферы обозначились центробежные силы. Расцвели субкультуры и разного рода, как теперь принято говорить, тусовки. Для интеллигенции культура тусовок равнозначна самоустранению: или они, или она. Сегодня интеллигенция существует постольку, поскольку тусовки еще не покрывают всего социального пространства. Общественная же персонифера поддерживается главным образом существованием телеперсонажей. Это последний на сегодняшний день источник «образов». Персонифера пополнилась телеведущими и героями мексиканских сериалов. Под ружье встала эстрада. Алла Пугачева и Филипп Киркоров занимают умы вместо Татьяны Лариной и Евгения Онегина.

Пока интеллигенция упражняется в самоуничтожении, плодя тусовки и не утруждая себя высоким или даже приличным слогом, власть старается сколотить общественную платформу из неоднородных (или кажущихся неоднородными) частей советской культуры, с надеждой поглядывая в сторону религии и русской старины. Что до меня, то я приветствую этот замысел как конструктивную идею. Исполнение же его (как оно выглядит на сегодняшний момент) я приветствовать никак не могу, потому что ставка делается на символы и слоганы, в лучшем случае на идейные установки, но не на образы, не на живые примеры. Конечно, можно сочинять образы под идеи, даже под лозунги, и охотники всегда сыщутся, ибо жива старая традиция возведения потемкинских деревень. Но ведь такое уже было, и плоды оказались горькими...

В одном можно быть совершенно уверенным. Поддерживая русское Слово, относясь к образам русской персониферы как к образам, а не комиксам, мы поддержим нашу культуру в момент, когда она переживает не лучшие свои времена.



---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

\*

## ОНКОЛОГИЯ КАК МОДЕЛЬ

**И**жеследующие заметки не претендуют ни на что научное или литературное. Просто расскажу о приключившихся со мной событиях и сопутствующих им размышлениях.

Размышления копились два года. В предлагаемом тексте они датированы — не из самопочтения мемуариста, но чтобы показать, как непредвидимо и органично уложился в личную историю (в ее смысл) внешний контекст (его смысл), включая и события *сентября 2001 года*.

**В компьютерной. Октябрь 2000 года.** В Онкоцентре на Каширке доктор В. А. Кукушкин пригласил в кабинет, где анализируют снимки, наглядно убедиться, что успехи есть. Работают два монитора. На одном — картинка полуторамесячной давности; на другом — сегодняшняя. Спрашиваю: «А эти вот белые пятна почему не становятся меньше?» — «Это сосуды — с чего бы им уменьшаться! А вы, как я посмотрю, проявляете любознательность...»

Всеволод Александрович невозмутим и внимателен; взгляд усталый, пристальный. Вырывается не предусмотренный сюжетом монолог: «Да, пытаюсь разобраться в работе онкологов. Мне интересно не только как пациентке. Онкология — заповедник необольщенного ума и милосердного упорства. Если бы рак гарантированно излечивался, пройти через борьбу со злокачественной опухолью полезно было бы иным социальным стратегам».

И вот что ответил доктор: «Да куда ж они денутся? И с ними это случится».

Опытный рентгенолог вовсе не думал поддерживать рискованное медицинское морализаторство. Он имел в виду свое, профессиональное, — статистику заболеваемости. Шансы оказаться лично вовлеченными в работу онкологов год от года становятся более высокими. Но обретаемый опыт несоразмерно скудно просачивается за стены лечебных учреждений — более чем у половины пациентов рост опухоли пока что необратим.

**И здесь идеология.** Раз уж об этом зашла речь: адекватная система помощи уходящим больным в России отсутствует. В профильных клиниках нет отделений паллиативного лечения. Доктор медицинских наук, профессор С. А. Тюляндин пишет в журнале «Практическая онкология» (*март 2001 года*): «Казалось бы, раз естественное течение болезни подразумевает неотвратимость для многих больных перехода в терминальные фазы заболевания, то этот наиболее трудный для больного и его семьи период времени должен быть объектом пристального внимания онколога, который до этого момента был ответствен за проведение специфического противоопухолевого лечения. В реальности все обстоит иначе. <...> Пока у больного есть перспективы на успешное лечение, он лечится в онкологическом учреждении под руководством онколога. Стал бесперспективным — уходи куда хочешь: в клинику паллиативной медицины или в хоспис, которые способны принять единицы онкологических больных,

---

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед и культуролог, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории, автор шести монографий по музыкальной истории, эстетике, современной массовой культуре. Постоянный автор и лауреат премии «Нового мира».

или домой <...> Для самого больного и его родных этот переход является подтверждением безнадежности и скорого конца. <...> А разве можно считать полноценной оказываемую медицинскую помощь в хосписах <...> если там нельзя провести паллиативную химиотерапию или лучевую терапию?»

Сложившаяся организация здравоохранения такова, что общество отправляет в небытие, и довольно мучительное, своих членов раньше, чем это делает Господь Бог. Так воплощаются примат коллектива (отдельные страдальцы, будь их хоть тысячи, системой в расчет не принимаются) и свободная конкуренция (лечим только тех, кто имеет шансы выздороветь, а на «неконкурентоспособных» финансирования не напасешься). «Лес рубят — щепки летят» = «Боливар не выдержит двоих» — не так уж далеки друг от друга тоталитарные и рыночные установки.

Право решать за Бога заразительно. Если им привычно (по формуле «практически здорова») инфицирована целая отрасль жизнеобеспечения, то и за отдельных ее работников поручиться нельзя. Могут решить не только за Всевышнего, но и за нас, с нашей свободной волей, на которую и сам Господь не посягает.

**Как без меня меня списали.** В декабре 1996 года в почтенной городской клинике мне удалили долю легкого. Отпуская на волю, хирурги подвели черту: рак — нулевой степени; химиотерапию делать не нужно и даже вредно — инвалидом стану. Потом из специальной литературы узнала: рак легких тем и плох, что дает очень ранние метастазы; поэтому химиотерапия обязательна. В авторитетной столичной больнице об этом не знали... Впрочем, судя по дальнейшим событиям, дело не в незнании.

Когда в мае 1999 года случился обсев (об этом можно было догадаться по неестественно бодрой интонации докторов, но не догадалась), решили не предпринимать специальных лечебных мер, а также ничего не говорить — ни мне, ни родным. Во-первых, жалко мучить, через шесть месяцев (стандартный прогноз) все равно умру. Во-вторых, забот и без того хватает; а расскажешь родным — станут биться в конвульсиях последней надежды... Повторяли что-то насчет упорного бронхита и какой-то лимфоидной инфильтрации (такого диагноза не бывает, как потом выяснилось). Раз в полтора месяца, при нарастающих одышке, кровохарканье и учащающихся подъемах температуры, я приходила на рентген. Снимки смотрели и восклицали: «Уже лучше!»

Но пациентка все не умирала. Даже более или менее работала. Отведенные сроки прошли, а автор этих строк по-прежнему являлся на рентген и вынуждал медперсонал к мимическому оптимизму...

**Об ответном фатализме.** Работники муниципальной клиники не хотели лишних хлопот с (и для) безнадежной больной. Но действовала еще одна причина.

От представителей других корпораций (например, чиновников или журналистов) не принято ожидать героической верности долгу; как раз напротив. Но медицинским работникам с детской непоследовательностью вменяется нравственное подвижничество. Соответственно первых общество вроде как задабривает сравнительно высокими стандартами жизни, а для вторых (которые *должны*, в то время как все остальные почему-то *не должны*) сойдет как есть. Ссылки на клятву Гиппократова в такой ситуации звучат вырожденным ритуалом, как припев позднестасовой пионерской песни: «Ты обязан быть героем, если ты орленком стал!»

В поведении специалистов из муниципальной клиники угадывается ответ на многолетнее пренебрежение к бюджетникам (характерно само это уродливо-казначейское обозначение группы важнейших профессий, объединенных не их социально-гуманитарной ценностью, а неизбежным злом госрасходов). Переадресовка фатализма: раз нельзя повлиять на власть, разрушающую дее-

способность больниц и достоинство врачей, то и для конкретного больного выше головы не прыгнешь.

Государство у нас традиционно почитаемое личности. Даже когда его винят в немытости больничных коридоров, оно важнее, ценнее, субстанциальнее, чем имярек, занимающий коридорную койку; последний — только случайный субститут подлинного «нашего всего». На беду, злосчастный субститут конкретен и достигаем — на нем и фокусируется недооцененность, спущенная по властной вертикали. Бессознательная месть за этакое унижение задела и мои обсеянные легкие.

Еще симптом. Установку «насколько государство нас ценит, настолько будем лечить» не могли поколебать деньги, передаваемые в конверте. Официальная — насаждавшаяся сверху — этическая астенция не отзывалась на низовой допинг нелегальных гонораров.

Похоже, деньги не так сильны, как их малюют. Денег никогда не будет достаточно для качества труда и ответственности работника, если выродились профессиональная школа, творческая традиция, коллективные честь и память. Там, где меня сперва лечили (то есть не лечили), перечисленное не было уже и легендой — разве только слоганом для организаторов платных услуг, арендовавших больничные корпуса. Надо надеяться, здоровый профессиональный дух мало-помалу оклемается в персонале, перемещенном в отремонтированные ординаторские и под надзор коммерческого медицинского страхования. Но на описываемый период (*май 1999 — январь 2000 года*) славные традиции известной городской клиники были скорее мертвы, чем живы. Оттого столь безоговорочно «умерли» и меня.

**В Кафе.** В Онкоцентре РАМН отделение клинической (К) фармакологии (Ф) именуют с юмористической легкостью: «кафе».

В это-то «кафе» *в феврале 2000 года* измученные тревогой родные принесли мои снимки и стекла (обработанные цитологами срезы опухолевой ткани). На руководителя отделения А. М. Гарина, основоположника химиотерапии в нашей стране, доктора наук, профессора, академика РАЕН, объективное досье произвело удручающее впечатление. Что к отметанию пациентки с порога, однако, не привело.

Август Михайлович и его коллеги работают в условиях, требующих не меньшей выносливости, чем у муниципальных хирургов, о которых рассказано выше. Но их «кафе» защищено живыми ценностями — наукой, научным сообществом, принятым в научном сообществе «гамбургским счетом» (впрочем, перечисленные ценности живы тоже не сами по себе, а благодаря исповедующим их людям).

Нормальная наука равно открыта установленным закономерностям и неожиданным эффектам. В онкологии этот паритет воплощается в трезвой оценке непрозрачно-сложных, скользко-коварных свойств реальности, к людям отнюдь не благосклонной (не такова ли вообще реальность?), и в зоркой, настороженной, постоянно отобилизованной надежде на несводимость к среднестатистическим показателям конкретных человеческих случаев.

За мой случай взялся ведущий научный сотрудник С. А. Тюляндин. Сергей Алексеевич диагноза не скрывал, ложных упований не внушал. Сказал по поводу прогноза: «трудный вопрос» и повел очередное исследование. Повел так, как подразумевается призыванием (а слово-то неактуальное — пишу и чувствую стилистическое неудобство, как будто «днесь» какое-нибудь вывела). Призыванием же подразумевается, что от поглощенности анализом, взвешиванием решений, перепроверкой результатов ученый просто не способен избавиться, как бы ни уставал и что бы вокруг ни происходило.

При общении с проф. Тюляндиным в памяти приветно звучал пугавший в школьные годы самоироничный афоризм учителя моего Ю. Н. Холопова, великого работника и живого классика музыковедения. В начале урока гармонии

(по расписанию должен длиться 50 минут) Юрий Николаевич повторял: «Не пройдет и трех часов, как мы закончим заниматься» (а проходило нередко больше трех часов)...

**Несгибаемый перфекционизм.** Эта константа науки (да и любого квалифицированного труда) ощутимо маргинализуется (ср. «Маленькие истории из научной жизни» Р. М. Фрумкиной, опубликованные «Новым миром» в июне 2001 года). В том ли причина, что членам научного (образовательного, художественного и др.) сообществ не доплачивают?

Именитым музыкантам-«звездам» платят неплохо. А выдают некоторые из них нередко (и даже систематически) продукт, мягко говоря, неряшливый. Но считается за ценность: действует понятная потребность уважать крупные имена и многолетние биографии. К тому же пиар (он же гонорар) выдан «звезде» вперед. За билеты, буклеты и букеты публика успела заплатить — высшее художественное достижение материализовалось (а тем самым как бы состоялось). Если на таком фоне некий газетный критик объявит, что король-то голый, на него упадут подозрения в оплаченной пристрастности... Замкнутый круг. Сомнительности громко анонсируемых свершений «звезд» прямо пропорциональна сомнительность публичной критики в их адрес.

Рыночный принцип — чем меньше текущие трудовые затраты, тем эффективней производство — усвоен на всех ступеньках профессиональных лестниц. Составитель примечаний, списанных из справочного издания (чего в общедоступном справочнике нет, о том нет и примечаний), как бы мизерно ему ни заплатили, получает существенно больше, чем стоит его работа, ибо его работа не стоит ничего...

Ввести бы дифференцировку: *настоящая* «звезда», *настоящий* доктор наук — в отличие от тех «докторов наук», число которых, например, множится в Госдуме (научные степени, полученные после депутатских мандатов, смахивают на автоматически штампуемые приложения к удостоверению VIP). Но это как с осетриной второй свежести: рядом с *настоящим* доктором наук будет легализован и «ненастоящий» (но все-таки «тоже») доктор наук.

Премии, что ли, национальную учредить для тихо упорствующих перфекционистов? Но из кого формировать жюри? Разве только из лауреатов этой премии. Еще один замкнутый круг...

С другой стороны, импульс для санации замусоренных иерархий (как и вообще понятия иерархии) необходим — самопроизвольно они в действующей системе отношений не прочистятся.

**Сплюснутая иерархия.** Новое время, конвертируя христианство в либерализм, строило культуру без иерархии. Итог эксперимента: злокачественное перерождение ключевой просветительской формулы «знание — сила» — пиар в связке и в тождестве с террором. Террористическая атака на небоскребы — сразу и то и другое, а также и бизнес, оптимальный в условиях транснациональной монополизации рынка (в СМИ промелькнули сообщения об активной биржевой игре с акциями авиационных страховых компаний накануне взрывов).

Обратимость «знания» и «силы» наблюдается не только в поведении правящих элит. С. С. Аверинцев (в Сети — в июле 2001 года, в печати — в «Новом мире» за сентябрь 2001 года) с тревогой описывает эпизод: в Вене «мальчики и девочки маршируют под простенький ритм бесконечно повторяемого выкрика: „Eins, zwei, drei — Palestina frei!“» Что чувствуют марширующие и скандирующие? То же примерно, что футбольные фанаты со своим «Оле-оле-оле-оле! Спартак — чемпион!» — необоримый напор, смелый натиск, победительную силу, которой каждый в отдельности, наедине с собственной жизнью, лишен. Содержание лозунгов, выкрикиваемых хором, не имеет особого значения. Значение выкриков состоит в стимуляции/манифестации «энергетики». Сила есть единственное и поительное «знание» скандирующих и марширующих.

Сходным образом обращаются друг в друга культурное и биологическое. Если в политически корректных кругах популярно становится самоопределение по сексуальной ориентации как способ мировоззренческой самоидентификации, то в кругах политически некорректных — объединение по цвету кожи (напомню довольно давний лозунг афро-американского писателя Дж. Болдуина «Будущее будет черным»; сегодня игра значений, в нем заложная, уже как-то не бодрит).

Взаимозаменяются также лицо и тело. Фигуры топ-моделей стали «лицами» рекламируемых товаров; лица политических и духовных лидеров в медийной системе означают не столько самих себя, сколько коллективное тело нации или религиозного движения.

В близнецную пару превращаются бессмертие и смерть. Новейшие панацеи — клонирование и эвтаназия, надо думать, скоро будут предложены в качестве взаимодополнительных способов терапии. Взаимодополнительности бессмертия/самоубийства подчинен и террористический суицид.

Если вернуться к событиям вокруг *11 сентября 2001 года*, то перечисленное укладывается в совпадение экономической ликвидности и антропологической самоликвидации.

Дело отнюдь не сводится к широко обсуждаемым ныне «двойным стандартам». Так называемые «двойные стандарты» маскируют и проявляют наличие единого *неиерархического* стандарта: «верх — то же, что низ».

**Катастрофы и иммунитет.** Действительность, из которой вынут стержень иерархии, оказалась предательски хрупкой, как организм, в котором выключена иммунная система. Такой организм становится в одних случаях (аутоиммунные заболевания) собственным убийцей, в других (например, ВИЧ-инфекция) — пособником своих убийц, в третьих (злокачественные опухоли) — тем и другим сразу.

Случай *11 сентября* относится к третьему роду. Дьявольский замысел удался террористам не столько по причине их, как звучало в прессе, «гениальности», сколько из-за безмятежной расхлябанности спецслужб. Цивилизация, которой не интересна идея скромного служения совершенству, непроизвольно пособничает палачам. Террористы — внешний агрессор. Но степень нанесенного ими ущерба имеет аутоиммунную природу. Наиболее престижный в рыночном мире участок застройки был использован предельно эффективно: вверху теснятся гигантские высотки, внизу — сплошные полости гаражей, туннелей и станций метро. И вот две протараненные башни падают, нарушается балансировка почвы и еще несколько зданий обваливаются или утрачивают вертикаль уже как бы сами по себе. Достичь апокалиптического масштаба террористам «помогла» ничем не сдерживаемая (ничего выше себя не признающая — эмансипированная от иерархии) идеология капитализированной власти над землей.

Как выключается цивилизационный иммунитет? Почему в западном мире он очевидным образом ослаб?

В принципе и в общем случае уязвимость возрастает пропорционально сложности. Не зря в словаре засвидетельствовано: синоним сложного — хитрый, а синоним хитрого — каверзный. Но мало сложности самой по себе. Решает то, ради чего появляются все более «навороченные» способы адаптации человека к среде, будь то небоскребы, авиалайнеры или бытовые предметы.

В последние десятилетия вещи усложнялись ради растущего удобства пользования ими. Целью совершенствования техники стала легкость обращения с ней, доходящая до подмены трудовой сосредоточенности празднично-игровым состоянием. Подспудным направлением прогресса оказался упадок дисциплины. Отсюда и катастрофы — как непреднамеренные, так и целенаправленные. Опытным пилотам пассажирского лайнера, упавшего *весной 2001 года* под Иркутском, достаточно было выпить пронесенного на борт го-

рячительного и случайно задеть некий рычаг. А террористам, чтобы потрясти мир, хватило овладения во флоридской летной школе всего лишь двумя маневрами пилотирования — разворотом и пикированием.

Противостоять разрушительному всесилию комфорта может лишь этика перфекционизма. Но ей-то как раз неоткуда в сегодняшней неиерархической культуре взяться.

Хочется утешиться мыслью: перфекционисты и дальше будут рождаться — столь же непредвидимо и необходимо, как рождались до сих пор. Но допустимо предположение, что их нынешнее наличие — проедаемое наследие культуры *настоящей* иерархии, чьи очертания всё более остаточны и размыты. Культурные гены по инерции продолжают действовать — в мутировавшей системе. Дальше может произойти вытеснение их в апоптоз (запланированную смерть)...

**«Короткими перебежками».** В ходе химиотерапии вены постепенно выжигаются изнутри; боль при вливаниях нарастает. Процедурная сестра Т. Гришечко вначале садилась рядом и вовлекала в разговор. Порог шуток-прибауток был перейден, и в дело пошел новокаин. Цитостатик смыкает обезболивающее со стенок вены, но какое-то время помогает. С восхождением на ступень «заслуженной пациентки» (это когда уже очень больно) начались «короткие перебежки» (из сленга инфузионной процедурной): капельница периодически отключалась — до стихания боли и включалась — до усиления болевого синдрома. Важно правильно схватить момент: боль не должна набрать высоту, с которой спускаться предстоит слишком долго. Татьяна с непостижимой точностью улавливала этот миг, не принимая во внимание заявления, что лучше потерпеть подольше, зато поскорей завершить процедуру. На самом деле быстрее получалось по ее опытно-интуитивной схеме, а не по моей, основанной на нетерпеливой рациональности.

*Летом 2000 года*, когда я раз в две недели мозолила взглядом банку с лекарством (когда же оно кончится?), а Татьяна юмористически прикрикивала: «Не надо гипнотизировать раствор!», у нее тяжело болел отец, а потом и умер. Об этом мы тоже говорили во время процедур, и ни разу медсестра не допустила (в интонации — не то что в выборе слов) экспрессии, способной ассоциативно задеть пациентку. Разумеется, ей было нелегко. Но к тяжелым переживаниям в этом месте относятся как к правильной постановке вопроса.

**О древних финикийцах.** Замечательная скрипачка Татьяна Гринденко, вдруг ощутив разом беспросветную натруженность и изумленную благодарность, воскликнула, когда после ее победы на конкурсе в Брюсселе королева Бельгии подарила ей феноменальной красоты, воистину королевское концертное платье: «Большое, огромное, *чудовищное* спасибо!» Отголосок непомерности слышится и в моем «спасибо», обращенном к медикам, подарившим вот уже полтора года «сверхсрочной» жизни; время-то подарено довольно тяжелое.

Древние финикийцы измеряли прожитые дни в категориях веса: вот где берет начало онкология.

Не знаешь, куда что пойдет. Финикийцы и их меры времени *в конце 1980-х* аллегорически пригодились в исследованиях современного шлягера (тогда он обрел по сю пору действующий кодекс времени: ритмическое размалывание базовых акцентов в невесомо малые величины). А нынче взвешивавших время финикийцев приходится вспоминать как по личному случаю, так и в связи с глобальными судьбами.

Должно ли время быть не тяжелым? Не выяснилось ли, что легкость времени опасна? Празднично-доступный комфорт, царивший на переднем плане культурной картинке до самых последних недель, — насколько он антропологичен? На первый взгляд дальше некуда: все во имя человека, все во благо человека. Но ведь по определению нетяжелое мало весит — и стоит. Время жизни исподволь обесценивалось. Его пришлось искусственно насыщать катаст-



рофическими субститутами веса — и в кинобоевиках со спецэффектами, и в интеллектуальном бомбизме всякого рода «красных бригад». Террор как вызов/протест/рыночный/политический инструмент и вместе со всем этим также шоу в генетическом отношении есть сытая европейская идея, а не голодное отчаяние «третьего мира». Но, к несчастью, как раз «жирные» идеи, возникающие на почве пресыщения, особенно успешно овладевают тощими массами. Развлекательные кадры взрывов и карнавалы студенческие беспорядки поначалу всего лишь оттеняли и взбадривали несколько скучную атмосферу благополучного цивилизованного быта. Но тень мало-помалу субстантивировалась и стала привилегированным жанром культуры. Случайно ли: хитом поп-сцены *летом 2001 года* стал клип немецкой группы «Раммштайн», изображающий террористический захват города, на текст «Я хочу вас контролировать, / Я хочу вас подчинить...»; при этом никаких «хороших парней», которые победили бы «плохих», в клипе не присутствует (а присутствует, между прочим, самоподрыв одного из brutальных героев)... Еще шаг — и тень начнет действовать самостоятельно. И вот мутация произошла. Теперь вес времени будет определяться изнурительно тяжелой борьбой с рассеянными повсюду метастазами террора, то есть в онкологически-финикийских категориях.

**После ошибки в описании снимка.** Первый курс химиотерапии (*апрель 2000 года*) дал успех: «положительная динамика». После второго курса с надеждой на повторение приведенной формулы пришлось подождать. «Без динамики» — значит, опухоль лекарственно резистентна (адаптируется к должествующим разрушать ее медикаментам).

Сдерживая похоронную мимику (в стенах Онкоцентра терминальное выражение лица, по негласной солидарности пациентов и докторов, тщательно избегается), приношу выписку из рентгена кандидату медицинских наук М. Б. Стениной (она «подхватывала» меня в отсутствие С. А. Тюляндина). Неузвимо свежей миловидностью и рассудительным спокойствием Марина Борисовна убедительно противостоит предмету собственных научных занятий. «Что будем делать?» — «Подумаем» (думы привели к повторному анализу снимка — динамика имелась, но увидеть ее помешал случайный компьютерный сбой). Не могу сдержаться, задаю психологически давящий вопрос: «Это фатально?» В ответ: «А знаете, от чего по статистике чаще всего умирают?» — «...?» — «От жизни».

**О неразрешимых проблемах.** В начале нашей эры гарантировалось только право духовного выбора. В XX веке оказались общепризнанными (словно столь же трансцендентно гарантированными) права на высокое качество и желательное количество жизни. Массовый культурный дискурс культивирует небезобидные предрассудки. «Ведь я этого достойна!», «Вы достойны самого лучшего!» — речь ведется всего-то о продвигаемых на рынок марках шампуня или жвачки, но безмятежная самоуверенность усваивается как фундаментальный принцип.

Из безусловного права на «самое лучшее» вытекает право притязать на то, что уже кому-то принадлежит. Например, на право акционеров управлять собственностью (ср. скандал вокруг НТВ *весной 2001 года*), или на финансовую помощь со стороны более сильных экономик (ср. условия афганских талибов *в сентябре 2001 года*: бен Ладен — в обмен на финансовые вливания), или на включенную в признанные границы территорию для национально-государственных новообразований (ср. действия албанских сепаратистов в Македонии *летом — осенью 2001 года*). Эйфория разрастающихся прав конвоируется уверенностью в разрешимости любых проблем: «и на Марсе будут яблони цвести».

И ведь мало того, что если есть проблема, то есть (?) и решение. Якобы всегда возможен выход из тупика, не затрагивающий априорно привилегированных комфорта и долголетия. Не зря же *с 1999 года* в политических раскладах все более громко и расчетливо использовались иннервирующие гуманизм

обвинения в непропорциональном применении силы, когда речь шла о борьбе с чеченскими террористами (теперь-то проповедники пропорций сами готовы нанести истребительные удары — и чуть ли не куда угодно, лишь бы действовать)... С другой стороны, не видно, что где бы то ни было опасность конфликтов и агрессий отслеживалась и оперативно купировалась бы на стадии, аналогичной предракетивным состояниям...

А ведь главная проблема борьбы со злокачественными новообразованиями — ранняя диагностика. Она ни в одной стране не развита — ни как институция здравоохранения, ни как личная практика. Благополучным обывателям кажется, что им поताкает сам порядок вещей. «Со мной этого не случится» — ненадежный оберег. Каждый третий, согласно проективной статистике ВОЗ, **в ближайшие 15 лет** станет онкологическим пациентом, а **до того лет 5** не будет об этом догадываться. Когда клинические симптомы обнаружатся, проблема уже станет неразрешимой.

Из веры в «мы достойны, следовательно, осуществимо» проистекают вошедшие в норму оплошности проектантства, как лично-биографического, так и социально-глобального. Сознанию, зачарованному прогрессом, хочется (а значит, как бы и «может») всего сразу и окончательно: если не коммунизма, то какой-нибудь сверхсистемы космической защиты. Между тем коммунизм с успехом замещается олимпиадой (или даже просто колбасой), а агрессорам, наносящим неприемлемый ущерб, вполне хватает ножей для резки картона...

Несмотря на поучительный опыт XX века, утопический стереотип действует и сейчас. Не зря в СМИ почти ничего не слышно о повседневном, трезвом, конструктивном, происходящем не в будущем совершенном времени, а в настоящем продолженном, — например, о труде тех же онкологов. Характерный штрих. **В ноябре 2000 года** в Москве проводился Международный симпозиум онкологов. Информация о предстоящем событии доводилась до центральных телеканалов. Так вот: лишь в одной телевизионной дирекции не потребовали денег за съемку сюжета и его выдачу в программах новостей...

Распространенная ментальная конфузия заключается в том, что на неразрешимые проблемы, безвыходные обстоятельства, необратимые деструкции культурно выговариваемое сознание не ориентировано ни стратегически, ни тактически, зато ориентировано на недосыгаемое светлое завтра. Между тем в реальности означенные проблемы, обстоятельства и деструкции из малоосязаемого «вчера» неуклонно становятся грозным «сегодня» — именно потому, что «вчера» было упущено как «сегодня», именно оттого, что его проглядели за миражами «завтра».

Но из признания, что неразрешимые проблемы есть (и даже что *сегодня* с локальных обочин мирового развития они переместились в самый его центр, а следовательно, задевают всех), призыв к недеянию отнюдь не вытекает.

Злокачественные новообразования не считаются излечимыми (в смысле окончательного и бесповоротного исцеления). Профессионально вменяемый врач не скажет пациенту: «Всё, вы здоровы», а тем более не пообещает непременно справиться с болезнью. Тем не менее рак лечат. Каждый раз заново онкологи продвигаются в узком и темном коридоре (заденешь плечом — обрушится) между агрессивностью опухоли и сопротивляемостью организма. И нередко достигают успехов, бесценных для их подопечных.

Есть еще надежда на чудо. Она тоже способствует деятельной и осматрительной настойчивости. Но именно надежда, а не наглость в стиле «мы достойны самого лучшего».

**Изречение Силуана.** «Держи ум во аде и не отчаивайся» — об изречении афонского старца Силуана узнала **в апреле 2001 года**, работая над разделом о музыке Арво Пярта (у Пярта есть сочинение «Песнь Силуана») для новой книги.

Замысел книги возник благодаря телефонному разговору с известной издательницей И. Д. Прохоровой. Тогда, **в марте 2000 года**, шел десятый месяц со

времени обнаружения инкурабельного состояния, четвертый месяц жизни, перевалившей за первоначальный прогностический рубеж, и первый месяц лечения на Каширке.

Когда книга для Ирины Дмитриевны дописывалась, специалисты по компьютерно-томографическим обследованиям характеризовали состояние моих легких словами «фиброз» и «рубцы». «Рубцы» — значит, опухоль ссохлась, как корка на заживающей ссадине.

Настоящие заметки пишутся *в августе — сентябре 2001 года*. Августовская рентгенография показала новые слабовыраженные пятна: рецидив. Снова капельницы, снова ожидание снимков. Но на сей раз мне легче: я знаю изречение Силуана, я его проверила на себе еще до того, как оно мне стало известно.

Не уверена, что лечащие врачи знакомы с этим афоризмом. Но действуют и говорят с пациентами они так, как если бы сами были авторами Силуановой максимы.

**Аберрация масштабов.** Ожидаемую продолжительность жизни в исследованиях по клинической онкологии принято подсчитывать в месяцах. Эффективность лекарственных средств измеряется (в зависимости от вида опухоли) с точностью от двух месяцев до полугода.

Оптика, ориентированная на подобные величины, со стороны кажется крохоборческой. В публичном речеворении преобладают инициативы, обращенные не просто к большому — к тотальному. Даже прибыльное малое не в чести, если его карикатурно не увеличить. Ср. рекламные ходы: «Люди *пойдут на все*, чтобы собрать как можно больше оберток от „Стиморол”» или «Запишите телефоны *горячей линии* „Антиперхоть”». Коммерчески обыгрываемые пустяки пробрались в семантическое поле «мы за ценой не постоим» и «погибшие в авиационной катастрофе и их семьи»...

Культурный стандарт престижного здания — небоскреб. Культурный стандарт престижного транспорта — огромный авиалайнер. Культурный стандарт обороны — противоракетный космос... Пересадим всех ездящих по служебной надобности с одних автомобилей на другие. Поменяем алфавит с кириллицы на латиницу. Поменяем русскую орфографию, чтобы все двоечники стали отличниками и наоборот. Форматы-то какие гигантские. И расходы тоже. А вот керосиновое озеро под подмосковным поселком, что вблизи аэродрома, — это так, мелочь. Еще менее презентабельны нужды онкопациентов, на которых не хватает ни лекарств, ни компетентных врачей, ни клинических площадей, ни диагностической и лечебной аппаратуры, ни даже пробирок для гематологических анализов...

Услышанное из коридора: в кабинете онколога пациентка (видимо завершившая курс лечения и, вероятно, не потому, что получен хороший результат, а потому, что химиотерапию продолжать опасно) повторяет: «Вы уже продлили мне жизнь... Спасибо... Пусть всего на четыре месяца... Спасибо, спасибо...»

**Цепь случайностей, или Сокровенный союз людей.** Вернусь к изречению, переданному по причудливо неразрывной цепи от афонского аскета через эстонского композитора и московского издателя. Сама эта цепь подтверждает требовательное: «...и не отчаивайся!»

Цепь оказалась многозвенная. От бытовых тягот, неподъемных при химиотерапии, спасали родные. От губительного страха смерти спас о. Павел Лысак, которого в самый критический момент (*весной 2000 года*) привез ко мне давний и постоянный мой советчик Владимир Юмашев. От пневмонии, разыгравшейся в паузе между курсами химиотерапии *летом 2000 года*, точными (даже щегольски точными) действиями спасли пульмонолог Сергей Маланичев и терапевт Галина Филиппова из Бассейновой больницы. Их тандем безошибочно и оперативно вычислила для меня доктор Ирина Куница, уловившая профессиональным слухом угрожающие нюансы в одышке телефонной собеседницы. А И. М. Куница приняла надо мной шефство *в марте 2000 года* по тревожной

просьбе предпринимателя Александра Захарова, позвонившего с рабочим предложением и в ответ узнавшего о моих обстоятельствах.

Еще одна случайность и еще одно звено цепи: после избавления от пневмонии (а именно *в июле 2000 года*) на Каширке случился перебой с лекарствами — ровно с теми, которые требовались для выработанной проф. С. А. Тюляндиным новой схемы лечения. Их одноразовый коктейль стоил больше полутора тысяч долларов. А регулярность приема коктейля — каждые две недели. А заработок профессора консерватории... И если бы не...

Небольшое хронологическое отступление.

**«И стал пред ним ходить».** *В январе 1999 года* в «Новом мире» опубликована статья «Радость (?) выбора (?)», вызвавшая полемику. Досталось тезису о благотворительности, способной смягчить рыночную реальность, не посягая на ее либеральное (в генезисе христианское) основание — свободную персональную инициативу. Благотворительность ведь и есть добровольное личное деяние, а в то же время сильнодействующий фермент социальной солидарности. Но в надеждах на нее усмотрели намек на «третий путь» и, следовательно, недостаточную верность не то «первому», не то «второму» путям развития.

Во время *дефолта 1998 года*, когда писалась статья с абзацем о благотворительности, начиналась работа, приведшая к учреждению Благотворительного Резервного фонда. Фонд повел социально неотложные проекты. В частности, прошел конкурс среди кафедр последипломного медицинского образования, базирующихся в непривилегированных клиниках. Семь кафедр в разных городах *зимой 1999 года* получили гранты в виде необходимой диагностической и хирургической аппаратуры: и научным коллективам почет, и для специального образования толк, и для больных новые шансы. А заодно, между делом, ответ на полемику — в духе предания о незатейливо-убедительном аргументе в споре с Зеноном, отрицавшим движение: «И стал пред ним ходить».

Нашлись у фонда и попечители, и доноры, и добровольцы (в том числе эксперты, которые, зная положение дел в своих областях, продумывали, как достичь оптимальности благотворительных затрат). Объединил их А. Е. Лебедев — руководитель Национального Резервного банка, чье имя в этом тексте уместно еще и потому, что он поддержал выше цитировавшийся журнал «Практическая онкология». Вообще же Александр Евгеньевич поддерживает многое и многих, нередко без специальных просьб. И я, в непредвиденный момент истощения онкоцентральной аптеки, пополнила этот ряд.

В круг экспертов фонда почти с самого начала одним из координаторов-добровольцев был вовлечен проф. С. А. Тюлядин. Его аналитические записки были учтены в нескольких проектах. И надо же: спустя год как раз на то клиническое отделение, в котором он работает, мои снимки и стекла были выведены лихорадочными усилиями моих родных...

Так вышло-сошлось. Упорствующие в хождении перед зенонами выходили и меня. Люди, неформально (вне всяких контрактов и даже вне личных знакомств) объединенные персональной свободой долженствования, в критической ситуации не просто оказались под рукой — сообща персонифицировали руку Спасителя.

Во всяком случае, рентгеновская картинка моих легких на время прояснилась. Она была настолько чиста, что химиотерапевты отпустили меня на каникулы... Теперь лечение идет на существенно менее крошечном фоне, чем прежде. Может быть, удастся дотянуть до выхода в клиническую практику ныне испытываемых лекарственных препаратов, длительность использования которых не лимитирована токсическим эффектом.

**Онкология как модель.** Сменим масштаб. Все-таки модель — не конкретная история болезни (можно рассказать еще несколько историй о «сверхсрочной» жизни, иногда многолетней, но они будут уже из вторых рук), а онкология в целом.

Спросим: часто ли вне онкологических ситуаций можно наблюдать в действии спасительное согласие людей? И чем объяснить особую отомобилизованность свободного чувства долга именно в онкологических обстоятельствах? Не тем ли, что онкологическое страдание — опасность, которая таится внутри нас и заключается в нашем неконтролируемо-подспудном перерождении? Не ужас ли перед угрозой собственной мутации объединяет людей? Рак натурализует ужас в мучительных болях, интоксикации, кахексии, патологических переломах костей и т. п. Но для здоровых, помогающих больному, угроза страшна скорее своей метафизической сутью, неизмеримо более широкой, чем площадь опухолевого поражения у отдельного пациента. Рискну предположить, что онкология воспроизводит в обмирщенной культуре то, что традиционно называлось «страх Божий»: безусловный ограничитель самоубийственной свободы притязаний.

...Кстати, по реакциям мировой элиты на события *11 сентября 2001 года* пока не заметно, что необходимость в таком ограничителе осознается; напротив, спираль притязаний раскручивается...

Вернусь к онкологии. Поразительно: кроме нее, пожалуй, нет другой области прогресса, плотно интегрированной в рынок, в которой неуклонно избегались бы искушения алчной политизации, пустопорожнего пиара, виртуальных стоимостей. Доведение до клинической практики новооткрытого лекарства обходится в суммы от 600 млн. до 1 млрд. долларов. Открытия чаще всего совершаются небольшими исследовательскими коллективами; реализуются же крупными фармацевтическими компаниями. Каковы, при всей их коммерческой функциональности, не прибегают к обычному на современном рынке рекламному надувательству. Множество химических субстанций и молекулярных конструкций снимались с дистанции ввиду выявившихся в ходе дорогостоящих испытаний недостаточной эффективности или чрезмерной токсичности. То есть: профессиональная специфика онкологии, связанная с осознанием масштабов угрозы, заключенной в самом человеке, даже рынок делает моральным.

Кодексы онкологии содержат образцы для социальной практики, столкнувшейся с тяжелыми проблемами. А также для своевременного распознавания таких проблем.

Надеяться надо («...и не отчаивайся!»). Но надежда должна быть деятельной и предусмотрительной. Ценностная конституция, при которой обеспечивается такая строгая надежда, не должна оставаться внутрицеховой принадлежностью онкологии.

Ведь мы этого достойны?



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ

\*

## БЕЗ БОГА

*Записки доктора*

(1926 — 1929)

*Константин Александрович Ливанов родился 19 (31) декабря 1874 года в селе Александрова Пустынь Николо-Задубровского уезда Ярославской губернии в семье сельского священника. Отец его, Александр Николаевич Ливанов, рано овдовел и сам воспитывал четверых детей. Его очень любили прихожане, которым он никогда не отказывал в совете и помощи.*

*Константин Александрович, получив образование в Ярославской духовной семинарии, а затем в Томском университете, работал земским врачом в Ярославской губернии. Участвовал в создании детских яслей на селе, активно сотрудничал с «Вестником Ярославского земства». В 1900 году он женился на Надежде Васильевне Богородской, происходившей из духовного сословия. У них родились два сына, Вадим и Герман, и дочь Галина. В 1907 году он переехал с семьей в Рыбинск и стал вольнопрактикующим врачом. Несколько лет они жили в одном доме и поддерживали дружеские отношения с семьей Ошаниных, в которой в 1912 году появился на свет будущий известный поэт-песенник Лев Иванович Ошанин.*

*С началом Первой мировой войны Константин Александрович организовал в Рыбинске военный лазарет для раненых, которых привозили с фронта, и заведовал им до 1918 года.*

*С 1920 по 1930 год он работал врачом в поликлинике им. Семашко, занимался частной практикой.*

*В 1916 году доктор Ливанов стал членом Рыбинского научного общества. Он пытался обобщить опыт своих коллег-врачей и был деятельным сотрудником журнала Рыбинского горздравотдела.*

*Константин Александрович на протяжении всей жизни увлекался земледелием. В 1911 году Ливановы купили дачу в деревне Михалево под Рыбинском, которую их знакомые прозвали «Ливановкой». Вместе со своим отцом Александром Николаевичем Константин Александрович выращивал там редкие сорта деревьев, кустарников и даже южных растений. В начале 20-х годов он отдал «Ливановку» молодежной секции Рыбинского научного общества для создания биологической станции. Активными членами этого кружка были дети доктора Ливанова.*

*В 1928 году Константин Александрович оказывал врачебную помощь известному философу, профессору С. А. Аскольдову, сосланному в Рыбинск. Он очень был дружен с Алексеем Алексеевичем Золотаревым, писателем и краеведом, председателем Рыбинского научного общества. (А. А. Золотарев посвятил К. А. Ливанову один из очерков своей и по сей час полностью не опубликованной книги «Сатро santo моей памяти».)*

*В 1930 году Константин Александрович был арестован и через год выслан в Казахстан. Еще находясь в рыбинской тюрьме, он заболел. В ссылке болезнь прогрессировала, в 1932 году его, парализованного, привезли на родину, в Рыбинск.*

*Родственники ухаживали за ним в течение двенадцати лет. Двенадцать лет страданий, невозможности не только ходить, но даже общаться с близкими. 17 ноября 1942 года Константин Александрович Ливанов скончался и был похоронен на Старогеоргиевском кладбище возле Георгиевской церкви.*

*Дневник, предлагаемый вашему вниманию, он вел с 1926 по 1929 год. Скорее это записки дневникового характера, воспроизведение, даже с сохранением транскрипции и диалектов, рассказов его пациентов. Это отдельные запомнившиеся ему выражения или просто интересные фамилии. Из этих записок видно, насколько любили и доверяли своему доктору больные, приходившие к нему в Рыбинск даже из далеких сел. По словам А. А. Золотарева, К. А. Ливанова отличало «умение разбираться в житейском испытании, вскрыть греховную язву и удалить ее — это было наследственное богатство Константина Александровича, умноженное высшим медицинским образованием и глубоким, постоянным наблюдением людского быта и земного царства. Диагнозы Константина Александровича были зачастую блестящи, выводили товарищей-врачей на верный путь лечения, подтверждались в столицах — в Питере и в Москве. С другой стороны, тоже наследственная страстная любовь к любимой и родящей Земле делала из Константина Александровича изумительно терпеливого и бесценного врача-утешителя, врача-исповедника, готового, как и его отец, принять последние минуты умирающих так, как велит Бог Отец всяческих и как того требует наша человеческая совесть»<sup>1</sup>.*

*Дневник К. А. Ливанова чудом уцелел во время обысков. Родственникам удалось спасти эту маленькую тетрадь, исписанную бисерным почерком Константина Александровича. В настоящий момент «Дневник» хранится у его внучки Светланы Всеволодовны Вейде, в Рыбинске.*

*Записки К. А. Ливанова публикуются в сокращении, обусловленном формате журнальной публикации. Издание их отдельной книгой — дело, надеемся, недалекого будущего.*

## 1926

### 24.IV.26. Ночь под Вербное воскресенье.

«**М**не и одному хорошо, и со всеми. Я не одиночка и не общественник. Но когда я один — я полный, а когда со всеми — не полный. Одному мне все-таки лучше. Одному лучше — потому что, когда я один, — я с Богом!»

Почему-то пришли на память эти милые, чудесные слова даже и не вспомню кого... Может быть, потому, что за стеной играет моя Галя?.. Весь день у меня какое-то тревожное, потерянное настроение. Как будто обронил что-то важное, нужное — и не могу найти. Сейчас Галя вернулась из церкви и очень оживлена: до самого дому донесла горящую свечку, и только у самого крыльца свечечка догорела, не потухла, а догорела до конца, обжегши ей пальцы. Рассказала, как на улице какой-то кавалер под ручку с дамой, поравнявшись с ней, хотел было что-то сказать по поводу горящей свечки, но не успел, а только презрительно фыркнул и получил за это «большого дурака». Рассказала и улетела. И вот слышу: подбирает что-то на ролях...

И вдруг как-то светло и тихо стало. Такая знакомая, давно-давно родная мелодия... Вспомнилось, как в далекой юности я услышал ее в необычной обстановке.

Летняя ночь — удивительно ясная, лунная — в моем родном селе. Густой, молочно-серебристый туман закрыл все кругом. Не видно домов, чуть-чуть холмиками выступают из белого моря верхушки деревьев на погосте. А над морем голубое сияние.

По дороге слышен стук одинокой телеги. Все ближе, ближе...

<sup>1</sup> Золотарев А. А. Константин Александрович Ливанов. — «Русь», 1994, № 10, стр. 135.

<sup>2</sup> Галя — Ливанова Галина Константиновна (1904 — 1987), дочь автора.

И вдруг чудесный голос: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Не видно ничего, слышно только, как стучат колеса, фыркает лошадь. Голос — высокий, чистый, нежный тенор — как будто плывет из тумана.

Никогда потом ни одна песня не производила на меня такое глубокое, такое волнующее впечатление. Кто был певцом — я не знаю. Ночь была поздняя. Все в доме спало. Я стоял на балкончике нашей светелки — и весь дрожал и плакал. И мне теперь кажется, что я впервые тогда сознательно почувствовал Бога и научился молиться ему. Сажу один за своим столом и так живо чувствую, *почему одному мне лучше*: «Пустыня внемлет Богу...»

26.IV.26 г. Прислуга поздно вечером докладывает: «Пришла какая-то женщина и просит повидать Вас „на одно только слово“».

Входит крестьянка лет 45 и сразу в ноги: «Уж я к тебе, кормилец ты наш, за советом; вся на тебя надежда, заставь за себя Бога молить!» — «Расскажите, в чем дело?» — «С дочкой у меня беда стряслась. Сам знаешь — какая молодежь-то нонче стала: гуляют до утра, разве углядишь за ними — ну и догулялась!»

Разъясняю, в каких случаях законом допускается аборт. Выясняется, что ни одного подходящего условия здесь нет: живут хорошо, дочка единственная, совершенно здоровая, сошлась с кавалером добровольно, и главное, до родов остался один месяц.

Никакие резоны не помогают:

— Уж сделай милость, дай ты какого ни есть лекарства; есть, говорят, такие средства, никто ничего не узнает, под большим секретом держать будем. И сейчас еще никто не знает, отец и то ничего не замечает: право слово, живота совсем не заметно.

— Слушайте, мамаша: до родов остался только месяц — значит, ребенок уже большой, живой ведь, а не мертвый, и вы, значит, предлагаете мне убить живого человека... убить живого ребенка — будет это называться убийством или нет?

— Конечно, убийство. Дак ведь никто не узнает, мы уж молчать будем, ну и ты уж никому ни гугу.

— Пусть никто не узнает, а совесть-то на что существует, совесть-то человеческая позволяет делать такое злое дело? Вы лучше вот как сделайте: пусть дочка родит, тяжело это, неприятно, много всяких пересудов, и вас жаль, и мужа вашего жаль; а все-таки лучше пережить это тяжелое испытание, чем делать то, что задумали. Понемножку все сгладится, переживется, забудется. Урок страшный, но хоть не будет черного пятна на душе, и, может быть, это научит и дочку жить по-другому, по-хорошему. А отец-то ребенка вам известен?

— Как же, батюшка, — хороший такой, из себя видный, в годках уж — так под тридцать будет. Слова худого сказать нельзя — уж такой ли жених, что лучше не сыщешь!

— Ну так за чем же дело стало? Значит, и женится!

— Ну где женится? С полгода как укатил в Питер — и ни слуху ни духу. Удрал, мазурик, удрал.

— Вот тебе раз: сами же говорите, что человек хороший, — хороший человек не удрал бы...

— Жених-то больно завидный, говорю, а какой он там человек — разве разберешь?

— Ну, а про алименты вы слышали?

— Ну как не знать... Ах ты, горе какое! Разве мы так жили раньше-то! Батюшка-то твой, отец-то Александр — голубчик наш, наставитель-то наш, — да разве он допустил бы до этого?! При нем, скажи, все как святые жили. Ну, делать нечего — видно, и вправду об алиментах надо хлопотать. Спасибо тебе, кормилец, за совет, за ласку — думала, думала, к кому пойти: Бог-то, видно, и надоумил!

Около полугода тому назад обращалась ко мне в амбулаторию женщина лет 35, жена военнослужащего, с такой просьбой: осмотреть ее и дать справку,



чем она больна. Справка нужна для того, чтобы спасти мужа, который, напившись пьяным, что-то такое натворил, за что ему грозит суровая кара. Болезнь жены, необходимость за ней ухода даст возможность спасти мужа. Женщина оказалась действительно больной, и справку я дал. Через несколько дней она приходит и благодарит: мужу простили его вину. Приходил потом и муж и тоже благодарил за помощь. Произвел он на меня впечатление простого, доброго человека.

И вот сегодня (через полгода) опять эта женщина у меня, но уже с другой просьбой — осмотреть ее и дать удостоверение о побоях, нанесенных ее мужем: часто пьет и в последнее время стал драться. Хочет подать в суд: «Все могла стерпеть, а побоев простить не могу». Настроена решительно — в суд, и больше никаких!

— Может, лучше без суда обойтись? — говорю. — Будете судиться — мира уже никогда не будет у вас, только озлобите мужа. А разойдетесь — как же вы будете жить одна с троеми детьми? Подумайте, какая это будет жизнь — в вечной вражде. И вы сами чувствуете, что, если вашего мужа осудят, его положение будет ужасное: оставшись без места, опозоренный, он будет считать вас виновницей и никогда не простит вам этого. Наконец — насколько я помню, — ваш муж, по-моему, хороший и добрый человек и вас жалеет и любит. Я помню, как он был счастлив, когда его освободили от военного суда. Вы сами же говорите, что ему простили под условием: если обнаружится, что он пьянствует, второй раз его уже не помилуют. Если хотите, давайте устроим так: я напишу командиру полка частное письмо, в котором попрошу подействовать на вашего мужа путем отеческого внушения...

Женщина вынимает из кошелька маленькую бумажку и подает мне. На бумажке написано: «Даю сию записку в том, что больше обижать жену не буду и буду заботиться о ее здоровье, как требует медицина». И подпись мужа. Эту записку дал ей муж полгода назад, после избавления от суда.

— Ну вот видите, — говорю, — муж-то у вас просто милый человек, никто его не тянул — сам, по собственному почину, написал вам такую славную бумажку. Он, несомненно, и любит вас, и жалеет. Просто сбился с толку человек. Давайте поможем ему выбраться на путь истинный.

Жена растрогалась, заплакала...

— Спасибо вам, доктор, а уж я сгоряча-то совсем обезумела. Сделайте милость — напишите, как вы говорили. Идти по судам — какое уж это дело, добра не будет!

Бумажку я написал, и жена ушла совсем в ином настроении, забывши и про свои синяки.

Пьяный муж бьет жену по каждому пустяку — просто здорово живешь — и при этом приговаривает: «Убью — невелика штука, получу за это два месяца, тем дело и кончится, — много вашего брата найдется!»

Дочь с матерью не видались восемь месяцев, живя в одном городе. Встретились случайно на улице. Дочь говорит: «Здравствуйте, мама!» Мать останавливается и сухо говорит: «Извините, я что-то вас не знаю». — «Мама, милая! неужели не узнала, да ведь это я, твоя дочка Таня!..» — «Батюшки-светы, да что же это с тобой сделалось?.. похудела-то как... Царица Небесная! до чего дожили — дочку свою родную не признала!..»

«Семеро ребяток. И всех-то жалко. В большой бедности живем. Околевать бы надо, да ребяток-то жалко! Такие-то все хорошенькие, кругленькие, как мячики катаются. Все и норовишь их покормить, ну и общищают всю, как куру. Ничего в жизни не жалко, только ребяток жалко».

Жена о муже:

«Ни от кого не слыхала худого слова. Ну пусть бы он еще меня одну ругал, а святых-то не задевал. Ведь и не пьяница, а просто так, со злости: знает,

что я не выношу, — ну и зачнет ругать и Пресвятую Богородицу, и Николая-чудотворца. Все иконы, какие висят в углу, — все изматерит! Он ругается, а я плачу... С этим переворотом совсем обусурманел народ. А нам-то, женщинам, как тяжело! Вот и вспоминаю, как прежде у родителей-то жилось. Такие-то все хорошие да ласковые. Дедушка был — старенький-старенький. Не кричит, бывало, никогда, а все с такой лаской: „Аннушка, принеси-ко ты мне, милая...” А я давай плакать: хоть бы он поостроже как-нибудь сказал! Вот была какая дура».

27.IV. «Уж такая жизнь, что не приведи-то Господи! За один год на меня восемь выпадов!.. Только подумать надо, как все это пережить... Первое дело — овца пала. Купили трех овец — две принесли мертвых ягнят. Потом поросенка задавили ребята на улице, потом лошадь обезножела, муж захворал, крыша на сарае провалилась, а теперь — пожалуйста! — еще напасть: дочка невенчанная сына родила!»

5.V. Неожиданный результат моего обращения к командиру полка (см. 26.IV).

Жена приносит мне обратно мое письмо с сообщением, что командир не может разобрать написанное мною, и просит меня написать покрупнее и появственнее: «Я должен, говорит, вслух прочитать твоему мужу, о чем пишет доктор, а как же буду читать, когда разобрать не могу».

— Вот тебе раз — я и так старался написать лучше, чем всегда пишу. Вы-то сами ведь разбираете?

— Конечно, разбираю... дак чего уж с теперешних спрашивать: называются командирами, а совсем ведь малограмотные».

Переписал заново, большими буквами.

— Ну, теперь ладно будет, разберет?

— Теперь, пожалуй, разберет... как не разобрать — ведь я каждое слово издали вижу!

«Музыка и человеческая душа — да ведь между ними никакой разницы: они сестры. И когда человек играет или слышит музыку, обе сестры сходятся, обнимаются, поверяют друг другу свою тоску, желания, радости и надежды, ласкают друг дружку — и человек радуется, сам не зная чему, или скорбит, не зная о чем» (из моих старых записей).

10.V. *Мать о сыне.*

«Пришел как-то сынок ночью выпивши. Подошел к постели и сноху-то хлясть по лицу. Заступилась я... А он на меня, да все под зад-то сапогом, все сапогом, а сапожищи-то гвоздями подбиты. И не раз, и не два, а поди разов пять ударил. Как есть, всю искалечил, да и как не искалечить — не молоденькая, восьмой десяток пошел. А что ему сделала? Только молодуху, вишь, пожалела. На сносях ходит! Вот и пришла к тебе: полечи уж, сделай милость!

Только — прости ты меня Христа ради — не обидься, что я тебе скажу: никому не говори про сына-то, не засади его кому-нибудь. Мастер-то он больно хороший. А как выпьет этого самого „сраму”-то, „говна”-то этого, — так без ума и делается. Тебя как звать-то? Вот я и помолюсь за тебя. Уж больно я в Бога-то верю. Грешница — только по ночам молюсь, тайком молюсь, чтобы никто не увидел да не засмеял».

«Радехонька бы умереть — да смерть-то не приходит. Прошу у Господа смерти, как милости: от нынешней-то жизни, от деток-то любезных».

«Уж не собиралась в Рыбну-то, да услышала, что тебя переводят в Москву. Уж што у нас в деревне-то горя-то было... Видно уж, помирать надо будет без тебя. Вот и приехала проверить — правда ли?» — «Кто же меня переведет в

Москву или другое место, если я сам не захочу?» — «Силой будто перевели. Сначала сказали — в Ярославль: ну еще до Ярославля можно доехать! А потом, говорят, в Москву: ну уж в Москву-то не доехать!»

*14.V. Мать о дочери.*

«К Пасхе-то все торопятся, готовятся, у всех-то одна забота, как бы встретить праздник с радостью. А мне-то как тяжело — нету у меня родимой моей детушки. Звонят — такая тоска подымается. Забьюсь в угол — всю ночь просижу и проплачу. Уж, видно, пока не закрою глаза, не видать мне покою!»

Имя: Владлен; фамилии: Нечесанова, Баланцева, Моченова.

*21.VI.* На улице мать кричит дочери 3-х лет: «Не ходи за мной, окаянная! Тебе говорят, нечистый дух! Иди домой, засеря! Вот я тебя, черт вялый! Иди домой, черт, глиста окаянная!»

«Слава тебе, Господи! К кому хотелось, к тому Господь и привел. Сразу лучше стало, как вошла: как будто вполовину болезни не стало».

«Кажный вечер молюсь: Господи, скоро ли ты их сковырнешь — никакой мочи больше нет терпеть!..»

«Заставляют вязать метелки по 5 штук на человека. Мы заявили: не по пять, а по сотне рады навязать, чтобы этими метелками вас прогнать» (из записей 1919 года).

«Чересчур» довольна вами.

«Кашляю, да не больно люто, — так, керкаю немножко».

*25.VI.* Девочка-беженка из Самарской губернии, 15 лет, явилась ко мне на осмотр по поводу острого бартолинита (гонорейное заражение). Чтобы доехать до Рыбинска, чуть не на каждой пристани ей пришлось отдаваться матросам. Таких случаев не один, а несколько известны мне (из записей 1920 года).

«Нам, русским, хлеб не надобен: мы друг друга едим и через то сыты бываем».

«Барышня?» — «Нет, дамочка!..»

«Мы возьмем трубку Карла Маркса, набитую ленинским табаком, и, закулив эту трубку, дымом и искрой ее зажжем Октябрь в Европе» (из речи одного учителя на Всероссийском учительском съезде 1925 года).

В период 1920 — 1923 года беременные девицы плакали от стыда и отчаяния; в 1925 — 1927 годах беременность уже не встречается с таким ужасом, наблюдается чисто практический подход к делу: спокойно и трезво девушка пускается в обсуждение вопроса: что делать? — делать аборт или оставить так, как есть, выходить замуж за виновника беременности или нет. Ни слез, ни просьб.

Парень, чтобы отомстить девице за то, что она предпочитает ему другого, овладел ею силой. Беременность. Девушка занята мыслью, как бы ему в свою очередь отомстить.

Фамилии: Ращепова, Молодочкина, Замараев, Навозова.

*27.VI.* «Нам бы хватило его (хлеба) лет на пять. Все обобрали. И куда все пошло — неизвестно. Какому-то чужому дяде... Советская власть — сукины дети!» (крестьянин Симбирской губернии — из записей 1918 — 1919 гг.).

Фамилии: Ращупкина, Говякова, Носопыркин, Козуха, Опе(ы)шкина, Подковырова, Соплякова, Матюгова, Голопупов, Растрепин, Заштова, Заднева. Фрунина, Вошкина, Обернибесов, Гнидина, Свинолупова.

30. VI. Учительнице (Мологский уезд), заплакавшей по поводу увольнения за сокращением штатов, заведующий ОНО сказал: «Вы, как советская служащая, не имеете права плакать; эту буржуазную привычку пора оставить. А если вас не переделаешь, то можете убираться вон».

«Я, товарищ, песsemист — и потому с надеждой смотрю на будущее».

«Не выдержали мы ни коммунистически, ни марксистически, и нужно нашу активную силу поставить в „уголь угла”».

Пословица: «Русский мужик Бога слопаёт».

Пословица: «Быль — что смола, небыль — что вода».

2. VIII. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения».

Привез мужик жену в город полечиться к доктору. Кстати, взял с собой на продажу три пары валенок. Пока жена была в амбулатории, муж отправился на базар. Не успел вынуть валенки — как его забрали в финотдел за невыборку патента. Жена просит у меня удостоверения, что он действительно приезжал в город до лечения. Приехали за 60 верст и в «ужасе» от такой смычки (из записи 1926 года).

«Так хорошо себя чувствую, ничего не болит, а только слабею и слабею... Да вот еще — что за чудо такое! — появляется ни с того ни с сего чихота: как чихну, так и сикну, чихну — и сикну!»

4. VII. «Мы, женщины, вдвойне грязны: на нас своя грязь и мужская грязь на нас».

Идет молодой человек вечером по улице. Видит: тащит милицейский пьяного и довольно грубо его толкает. Молодой человек не утерпел и сквозь зубы пустил: «Жандармерия!» Милицейский бросил пьяного и потребовал с молодого человека 1 рубль за оскорбление власти, в противном случае пригрозил милицией. Пришлось уплатить. Милицейский выдал квитанцию.

16. VII. Пословица: «Два дурака съедутся — инно лошади дохнут».

«Недурно почитать Маркса где-нибудь в хорошем парке или лесу, как говорят — на лоне природы».

Дочь, комсомолка, в один прекрасный день говорит матери: «Мне велели переменить фамилию; говорят, неприлично быть в комсомоле с такой фамилией и подрывается авторитет партии среди несознательных элементов». Фамилия — Генералова.

20. VII. Муж с женой жили дружно 15 лет. На 16-м жена сошлась с коммунистом. Раньше с мужем жили душа в душу. Вдруг возненавидела. Попреки, ежедневная грызня, скандалы. Муж подал заявление о разводе. Жена требует отдать ей почти все имущество — иначе не хочет уйти из дома. Кроме того, требует на содержание имеющегося родиться ребенка (от коммуниста). Муж вынужден через комиссию доказывать, что от него не может родиться ребе-

нок. Комиссия это удостоверила. С некоторого времени муж стал чувствовать боли в желудке, общее недомогание, потерю аппетита — по-видимому, без всякой причины. Только спустя две недели после начала болезни подруга его жены, рассорившись в чем-то с ней, открыла мужу, почему он хворает: жена ежедневно подмешивала ему в пищу буру и мышьяк.

Женщина 50 лет жалуется на то, что ее муж (57 л.) каждую ночь пытается изнасиловать их дочь 18 лет. «Живем в одной комнате. Сколько дней и ночей не смыкаю глаз — все стерегу. Уж я стыдила его, бранила, плакала. Ничего не берет. „Мое дело, — говорит. — Не с тобой же, старой чертовкой, валандаться. Девка моя — что хочю, то и сделаю”».

22.VII. Молодая женщина плачет, что ее муж сошелся с ее родной сестрой. «И стыда нету — не таятся нисколько, а комната-то одна».

28.VII. Ребенок одного года с резким воспалением грасрос и головки penis'a. Из объяснения с матерью выяснилось, что причина болезни — «шалости» безработного мужа. «Целые дни ничего не делает, валяется на постели и играет с ребенком: дергает его за член и в восторге, что член напрягается. „Ну и молодчина, Васька, — да тебе скоро девку надо!”»

3.VIII. Вечерком на улице двигается пара — муж с женой (рабочие). С ними двое ребят. Одного ребенка ведет за руку мать, другого — отец. Жена впереди, отец сзади. Пошатывается и энергично жестикулирует: «Чтобы я своих ребят в комсомол отдал? Да ни в жизнь! В комсомоле словно в бардаке в прежнее время: скачут, прыгают! Как есть в бардаке! Или точно на пожар торопятся. Правильно я говорю или нет?!» Жена что-то вполголоса говорит мужу — очевидно, уговаривает не кричать. «На улице нельзя говорить? А что, меня за это в тюрьму, что ли, посадят?! Нет, брат, врешь! Где хошь скажу: бардак и бардак. И всех к ... матери. На х... вас всех с комсомолом с вашим!»

«Ну, чево ты раскатилась (расплакалась), большеротая ты экая, сопля ты экая! Ишь сопля-то распустила, дикарь ты экой — боишься всех. Никому ты не нужна! Ну, кто тебя возьмет, экую сопливую да страмную?»

Мелкую травку родить — труднее, чем разрушить каменный дом.

«Должна быть у человека область выше всего временного и земного, область, в которую он мог бы подыматься, спастись от всяких зол и всего, что называется жизнью. Иначе он — вечный мученик» (Н. Н. Страхов, «Переписка с Толстым»).

21.VIII. «Детки-то нонче какие? Слушать не слушают; будешь говорить — так драться лезут. Отца бьют, а меня уж и подавно! Прошлый год старшой сын в суд таскал отца. Суд присудил выделить ему две десятины, а нам оставили по десятине. Телку отдали, и еще два года работать надо на него. Оправиться никак не можем, а теперь и второй требует выдела. Этта отец боронит, а он к нему бежит драться. Сколько раз сзывали народ вязать, а то убьет! Уж такая жизнь — теперь только и молюсь Богу, чтобы поскорей его в солдаты взяли, чтобы семья-то хоть отдохнула немножко. Дочкам-то тяжело. Хоть в люди, говорят, уйти от такого житья: молчи, да принеси, да выстирай на братцев любезных, а от них только ругань. Житья никакого не стало — *родные стали хуже чужих!*»

«Время, што ли, такое: растила, растила деток — вырастила. Живут все хорошо, а матери с голоду помирать приходится. Покуда нужна была — хороша, а теперь — не нужна: куда хошь девайся!»

23.VIII. Старик 75 лет. Страдает ужасными головными болями из-за гнойного воспаления глазного яблока (паноптальмит). Не имеет покоя ни днем, ни ночью. И вот его, такого несчастного, изо дня в день травит и издевается над ним внучка — комсомолка 16 лет. «Другого и званья для меня нет, как косой черт: вот возьму да выбью тебе и другой глаз! Что поделаешь — терплю! Сына-то вот жалко, 50 годов ему, никогда слова от него не слышал обидного, все „папа” да „папа”. Жалеет — спасибо ему! — а поделать ничего не может. Придет с работы усталый. Пусть себе спит! Не бужу его и сижу до 3 — 4 утра, когда вернется внучка, чтобы отпереть ей. Куда ходит, что делает? — слова сказать не смей!

На Пасху отец с матерью — моют, чистят, прибирают, а внучка сидит на лавке и смеется над ними: „Поработайте, поработайте, а я погляжу!” Сноха тоже хорошая, а дочка ее зовет „седая крыса”. Сынишка еще есть, 13 лет, — тот уж матерно отца ругает. Ночь-то сидишь и вспоминаешь прежние-то годы: отец у меня умер 110 лет, семья большая, а вот жили по-хорошему, по-божьему...

Стучит... Надо отпереть! Ну как не спросишь: где была? А спросишь — „а тебе какое дело, косой черт! Стану я тебе отчет давать, куда хочу — туда и хожу!”

Нигде не служит, ничего не делает. Отец и то не выдержит и скажет когда: „Лизушка! ты жрешь и пьешь наше — неужели тебе не стыдно?!” — „Должны кормить: у меня начальство есть, заставят кормить — больно я испугалась!”»

24.VIII. Вечером около бульвара отчаянный крик: «Ну и Рыбинск, ну и город! Проходу не дают — что ни шаг, то блядь! Шагу нельзя ступить, чтобы не пристала какая-нибудь сволочь!»

26.VIII. Молодая крестьянка, 27 лет, три месяца, как вышла замуж. Беременная. Просит дать ей лекарства, чтобы «выкинуть».

— А вы знали, для чего выходили замуж? Ужели вам не стыдно обращаться с такими просьбами?! Сами же говорите, что муж у вас хороший, нужды ни в чем не видите? Неужели вас не радует, что будете матерью, что будет для кого и для чего жить? Да наконец — неужели просто не жалко ребенка?

— Чего его жалеть — эко, подумаешь, добро какое!

— Вы верующая?

— Ну кто же нынче верит?!

28.VIII. «Всех деточек у меня была только дочка. И она умерла! Теперь бы ей было девять годочков... Никак не могу забыть — все и плачу об ней... В Троицын день пошла на могилку и такой тут удар получила, что и сказать не могу... Срубили, окаянные, рябинку мою... Сама своими руками посадила ее на могилке — девять лет ей было, как и голубушке моей — Клавденьке! Приду на могилку, послушаю: шумит рябинка — точно доченька моя милая говорит... поплачу — и словно легче станет!.. Последнюю утеху-то мою отняли, и за что?! Кому она помешала?! Ведь это было у меня *последнее!*» (Местная ячейка комсомола так проводила борьбу с религиозными предрассудками.)

30.VIII. Ребенок 4-х лет, бледненький, прозрачный какой-то. Шейка тоненькая; не лицо, а лик, светящийся изнутри. Голова не держится и клонится к плечу матери. В лице и во всем хрупком тельце полное изнеможение. Мать на случайной работе. Когда уходит на работу, оставляет мальчика одного в квартире, запирая его на замок. С утра и до темноты ребенок совершенно один. Дается ему на весь день кусок черного хлеба и 3 — 4 картофелины. Представьте себе этого ребенка. Одного в пустой комнате, совершенно без людей... О чем он думает? Чем живет его бедная душа?

4.IX. «Мамочка, купи мне яблочко! Купишь?!» — «Куплю, куплю, милый мой, дорогой мой!» — «Ну так купи!.. Купишь, сейчас купишь?!» — «Не сейчас, а вот заработаю, получу денежек и куплю, много-много куплю тебе яб-

лочков!..» — «А ты сейчас купи, не надо мне много, ты купи только один яблочек — маленький, самый-самый маленький!»

— Боже мой! Если бы вы знали, доктор, как тяжело видеть страдания детей!..

6. IX. Больной — еврей, у него небольшое пятнышко сухой экземы под мышкой.

— Давно ли болен?

— Да так уже с недели две. Ну, думаю, ничего себе, пускай болит! А вчера взглянул и узаснулся! Ай-ай-ай! Зовсе нехорошо... Надо, думаю себе, сходить до господина доктора... Ну, как это, господин доктор, не опасно? Или, может быть, это уже рак? Вы скажите мне откровенно, может, надо посоветоваться с профессором в Ленинграде, Москве, в клиник? Что значит расход, когда здоровые дорозе всего?!..

— Ну, полноте, у вас совершенные пустяки!

— Ну какая же это пустяк: я как увидел, так спугался, так узаснулся... Вы не хотите мне говорить?! Аппетит нет, сон нет — хороший пустяки, я так спугался, так уже узаснулся, а у мене жена, а у мене пара дети!.. Ничего себе, хороший пустяки! Ай-ой-ой, как это нехорошо с вашей стороны так говорить, господин доктор... Звините мне, позалуйста, что я так вас сказал, но я так спугался, так узасно спугался! А ви мене, может, мази какой дадите? А и где надо мазать? Где *болит*? А может, и тут помазать нужно (указывает на здоровую подмышку).

— Да зачем же мазать там, где не болит?

— А чтобы не заболело... ви только мне скажите: хуже не будет? Если вредного ничего не будет, что значит! Я так спугался, жена плачет, дети, пара, плачут... Ви не поверите, господин доктор, как я спугался! Так я уже помазу и на этом месте! А пускай себе, что значит, если хуже не будет?!

7. IX. Приходит к доктору крестьянка с дочкой лет 17-ти. Происходит такой разговор с женой доктора:

— Хочу попросить доктора сделать вычистку моей девке.

— Доктор этим не занимается, а сколько же времени беременна твоя дочка: вон у нее живот-то какой?

— Нюшка! Сколько время брюху-то твоему, месяцев шесть, што ли?

— Шесть? Во-о-семь!

— Восемь! Да какая уж тут «вычистка», один только месяц осталось доносить — пусть уж лучше доносит.

— Ну так как же, Нюшка, доносишь, што ли?

— До-ношу!

15. IX. Старуха 70 лет. Парез руки и ноги. С трудом ходит, подпираясь палкой. Шла из деревни — 6 верст от города — целый день. По дороге, в перелеске, двое мужиков (один из них молодой парень) сняли с нее сапоги, пальтушку, оставили в одном платье. Издевались, когда она молила их и плакала.

16. IX. «Живу одна-одинешенька: были две дочки, да и те обречятились». «Лягу на бок — нельзя! Лягу на другой — а там словно кот песни поет».

17. IX. — Все хочу спросить вас: папашеньку-то где схоронили?

— На родине!

— Вот хорошо-то — с мамочкой, значит, вместе!

— Как хотелось голубчику, так и устроил Господь!

18. IX. «Как человек, сведущий в медицине, ненавижу я мочевую кислоту, от которой организму получается зло сверхъестественного масштаба. Ну, это между прочим, а главное, с чем я к вам обратился, — это боли у меня в правом подреберье, те самые, которые бывают при воспалениях печени, так называемых циррозах, при некоторых душевных и нервных состояниях.

Между прочим, нет ли у меня миокардита или эндокардита как происходящих от греческого языка? Не принимать ли мне йод, который содержится в большом количестве в морских водорослях? Или, может быть, лучше белладонну в небольших, конечно, дозах, как советуют лучшие медицинские авторитеты? Впрочем, в этом вопросе я всецело буду согласен с вашим мнением как авторитетного диагноста и прогноста, тоже слова природы греческой...»

«Какая теперь жизнь — спаси, Царица Небесная! — когда мужикам работать нечего... Дали это работу на бумажной фабрике: распилить, расколоть и сложить кубок дров за два рубля! Да разве это работа — одно мученье! А ведь мужик-то у меня — слесарь, и хороший слесарь!»

«Пришлю к вам „насчет абортника” поговорить».

«Революция несчастная! Вот все с нее и хвораю... только уж вам и говорю, потому мы считаем вас не за человека, а как бы за ангела».

«Спасибо тебе, батюшко ты наш, оздоровитель ты наш... Через тебя, добродетеля нашего, Господь посылает нам свои милости».

«Уж очень я похудела: как две доски сложены вместе, скажи, нисколько мяса нет!»

Фамилия — Папиросова, имя — Эльвира.

— Ну, чем хвораете?

— Чем хвораю? Послушай — так скорей узнаешь! Где же мне самой знать... Вы люди ученые, все лучше нас знаете!

— Ну, все-таки надо же с чего-нибудь начать, ну, что больше всего беспокоит?

— Што беспокоит? Да все: и голова, и грудь, и живот, и ноги, и руки — все болит! А уж как голова болит — скажи кто-нибудь, что легче будет, если оторвать голову, — оторви, сделай милость! В ножки поклонюсь! Вот голову-то мне и прослушай хорошенько!.. Нельзя прослушать?! Как это нельзя? У других слушаешь, а у меня нельзя? Ну, дак пошли на лучи: пусть так посмотрят... И на лучи нельзя! Ах ты, Господи: у других можно, а у меня нельзя?!.

Голова от живота, говоришь? Ну, а живот-то от чего? Уж так болит, так болит — места не нахожу! А уж как ноженьки мои — совсем не ходят, вовсе отымаются! И рученьки болят, уж так болят: всю-то ноченьку все и качаю их — пока качаю, только и свет вижу... Все нервное, говоришь, от расстройства?.. Кормилец ты мой! Вот уж правильно так правильно! Уж така моя жизнь — тошнехонько! Не приведи, Создатель, никому!..

Напиши ты мне бумажку, сделай милость, — продналог с меня требуют, а какая я работница — сам видишь: как есть вся больная!..

«На днях был у вас мужичишко: такой мусорный, никудышный, просто сопля какая-то, а не мужик, посмотреть тошно: ну, дак это мой муж!»

Имена: Ревмира, Джера.

«А уж нервы мои никуда не годятся... Самое главное — нет сна... Не сплю и не сплю... Уж я вам прямо скажу: не сплю из-за мамаша. Взят манеру молиться по ночам. Только начнешь засыпать, начнет мамаша возиться, кашлять. А потом молиться зачнет вслух... Ну хорошо бы одну-две там молитвы, а то часа на два машину заведет. Сил никаких нет! Перегородка тоненькая, всякий шепоток слышен. Мамаша, говорю, дорогая, надо же людям покой дать! Если вам не спится, так я-то чем виноват! Мне нужно на службу идти: сегодня



не поспи, и завтра, и послезавтра — с ума сойти можно! Вот уйду на службу — пожалуйста, хоть целый день молитесь; сделайте милость — не запрещаю, хоть лоб себе расшибите!

Ну и пойдет тут у нас баталия. Она меня и „басурманом”, и „нехристом”, и всякими другими словами, а я пошлю ее к „чертовой бабушке”, а то и еще похуже — прямо, можно сказать, матом и обложу. Самому потом смешно станет, да и жалко, что старуху обидел. Давал себе слово ничего не говорить: одеялом голову закрою наглухо, да еще и уши заткну — душно, вспотею весь! Откроешь голову, а тут тебе: шу-шу-шу, жж-жж-жж! Хоть что хошь — не за-снешь, да и полно!

Два дня крепился, а сегодня не выдержал — запустил в перегородку сапогом. Сам сознаю, что глупо, а ничего поделать не могу. Все молилась как следует: „Богородицу” там, „Отче наш”, за здравие, за упокой и т. п. А сегодня слышу: „Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе”. Во весь-то голос! Сразу видно, что нарочно, со зла. Потому какая же это молитва? И вовсе тут никакой молитвы нет! Конечно, глупо было с моей стороны кидаться, а вот поди ж! И уж чувствую: как услышу опять про „седалище” — обязательно запущу опять чем-нибудь, а то и отдую мамашу! Ведь вот какая анафемская жизнь!»

«Когда родила я дочку — муж уговорил устроить октябрины. Назвали дочку Ревмирой в честь мировой революции. Ну, думаю, что ж: Ревмира так Ревмира — ничего, имя звучное! Я уж и привыкла. А вот теперь мужа сократили, не посмотрели, что партийный! И идут у нас теперь грехи. Я его браню — зачем дочку назвал не по-людски: вдруг все перевернется? Куда мы деваемся с таким прозвищем?! Да и все врал, говорил, что по службе дальше двинут. Вот тебе и двинули! Пожалуйста — без места! Говорил — сам не ожидал. Ну и дурак, коли не ожидал — только дочку понапрасну испоганил!»

Мать приносит девочку трех лет с просьбой осмотреть ее... Сама вся бледная, трясется, на лице ужас... Приходят со двора — вот эта маленькая и другая дочка, постарше — 5 лет. Маленькая плачет. «Спрашиваю: о чем ты? Старшая и говорит: „Ее Васька (сын другого жильца, 7 лет) обсикал!”» Оказалось, что Васька положил маленькую на землю, сам на нее лег и что-то с ней делал. «Побежала к соседям, говорю им про мальчишку... Отец только смеется: „Эка беда, что поиграл с девчонкой, обмочилась, так высохнет!”»

«Доктор, миленький доктор, куда деваться от этого ужаса!»

На улице, на крыльце одного дома, группа человек десять, тут же вместе со взрослыми несколько мальчиков 10 — 12 лет. Один взрослый рабочий читает местную газету «Рабочий пахарь» с подробностями показательного процесса об изнасиловании работницы. Дети с жадностью заглядывают в газету через плечо читающего. На лице одного мальчика скверная усмешка.

Вечером на улице догоняет меня толпа девочек-подростков. Разговор: «Сегодня интересный процесс...» — «Ах, это об изнасиловании!» — «Пускать, говорят, будут только по билетам...» — «В газетах все равно напечатают...» — «Ах, это совсем, совсем не то!»

Возвращаюсь поздно вечером в город со своей дачи. На монастырском поле догоняет меня девушка лет 15 — 16.

— Вы в город, дяденька?

— В город.

— Ну так я с вами и пойду, а то боюсь одна-то!

Дорогой рассказала мне, как на этом же самом поле на днях напал на нее какой-то парень, схватил за горло и все хотел повалить.

— Я уж и кричала, и царапалась, и кулаками отбивалась... молчит и все хочет повалить! Спасибо, красноармейцы услышали и заступились. Услыхал, что бегут, и бросился в кусты. Не догнали.

Удивительная пословица: «На стриженую овечку Бог теплом дует».

6.X. Поздно вечером идет по улице пара: впереди муж-рабочий, сзади, шагах в пяти, жена. Муж изрядно выпивши, шатается, часто останавливается и грозит кулаком жене: «Не смей идти за мной, стерва! Мать, мать. Уходи, говорят тебе. Не хочу домой — будет, насиделся! Пошла к ... матери и с ребятами вместе! Уходи, говорю, а то дам тебе по морде. Мать, мать... Хочу с друзьями жить и буду, а не с тобой, сволочью!»

«Сколько больных?! И откуда они берутся?» — «Откуда? А жизнь-то какая — из-за жизни больше и больных!» (В амбулатории.)

Мать испытывает большое недоумение и растерянность, что ей говорить дочери 12 лет, которая спрашивает: «Что это, мама, значит — изнасиловать? Что же это — руки и ноги, что ли, ломают или что другое делают?»

9.X. «Кабы здорова была — не бросили бы детки! А как не могу ничего делать: поди, матка, по миру! Не нуждаемся!»

«Если поешь, сколько захочется, — одеться не во что! Мало-мальски оденешься — поесть нечего! Вот так и вертишься!»

16.X. «Не кормят, не одевают детки, хотела судиться. А потом уж решила на Господа положиться! Его святая воля! Значит, Отец Небесный лучше знает, что надо мне: велит терпеть — и буду терпеть! Господь наш Иисус Христос сам перенес великие муки и нам велел терпеть. Значит — воля Божия!

Этта проплакала целый день, а ночью уснула, и приснился мне сон — уж такой хороший, такой приятный, что без слез и пересказать не могу. Отворяется будто дверь, и входит старичок — такой маленький, седенький, светленький такой. Вошел в комнату-то и остановился и смотрит на меня. А потом усмехнулся таково ласково, подошел ко мне и протягивает ручку. А в ручке-то у него горбушечка беленького хлебца. Да и говорит: „Это тебе принадлежит, раба Господня!“ Заплакала тут я и только хотела ручку-то его беленькую да худенькую поцеловать, а он уже и пропал!»

22.X. *Мать.*

— О чем ты плачешь, Клавдя?!

Клавдя уронила голову на исходящий журнал и тихо плачет, не отвечая на вопрос. Кто-то сказал:

— У нее умер сегодня ребенок!

— Ребенок умер?! — так и слава же, Господи: не ты ли сама желала его смерти. Вот уж ни капельки не трогают меня твои слезы и нисколько мне тебя не жаль! Мать плачет о детях, а какая же ты мать — только слово одно, что мать! Родила ребенка и бросила его, как кошку! — ведь уж ему год исполнился, а ты навестила ли его хоть раз? Взглянула ли хоть в щелочку на него? Ты ни разу не видела своего ребенка, тебе стыдно было подойти к дому, где он находился. Мало того, тебе ведь передавали слова докторши, что ребенок твой захворал и положение его тяжелое, а вчера тебе известно было, что ребенок умирает. Тебя и это не тронуло! Помнишь, сколько раз я говорила тебе: Клавдя, пойдем вместе навестим ребенка. А ты что мне отвечала — помнишь? У тебя был только один ответ: «А ну его! Хоть бы умер поскорей!»

Сначала я тебя жалела, пока не узнала, какая ты дрянь... Еще можно было понять тебя вначале, когда ты была одна и брошена всеми, даже родной матерью. А *потом* ведь ты вышла замуж, сама же говорила, что муж твой хороший и

ты ему все рассказала про себя, почему же ты не взяла к себе ребенка, а так и оставила его в приюте? Почему, наконец, ты не отправила его к *своей* матери, с которой ты помирилась?! Неужели же она не могла взять его к себе — уж не потому, что он ребенок дочери, а хоть ради тех денег, которые шли на ребенка? Ведь ты на него получала по 12 рублей в месяц! Господи, какой стыд!

А ведь ты еще духовного роду, мать твоя дьяконица, и отец твой жив, и живут неплохо. Около церкви родилась, а сердце у тебя каменное. Не верю я твоим слезам и не жалею!.. Ну вот ребенок умер — что же ты плачешь?! *Радуйся!* Ведь ты ждала этого дня, ты думала, что стоит ему исчезнуть — и все будет хорошо, и заживешь по-новому, будешь счастлива! Не будет тебе покоя!..

Послушай, Клавдя: если ты сама не видела ни разу своего сына и не знаешь, какой он у тебя был, — я тебе скажу. Недавно я приходила в приют и видела его. Маленький-маленький, а уж ходит и смеется, и зубочки у него четыре — беленькие; принесла ему яблоко, взял он его ручонкой и показывает няньке: «мама» говорит. Головка черненькая, хорошенький, весь в тебя. Ты не хотела его знать — теперь будешь помнить с моих слов. И никуда не скроешься от него...

Ну а теперь к делу: поди получай скорей деньги! Тебе выдадут 25 рублей на похороны: хоть похорони его как следует!

Клавдя одевается и говорит:

— Я попрошу дочку хозяйки: она сходит и похоронит, сама я не пойду!

— Что!! И похоронить не хочешь сама? Да что же это такое! Ах ты несчастная!.. В последний раз говорю тебе, Клавдя: если ты сама не оденешь ребенка и не проводишь его на кладбище — я тебе буду *чужая*... И не смей ко мне подходить!.. (Разговор между сослуживицами в амбулатории.)

24.X. Мать так и не была на похоронах, так и не взглянула на него в первый и последний раз. Чужие люди сделали все, что нужно.

«Не знаю, чем отблагодарить-то вас? Думаю, думаю — ничего не придумаю! Просто мучит меня это дело...

Ничего не надо? Да как же это?

Помолитесь, говорите, за вас? Да с превеликим моим удовольствием! А сколько поклончиков-то положить? Может быть, день и ночь молиться надо: трудненько будет! А ничего не поделаешь: если прикажете — так и буду молиться! Что другое, а уж мы этот порядочек знаем — не нынешний народ!»

После того как я пробыл несколько дней в обществе нашей молодежи<sup>3</sup>, мне захотелось всем им сказать:

— Милые, друзья мои! Как мне хочется всех вас видеть счастливыми. Но в том-то и горе, наше общее горе, что никто не знает: где мое счастье и в чем оно?! Кажется, как будто вот, вот... а подойдешь поближе, вплотную: даже страшно и стыдно становится, как оно не похоже на то, что казалось. В вашем возрасте высшее счастье на земле — любовь к человеку противоположного пола. В мечтах об этой любви, в стремлении как можно скорее достичь этой вершины *лично*го счастья на земле — весь смысл дальнейшей жизни, душа как музыка, все отдельные струны непрерывными волнами звуков несутся к одному центру, чтоб слиться в общую гармонию победного гимна божественной силы и красоты. И почти всегда взлет на недостигаемые высоты сразу же кончается быстрым падением. Чем чище, красивее, чем могучее песня торжествующей любви, тем круче, губительнее падение. Красота, любовь, счастье — это все было только «видением», сном.

А значит: «Боже мой! Как холодно, как неуютно в Твоем мире»...

<sup>3</sup> Речь идет о молодежной секции Рыбинского научного общества, существовавшего в 20-е годы. (О трагической судьбе его членов, репрессированных в 1930 году, см.: Кублановский Ю. Поверх разборок. — «Новый мир», 1998, № 2, стр. 170 — 172).

И мне кажется теперь — и это особенно следует отметить, так как я сам в своей личной жизни больше «видел», чем «знал», — что настоящее счастье, для которого стоит жить, то, которое дает возможность «тихо» жить, состоит прежде всего и главным образом в том, чтобы «не создавать себе кумира» на земле.

Нужно уметь жить *относительно* счастливо. А это то же, что вести безубыточное хуторское хозяйство: всем интересоваться, всем заниматься — не повезет в одном, поправить можно другим, третьим.

Немного скучновато, скажу даже «пошловато». Но с «кумиром» непременно рискуешь оказаться у разбитого корыта. Я не против иного «кумира», не против того, что откуда-то издалека вторгается в нашу душу и как бы прирастает к нашему сердцу. Но ведь это «святыня», которую нельзя «сотворить!». Ее можно только принять и, если примешь, бережно хранить, как средство, как орудие для неустанного труда любви. То же слово, но какая разница от слова любовь в кавычках! Обладать этой святыней не всем доступно, но только «избранным» — ибо дается только подвигом, мучительно трудным путем. И оно несет в себе и великую радость, и великую скорбь... И это понятно, ибо без борьбы этих двух противоположностей очерствело бы и засохло сердце человеческое.

«Не моя воля, а Твоя да будет» — в этом и смысл жизни, и ее несказанная радость, и ее покой. И в то же время все, кому: «Боже мой, как холодно в Твоем мире», — самые любимые, самые милые и дорогие для иного мира, самые ценные и нужные для здешнего.

Чем больше таких не познавших *личного* «счастья» людей, этих бездомных странников на земле, душевно одиноких, — *тем ближе к нам небо*. Без этих случайных, редких гостей (оттого и холодно им, что они чужие, нездешние) бесконечно сиротливо было бы на земле. От них тепло и светло всем...

7.XII. «Летом мой муж хоть и работал — да все пьянствовал. Уж так было тяжело жить! Теперь стало полегче — хоть без работы сидит, да хоть не пьет!»

10.XII. «Местишко бы какое найти: хоть какое ни на есть плохонькое — тогда неужто не поправилось бы, еще как бы поправилось!»

Пятилетний ребенок. Болен воспалением легких. Принесла его бабушка, которая говорит: «Это все нонешние матери, комсомолки проклятые, ну-кася, потащила экого-то крошку на собрание, в экую-то погоду — ну и простудила. Хоть и дочка она мне, а по совести вам скажу: всех бы их, таких-то матерей, перевешать!»

Крестьянская девица 20 лет просит сделать ей аборт: беременность от родного брата.

14.XII. Мать привела девочку 9 лет с просьбой осмотреть: жалуется на боли в ногах и животе. Оказалось, что в школе девочку пнул носком сапога в половые части ученик 13 лет. Девочка упала замертво. Дома мать увидала на рубашке кровь. Осмотром установлено резкое опухание наружных половых частей и кровоподтек внизу живота и на внутренней стороне бедер.

«Девица?» — «А и сама не знаю: хошь девица, хошь — как хошь! Разведенная — так неуж и знать, за кого себя считать...»

«Как же это вы зимой ходите без штанов?» — «Что поделаешь, батюшко: после переневороту никак обстепениться не могу, все не хватает!»

19.XII. Празднование в тесном домашнем кругу 25-летия моей врачебной деятельности (о чем я говорил, о чем думал и что, может быть, не удалось ясно выразить на словах).

25 лет врачебной деятельности, 52 года жизни моей на земле — это грань, разделяющая мою жизнь на две половины; водораздел, по одну сторону кото-

рого я поднимался до сих пор, по другую — буду спускаться к тем истокам, откуда «взят бысть». Не знаю: может быть, перевал, на котором я нахожусь сейчас, крут и остер, как гребень скалы, и сейчас же начнется спуск, а может быть, он представляет собою довольно ровное плато, ровное поле большей или меньшей длины...

Перед тем как идти дальше, хочется оглянуться назад, окинуть взглядом весь пройденный путь. Большое смущение чувствую и, пожалуй, даже страх: каким чудом поднялся я на вершину горы? Как удалось мне побороть и крутые подъемы, и глубокие пропасти? Чего только не было на этом пути: смерть матери в раннем моем детстве, опасные болезни, душевный разлад в юности, шесть лет студенческой жизни в Сибири, начало врачебной деятельности в деревне (кипячая работа с готовностью жертвовать собой для блага народа, травля властей, одиночество, скорбь и муки бессилия, незаслуженной обиды). Тюрьма (брошенные на произвол судьбы жена и дети; страдания бедного отца)<sup>4</sup>. Ночи бессонные, тоска по солнцу и небу, тоска по воле, крушение всех упований, жизнь без улыбки, без радости. И снова голубеет небо, снова солнце, цветы, милые, родные лица, хочется пасть на родную землю — целовать ее и плакать... Война. Снова тень печали одевает душу... Общий развал, голод, страх животный, волчий жуткий вой... Как птица с перешибленными крыльями, ползу по земле, прячу свою голову и кое-как укрываю птенцов своих <...>

Вглядываясь снова назад, вспоминаю тех, кому поручил Бог хранить и беречь меня и кого отозвал во времени, признанном им за благо для меня и моего рода: мою мать, моего деда и моего отца. Только теперь, оставшись один, я хорошо вижу их, и понимаю их, и люблю их — как друзей моих, и хранителей, и наставников, и молитвенников, и печальников. Только с их помощью я прошел благополучно путь свой. Верю, что помощь их, попечение обо мне и всех моих продолжается и до сих пор. Туда же, в ту сторону, где мои предки, ушел, едва появившись на земле, маленький сын мой. Этот маленький, слабенький унес у меня много покоя и радости... И в этот день своей зрелости не могу не поплакать о нем.

Живу теперь одиноким, впереди рода своего. С внешней стороны жизнь моя сложилась хорошо: здоров, бодр, и семья у меня крепкая, дружная, и поле моей деятельности широкое. Пользуюсь большим доверием, уважением и любовью массы людей. Все хорошо, кажется. Но вот что я наблюдаю в себе: чем больше теплоты вокруг меня, тем сильнее *внутри* меня чувство одиночества, меньшей связанности с другими, далекости от всех — даже самых близких... С каждым годом своей жизни я все реже улыбаюсь и все живее ощущаю свою обособленность в мире. Но не пугаюсь и не скорблю. Вся моя жизнь — в ее прошлом, настоящем и будущем — чувствуется и понимается мною, как *странничество* на земле, как выполнение не моей воли, а Того, Кто послал меня в мир. Еще крепкие нити связывают меня на земле, но сердцу ясно, что я уже вошел в предрассветную полосу...

И вот последнее: моя глубочайшая благодарность моему верному попутчику, другу и товарищу моей жизни — жене моей. С благословения святого старца Оптиной пустыни мы начали совместную жизнь, с согласия наших общих родителей, — свободные в своем выборе. Среди всяких тревог и скорбей не распался наш союз и не остыл огонь нашего очага. Стоя вместе с нею на рубеже нашей жизни, я с большими, чем когда-либо, верой и упованием молю Небесному Отцу: «Да святится Имя Твое... да будет воля Твоя...»

<sup>4</sup> В 1906 — 1907 годах Ливанов сидел в одиночке Рыбинской тюрьмы за участие в революционном движении.

(Окончание следует.)

---

---

# ПОЛЕМИКА

ВИКТОР БЕЛКИН

\*

## ЗАДАЛИСЬ ЛИ РЕФОРМЫ ГАЙДАРА?

**В**ышедшая вторым изданием книга нашего бывшего соотечественника — российского, а ныне американского экономиста Игоря Бирмана<sup>1</sup> — захватывающе интересна: подобную книгу мог написать только «один из тех немногих счастливых, у которых совпадало дело и хобби», о чем поведал автор, цитируя Честертона. Полагаю, однако, что на самом деле таких счастливых и среди экономистов немало, но почему-то никому, даже самим себе, они в этом не признаются.

Книга многопланова: в ней и биография автора, и сказ об известных и малоизвестных, но всегда интересных людях, с которыми на своем веку он встречался, об СССР, где Бирман прожил первую половину своей взрослой жизни, и о США, где обитает ныне. В книге — занимательные подробности об этих странах и их жителях — русских и американцах — и многое другое, подмеченное вдумчивым и любознательным автором.

Но наибольший интерес для российского читателя представляют те разделы, в которых речь идет об экономических реформах: в СССР в 60-х годах и в современной России. Игорь Бирман активно занимался подготовкой первой и принимал участие во второй — в качестве американского эксперта в рамках программы Министерства финансов (Казначейства) США по оказанию технической помощи России, он исследовал вопросы динамики уровня жизни населения нашей страны в период рыночных преобразований.

Итак, сперва об экономической реформе 1965 — 1967 годов, которую на Западе называют либермановской, а в России — косыгинской.

В конце 50-х годов профессор Харьковского инженерно-экономического института Е. Либерман опубликовал в главном советском журнале той поры, «Коммунисте», две статьи с критикой планирования, а в 1962 году — статью в «Правде» с еще более резкой критикой всего хозяйственного механизма<sup>2</sup>. Эта статья открыла целую серию реформаторских публикаций в экономической и массовой печати, в числе которых была опубликована и наша с Бирманом статья<sup>3</sup>.

Что же касается аппаратной подготовки реформы, то она без лишнего шума проводилась поначалу в Госэкономсовете — учреждении, созданном в противовес Госплану в 1961 году. Возглавил Госэкономсовет заместитель Председателя Совмина А. Засядько — человек, близкий Н. Хрущеву.

---

Белкин Виктор Данилович — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН).

Публикуя полемический отклик В. Белкина на книгу И. Бирмана, редакция «Нового мира» не предполагает открывать на страницах журнала дискуссию о так называемых гайдаровских реформах.

<sup>1</sup> Бирман Игорь. Я — экономист (о себе, любимом). М., «Время», 2001 («Век и личность»).

<sup>2</sup> Либерман Е. План, прибыль и премия. — «Правда», 1962, 9 сентября.

<sup>3</sup> Белкин В., Бирман И. Цена и прибыль. — «Известия», 1962, 28 ноября.

Засядько начал с того, что созвал совещание «ста ведущих экономистов», как это было сказано в его «тронной» речи. Участникам совещания из экономических ведомств Совмина СССР, соответствующих отделов ЦК КПСС и Отделения общественных наук АН СССР он предложил сотрудничать с Госэкономсоветом в области совершенствования планирования и ценообразования. На это совещание я, в ту пору еще кандидат наук, был приглашен академиком-секретарем Отделения общественных наук АН СССР В. Немчиновым. В итоге выявился полнейший разноречивый мнений по этой проблеме. Большинство участников совещания согласились лишь с тем, что, как сказано в протоколе, «необходим переход к экономически обоснованным ценам».

После интенсивных дискуссий в комиссии В. Немчинова такими ценами были признаны цены единого уровня, включающие прибыль равно пропорциональную производственным фондам, то есть, по сути, цены производства. Руководство Госэкономсовета стояло на той же позиции.

Будучи заведующим отделом экономики Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) АН СССР и занимаясь проблемами применения ЭВМ в экономических исследованиях, я предложил провести расчеты цен производства на основе межотраслевых балансов продукции, производственных основных фондов и материальных оборотных средств. По поручению Засядько ЦСУ СССР составило такие балансы, и к 1963 году по ним были исчислены индексы перехода от действующих цен к ценам производства по всему народному хозяйству<sup>4</sup>. Ввиду серьезных вычислительных трудностей к их проведению были привлечены выдающиеся математики — доктора наук А. Брудно и А. Кронрод — тот самый Александр Семенович Кронрод, который в начале 50-х годов руководил математическим обеспечением советского атомного, а точнее, водородного проекта<sup>5</sup>.

В 1963 году Засядько скоропостижно скончался. Госэкономсовет стараниями Госплана был ликвидирован. Однако джинна из бутылки уже выпустили, и подготовка реформы была продолжена — в основном в Госкомитете по науке и технике (ГКНТ) и в Академии наук. В августе 1964 года заместитель председателя ГКНТ академик В. Трапезников опубликовал в «Правде» статью «За гибкое экономическое управление предприятиями». Ознакомившись с этой статьей, Н. Хрущев начертал резолюцию: «Прошу рассмотреть, дать предложения». С этой целью в ГКНТ была создана комиссия во главе с Л. Ваагом, главным специалистом этого ведомства, занимавшимся вопросами оценки экономической эффективности новой техники. В комиссию входили В. Трапезников, З. Атлас, И. Бирман, С. Захаров, Л. Леонтьев, И. Малышев, Н. Петраков, автор этих строк и другие.

Вааг с Захаровым написали обоснование необходимости экономической реформы, а Бирман и я — проект постановления ЦК и Совмина о реформе. Суть нашего проекта кратко сформулирована в книге Игоря Бирмана: оценивать деятельность предприятий и вознаграждать их работников не по степени выполнения плана выпуска валовой продукции, а в зависимости от прибыли, при условии выполнения задания по номенклатуре. Причем переход на такую систему оценки работы предприятий и оплаты труда их персонала, как было специально указано в проекте, предполагал предварительный пересмотр действующих оптовых цен, их замену ценами производства. Проект реформы предполагал введение платы за фонды, которая должна была в дальнейшем стать главным доходом госбюджета, заменив большую часть налога с оборота и других его доходов. Подготовленный нами проект реформы с небольшими поправками был принят комиссией Ваага и представлен ГКНТ в Совмин. Однако к тому времени сместили Хрущева, а новые руководители страны за-

<sup>4</sup> Подробно об этом в моей книге: «Цены единого уровня и экономические измерения на их основе». М., «Экономиздат», 1963.

<sup>5</sup> Об этом см.: И о ф ф е Б. Особо секретное задание. — «Новый мир», 1999, № 5.

нялись прежде всего ликвидацией хрущевского наследия — упразднением совнархозов и воссозданием отраслевых министерств.

Тем не менее Косыгину, до последнего времени всячески тормозившему реформу, на новом высоком посту пришлось заняться ею вплотную. Для подготовки реформы он создал Правительственную комиссию во главе с А. Коробовым. Заместителем Коробова был назначен заместитель начальника ЦСУ И. Малышев — наш с Бирманом коллега и единомышленник. Что было в его силах, Малышев из проекта ГКНТ сохранил, и в урезанном виде на сентябрьском 1965 года Пленуме ЦК КПСС Косыгин его озвучил. Чтобы не быть голословным, замечу, что еще осенью 1964 года «Известия» опубликовали нашу с Бирманом вторую реформаторскую статью «Самостоятельность предприятия и экономические стимулы». Английский советолог Зауберман, напоминая автор книги, сличив эту статью с текстом доклада Косыгина о реформе, отметил их совпадение.

Казалось, что наша деятельность по подготовке «реформы-65» заслуживала поддержки тогдашней власти: ведь мы старались улучшить ситуацию в экономике. Однако за исключением отдельных представителей второго эшелона власти — А. Засядько, Н. Байбакова, К. Руднева, И. Малышева и еще некоторых — большинство власть предержащих любым попыткам реформирования экономики оказывало ожесточенное сопротивление. Особенно, как ни странно, противились именно те, кому по определению предназначалось подобным реформированием заниматься.

Приведу пример. В качестве докторской диссертации я представил упомянутую выше монографию «Цены единого уровня...». За пятнадцать минут до начала процедуры защиты диссертации в МГУ (на Моховой) прибыл фельдъегерь с письмом на имя председателя ученого совета В. Немчинова. Вскрыли конверт — и Немчинов зачитал отзыв на мою диссертацию, подписанный зампредом Госплана А. Коробовым — будущим председателем Правительственной комиссии по реформе. В отзыве говорилось, что диссертант с помощью цен производства пытается реставрировать в СССР капитализм. Видавший виды Немчинов, мужественно противостоявший Лысенко на печально известной сессии ВАСХНИЛ, дрогнул и отложил мою защиту... Докторской степени я был удостоен четыре года спустя, уже после того, как рекомендованные в моей монографии-диссертации цены были введены.

Чем же объяснить такое сопротивление власти реформированию советской экономики? Краткий и вместе с тем исчерпывающий ответ на этот вопрос дан в книге Бирмана: «...по-звериному чуяли: начни настоящие реформы, раскачай систему, все рухнет». Полностью с этим согласен.

Но с утверждением Бирмана о «неуспехе реформы-65» согласиться не могу. Даже и в ослабленном по сравнению с первоначальным замыслом виде она оказала благотворное влияние на экономику страны. Прирост национального дохода СССР в восьмой пятилетке (1966 — 1970 годы) составил 41 процент по сравнению с 32 в седьмой и 28 в девятой. Реальные доходы населения в восьмой пятилетке увеличились на  $\frac{1}{3}$ , тогда как в предыдущей этот показатель составлял  $\frac{1}{5}$ .

Вместе с тем уже через год становилась все более очевидной необходимость дальнейшего развития реформы. Одновременно пришло понимание, что в условиях административно-командной системы управления хозяйством добиться этого невозможно. В печати началось обсуждение проблемы перехода к экономическим методам управления.

Наилучшим образом управлять хозяйством подобными методами имел возможность, по моему мнению, только банк. Осуществляя безналичные платежно-расчетные операции, Госбанк СССР владел всей полнотой информации о функционировании хозяйства страны и обладал наиболее действенными инструментами экономического управления — денежными. Эту идею — разумеется, с более развернутой аргументацией — в соавторстве с финансистом



В. Ивантером (ныне академиком, директором Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН) мы опубликовали в «Правде», в статье «Реформа и банк» (1966, 29 декабря). Статья вызвала негодование в Госплане и в отраслевых министерствах: буквально на следующий, почти предновогодний, день несколько министров обратились к главному редактору «Правды» М. Зимянину с энергичным протестом. Хотя наши исследования по проблеме банковского управления экономикой были продолжены, обнародовать их результаты стало невозможно. Не устрасился один лишь А. Твардовский: в «Новом мире» (1967, № 12) появилась наша с Ивантером статья «Банк и управление экономикой».

Хотя в начале 1968 года еще казалось, что «реформа-65» будет продолжена, дальнейшего развития она не получила: опасаясь резонанса чехословацких событий, реформу спустили на тормозах. Наиболее последовательные реформаторы, названные бранными словами «рыночники», «адепты рыночного социализма» и т. п., подверглись остракизму. Хвала Всевышнему, на сей раз обошлось без репрессий, как это бывало прежде.

Положительное влияние «реформы-65» Бирман недооценивает еще в одном отношении. Предоставление предприятиям пусть даже и ограниченной самостоятельности развязало инициативу их руководителей, а затем и рядовых работников, позволило им почувствовать себя личностями, хоть в какой-то мере влияющими на ход событий, а не винтиками государственной машины, что годами вдалбливалось в сознание советских людей агрессивной пропагандой, а прежде, в сталинские времена, также и репрессиями.

Наконец, следует отметить, что широкое обсуждение проблем «реформы-65» в печати и других средствах массовой информации, на разного рода совещаниях, собраниях и конференциях пробудило в обществе небывалый прежде интерес к экономике — науке и практике. В книге Бирмана приводится оценка роста престижа профессии экономиста. Согласно указанной оценке, данной видным социологом В. Шубкиным, с 1964 по 1994 год популярность этой профессии в СССР — России повысилась в 2,5 раза. Соответственно возросла привлекательность экономического образования, что обусловило приток способной молодежи в экономические вузы. Из этой молодежи вышло немало профессоров и преподавателей, научивших своих студентов размышлять над реальными экономическими проблемами, а не зазубривать постулаты классиков марксизма и руководителей КПСС о мнимом превосходстве социализма над якобы пребывающем в перманентном кризисе, «загнивающим» капитализме. Это положительно сказывается и в настоящее время, облегчает нынешние рыночные преобразования, осуществляемые в основном теми, кто учился в экономических вузах в 80 — 90-е годы.

О современных преобразованиях российской экономики в книге Бирмана повествуется в разделе с интригующим названием: «Отчего не задался гайдаровские реформы». Этот раздел, на мой взгляд, — наиболее спорная часть книги. Разумеется, прежде чем ответить на поставленный вопрос, нужно доказать, во-первых, что проводимые у нас вот уже десятилетие реформы правомерно называть «гайдаровскими» и, во-вторых, опять же доказать, что они и в самом деле «не задалась».

С первым доказательством Бирман справился, как говорится, мимоходом. Действительно, хотя из десяти минувших лет экономического реформирования Е. Гайдар находился у власти всего полтора года, именно он «задал курс. Черномырдин им и следовал». Добавим, что и другие премьеры — преемники Черномырдина тоже следовали гайдаровскому курсу. Порой реформы пробуксовывали, но сколько-нибудь серьезных откатов — типа реприватизации — не наблюдалось. С избранием В. Путина Президентом и назначением Г. Грефа руководителем экономического ведомства рыночные преобразования получили новый импульс, ускорились структурные реформы. Причем Гайдар, будучи директором Института экономики переходного периода, неизменно участвует

в подготовке мероприятий по рыночной трансформации. Таким образом, проводимые в стране рыночные реформы Бирман называет «гайдаровскими» с полным на то основанием.

Иначе обстоит дело с утверждением Бирмана, что «гайдаровские реформы не задались». За ограниченностью журнальной площади рассмотрим лишь основные приведенные в его книге аргументы.

«Идет отрицательная амортизация... Резко увеличилось социальное расслоение, тяжело маются громадные слои... доходы сильно перераспределились в пользу небольшой группы населения... производство... потребительских товаров резко упало... убийство вкладов в сберкассах... Худшее отнюдь не позади, хотя бы из-за продолжающегося спада производства, не говоря уже о растущих суммах невыплаченной зарплаты».

В отношении амортизации и социального расслоения автор безусловно прав. Что же касается других названных в книге отрицательных последствий гайдаровских реформ, то здесь положение обрисовано с точностью «до наоборот».

Впрочем, некоторые, едва ли не главные, аргументы автора опровергаются в его же книге. Действительно, если доходы перераспределились в пользу небольшой группы населения и «тяжко маются громадные слои», то каким образом «три четверти населения несомненно выиграли, в целом их уровень жизни поднялся»? И это — отнюдь не голословная констатация: Игорь Бирман исследовал проблему российского уровня жизни достаточно подробно. По результатам своего исследования он совместно с Ларисой Пияшевой подготовил доклад к парламентским слушаниям, которые состоялись в Совете Федерации РФ в 1997 году. В этом докладе, изданном в виде брошюры, черным по белому напечатано:

«Наш анализ привел нас к следующим выводам...

1. Официальные показатели потребления товаров и услуг, а также денежных доходов населения занижены... размер занижения значителен, по всей видимости, не менее чем на половину... жизненный стандарт для больших групп населения (...примерно три четверти населения) за последние годы повысился, причем население в целом потребляет больше товаров и услуг, чем раньше, то есть общее количество товаров-услуг, потребляемых основной массой населения, возрастает.

2. Не приходится отрицать громадное положительное влияние ликвидации товарного дефицита на общий стандарт жизни... люди... тратят свой денежный доход много рациональнее прежнего, но непонятно, как синтезировать этот эффект в итоговые численные показатели уровня жизни»<sup>6</sup>.

Замечу, что эффект ликвидации товарного дефицита оценен не полностью. К сказанному о более рациональных тратах следует добавить избавление россиян от утомительных поисков нужных товаров, стояния в многочасовых очередях, от поездок за дефицитом в другие города и т. д. Влияние гипотетической свободы потребительского выбора на реальные доходы населения по сравнению с почти полным ее отсутствием различными авторами оценивалось в 80-е годы коэффициентом 1,5. С учетом этого коэффициента получается, что жизненный уровень  $\frac{3}{4}$  российского населения за годы российских реформ поднялся почти вдвое.

И еще одно замечание по поводу вышесказанного. С одной стороны, Бирман утверждает, что производство потребительских товаров резко упало, но с другой — что население потребляет больше товаров и услуг, чем раньше. Как согласовать эти утверждения? Остается предположить, что занижаются официальные показатели не только потребления, но и производства потребительских товаров, хотя и в меньшей степени. Расхождение между потреблением и производством таких товаров восполняется их импортом, который покрывается экспортом сырья, главным образом энергоносителей — нефти и газа.

<sup>6</sup> Бирман Игорь, Пияшева Лариса. Статистика уровня жизни. М., 1997, стр. 165 — 166.

Добавим, что в еще большей степени, чем производство потребительских товаров, официальная статистика занижает выпуск продукции производственного назначения, сельского хозяйства, объемы строительства и услуг и, стало быть, ВВП, о чем свидетельствуют результаты исследований, выполненных в 90-е годы. В одном из таких исследований, проведенном в 1995 году статистиками Мирового банка с привлечением сотрудников Госкомстата РФ, Минфина, РАН и других учреждений, мне довелось участвовать. По итогам нашего исследования опубликованные ранее показатели ВВП были скорректированы в 1,3 раза<sup>7</sup>. Еще больше — в 1,8 раза — отличаются от публикуемых Госкомстатом размеры российского ВВП, исчисленные А. Ослундом с более полным учетом теневой экономики и уточнением макроэкономических показателей 1990 — 1991 годов, которые используются в качестве базовых для разного рода расчетов ущерба от рыночной трансформации<sup>8</sup>. В то время как Госкомстат определяет масштабы теневой экономики в размере 20 процентов ВВП, соответствующим образом досчитывая этот показатель, по данным экономической разведки ФСБ, удельный вес теневой экономики в ВВП вдвое больше и достигает 40 процентов<sup>9</sup>.

Согласно классификации Госкомстата, теневая экономика включает запрещенную законом экономическую деятельность и разрешенную, но осуществляемую незарегистрированными предприятиями и частными лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. Из незаконных видов деятельности назовем изготовление и продажу наркотиков, оружия и боеприпасов, содержание притонов, съемку и показ порнофильмов, аудио- и видеопиратство. Разрешенная экономическая деятельность, но осуществляемая незарегистрированными предприятиями и уклоняющимися от налогов частными лицами, многообразна. Особенно высока ее доля в дачном строительстве, ремонте жилых домов и квартир, техническом обслуживании автомашин и компьютеров, медицинских и репетиторских услугах, в сельском хозяйстве и торговле, в том числе внешней («челноки»). С целью занижения своей налогооблагаемой базы даже зарегистрированные предприятия существенно преуменьшают истинные объемы выпускаемой продукции и получаемой прибыли.

Что касается показателя ВВП за 1990 год, то здесь следует принять во внимание результаты пересмотра динамических рядов промышленного выпуска за 1960 — 1988 годы, предпринятого НИИ Госкомстата в 1991 — 1992 годах. Рост промышленной продукции в этот период оказался завышенным в 2 раза, в том числе машиностроения — в 4 раза<sup>10</sup>. А ведь значительная часть продукции машиностроения — конечная продукция, которая целиком включается в ВВП. Сказанное свидетельствует о крупномасштабном завышении официальной статистикой показателей ВВП в 1990 — 1991 годах. Причем, несмотря на указанный пересмотр динамики промышленной продукции, авторы книг по экономической истории СССР, как в России, так и в США, оперируют прежними, неисправленными данными<sup>11</sup>.

Причина завышения отчетных данных была достаточно откровенно названа последним председателем Госкомстата СССР В. Кириченко. По его признанию, методология статистических расчетов указанного ведомства была «подстроена под политические задачи» («Коммунист», 1990, № 3). Особое внимание уделялось при этом обобщающим показателям экономического развития, ибо главным их предназначением была демонстрация успехов и преимуществ реального социализма, его достижений в соревновании с капитализмом, успехов в решении «исторической задачи догнать и перегнать крупнейшую капиталистическую державу — США».

<sup>7</sup> Более подробно см.: «The Moscow Times», 1995, 15 октября.

<sup>8</sup> Ослунд А. Миф о коллапсе производства после крушения коммунизма. — «Вопросы экономики», 2001, № 7, стр. 134.

<sup>9</sup> [«Новости от Интерфакса»]. — «Финансовые известия», 1996, 11 июля.

<sup>10</sup> Эйдельман М. Пересмотр динамических рядов основных макроэкономических показателей. — «Вестник статистики», 1992, № 4, стр. 26.

<sup>11</sup> См. об этом: Бирман Игорь Я — экономист..., стр. 445.

Теперь относительно вкладов в сберкассах. Следуя образной терминологии Бирмана, назовем их обесценение «убийством», которое действительно состоялось, но не в 1992 году, а задолго до гайдаровских реформ. Началось оно в 1963 году, когда Постановлением Совмина СССР сберкассы были переданы из Минфина в ведение Госбанка. Именно тогда сбережения вкладчиков стали направляться на пополнение кредитных ресурсов Госбанка, которые в свою очередь почти целиком шли на финансирование сверхбюджетных военных расходов, связанных с гонкой вооружений. Заметим, что одним из первых проблему советских военных расходов и их финансирования досконально исследовал Игорь Бирман. Его сенсационные выступления на этот счет — как в американской, так позднее и в советской печати — общеизвестны<sup>12</sup>.

В результате непомерных затрат на военные нужды уже в 80-е годы средства населения, помещаемые во вклады в сберкассах, стали существовать лишь номинально — в виде записей в сберегательных книжках. Тому, кто в этом сомневается, напомню, что вслед за сбережениями, а уж никак не прежде, на те же цели было израсходовано почти  $\frac{2}{3}$  золотого запаса СССР: по недавно опубликованным данным, за период с 1953 по 1991 год он снизился с 2050 до 784 т.<sup>13</sup>

Таким образом, в «убийстве» сбережений населения гайдаровские реформы неповинны. Просто тайное сделалось явным. Впрочем, накануне реформы не только сбережения, но и любые рублевые средства и так омертвелись — в магазинах в 1990 — 1991 годах купить на них было буквально нечего.

И другие указанные в книге просчеты Гайдара и его команды столь же не очевидны. Таков, например, часто повторяемый — не только Бирманом — рефрен о недостаточной скорости и жесткости реформ. Претензии, предъявляемые к реформаторам по этому поводу, весьма сомнительны. Большая скорость и радикальность реформ, не говоря уже о прочем, могли бы вызвать серьезные социальные катаклизмы.

Наконец, относительно мрачных прогнозов автора, основанных на устаревшей констатации спада производства и роста задолженности по зарплате. В действительности ничего подобного с 1999 года уже не наблюдается. Напротив, производство растет и задолженность по зарплате почти ликвидирована.

В 2000 году, впервые за последние 15 лет, ВВП, по данным Госкомстата РФ, увеличился на 7,5 процента, промышленное производство возросло на 9 процентов. Заметим, что вполне авторитетной исследовательской организацией — Центром развития (С. Алексашенко) — последний из названных показателей был скорректирован в сторону увеличения — повышен до 11,9 процента<sup>14</sup>.

Как было указано, все еще неизжитые последствия гайдаровских реформ — отрицательная амортизация и падение инвестиций. Но и здесь, как говорится, виден свет в конце туннеля. В первом полугодии 2001 года около  $\frac{2}{5}$  прироста промышленного производства приходилось на долю машиностроения, в том числе инвестиционного<sup>15</sup>.

Тем не менее закономерно поставить вопрос: можно ли было осуществить переход к рыночной экономике как-то иначе — с меньшими социальными издержками начального его периода? Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что проблема перехода к рынку возникла еще во время горбачевской перестройки. Обсуждалось и публиковалось несколько альтернативных программ рыночной трансформации российской экономики. Общеизвестна программа перехода к рынку «500 дней», подготовленная под руководством С. Шаталина и Г. Явлинского в 1990 году. Менее известна концепция такого

<sup>12</sup> Укажем, например, его книгу, изданную в США на русском языке, — «Экономика недостатка» (Нью-Йорк, 1983). Более подробно см.: Бирман И. Величина советских военных расходов. Методический аспект (изд. Стокгольмского института советской и восточноевропейских экономик, 1991).

<sup>13</sup> «Золото: прошлое и настоящее». Сб. под редакцией В. Букато и М. Лapidуса. М., «Финансы и статистика», 1998, стр. 35.

<sup>14</sup> «Эксперт», 2001, № 24, стр. 100.

<sup>15</sup> Там же, стр. 43.

перехода на основе параллельной валюты, разработанная автором этих строк совместно с И. Нитом и П. Медведевым, хотя начиная с 1986 года она публиковалась неоднократно, в том числе и в массовых изданиях<sup>16</sup>.

Однако ни программе «500 дней», ни нашей концепции не суждено было воплотиться в жизнь. А в 1992 году, в преддверии быстро надвигавшейся экономической катастрофы, ничего иного, кроме реформ по гайдаровскому сценарию, сделать было уже невозможно.

В заключение остановимся на обсуждаемых Бирманом вопросах технологии проведения гайдаровских реформ. Основной недостаток он усматривает в том, что затянули приватизацию и провели ее так, что «образовались крупные богачи, а не многомиллионный средний класс». Но ведь для образования многочисленного среднего класса понадобилось бы несколько сотен тысяч россиян, обладающих рыночным менталитетом. Между тем после семидесятилетнего господства командно-административной системы наших соотечественников с подобным менталитетом в таком количестве в стране не было, да и быть не могло. Острый дефицит эффективных собственников — одно из существенных препятствий на пути рыночных преобразований и главным образом приватизации. Притом препятствие это — долговременного характера. За короткие сроки его не устранить.

Другой недостаток в проведении реформ, который автор вменяет в вину гайдаровскому правительству, — отсутствие должного протекционизма, я бы сказал — государственного патернализма, способного защитить нашу «слабую неконкурентоспособную на мировых рынках экономику». Подобная защита — это высокие пошлины на импортные товары. Защитив отечественных производителей низкокачественной продукции, такие пошлины не способствовали бы улучшению ее качества, а с другой стороны — ограничивали возможность российских потребителей среднего достатка приобретать импортные товары. Убедительный пример тому — рынок отечественных автомобилей, на долгие годы защищенный непомерно высокими пошлинами.

Из других главных недоработок гайдаровского реформирования, названных в книге, рассмотрим еще три: «Не смягчили острейшую социальную дифференциацию, не боролись со взрывом преступности, не создали условий для инвестиций».

Чтобы смягчить социальную дифференциацию, нужны средства на всякого рода пособия и дотации, которые у нашей власти до последнего времени были в дефиците. Что касается преступности, то и в богатой Америке она не уступает российской. Впрочем, небывалый прежде масштаб преступности объясняется в основном исчерпанием инерции страха, которая в нашей многострадальной стране почти на полвека пережила Сталина — вдохновителя и организатора небывалых в мировой истории кровавых репрессий.

От реформ многие ожидали и больших неприятностей, в том числе и автор книги. По сути, за десять последних лет один общественный строй сменился в нашей стране другим без сколько-нибудь серьезных социальных потрясений. Как пишет об этом Бирман, «к моему удивлению, пока не очень проявляются социальные конфликты». Теперь можно надеяться, что они уже и не проявятся. Разумеется, бескровная смена общественного строя была достигнута не слишком праведными методами. Так, приватизация была во многом «номенклатурной» — обменом власти на собственность, что, мягко говоря, не слишком этично. Но это тот самый редкий случай, когда цель оправдывает средства: ни революции, ни гражданской войны, как в 1917 — 1921 годах, не произошло.

Остановимся наконец на последнем из перечисленных возражений против гайдаровских реформ: «не создали условий для инвестиций», что правда. И, увы, — горькая правда, ибо большая часть производственного аппарата изношена до крайности — и физически, и морально. Доживают нормативные сроки эксплуатации так называемые вековые сооружения — мосты и путепрово-

<sup>16</sup> «Коммунист», 1988, № 14; «Известия», 1989, 30 января.

ды, построенные еще в царское время. На нашем устаревшем оборудовании, как ни старайся, качественной продукции не произведешь. Так что отсутствие условий для инвестиций действительно не может не тревожить.

Из всего многообразия условий, необходимых для масштабных инвестиций, назову два основных: инвестиционный потенциал и инвестиционный климат.

Как свидетельствует исторический опыт, тремя главными источниками финансирования инвестиций в российскую экономику служили амортизационные отчисления предприятий (в части реновации), средства населения (в банковских вкладах и ценных бумагах), зарубежные кредиты. Амортизационных отчислений едва хватает ныне на капитальный ремонт; названная в книге Бирмана отрицательная амортизация означает проедание основного капитала. Больше половины сбережений населения — «матрачные». Зарубежные инвестиционные кредиты и прямые вложения зарубежных инвесторов остаются до последнего времени весьма ограниченными. Причина — неблагоприятный инвестиционный климат, низкая по сравнению с другими странами инвестиционная привлекательность российской экономики.

Дочерняя компания «The Economist» — «Economist Intelligence Unit» — составила прогноз инвестиционного климата на ближайшие пять лет в 24 странах, распределив их по десятибалльной шкале. Россия в этом прогнозе оказалась на последнем месте — ее инвестиционная привлекательность оценена 5,5 баллами — вслед за бразильской, филиппинской и китайской (от 6 до 7 баллов). Она существенно, почти в 1,5 раза, уступает тайваньской и израильской (соответственно 7,5 и 8 баллов). Иными словами, инвестиционный климат в России хуже, чем в странах, политическая стабильность которых по известным причинам оставляет желать много лучшего<sup>17</sup>.

Из факторов, оказывавших наиболее негативное влияние на инвестиционную привлекательность российской экономики, на мой взгляд, самый существенный заключался в отсутствии частной собственности на землю. Создавая или приобретая в России какое-либо предприятие, зарубежный инвестор до последнего времени не являлся его собственником в полном смысле этого слова, ибо земля под таким предприятием ему не принадлежала. Но ныне ситуация в корне изменилась: Госдумой РФ принят наконец Земельный кодекс, включающий право частной собственности на земли несельскохозяйственного назначения. Преодолевая немалые трудности, законодательные процедуры близятся к завершению. Но ведь это стало возможным только теперь, после того, как фракции коммунистов и аграриев оказались в Госдуме последнего созыва в меньшинстве. А прежде любые попытки ввести частную собственность на землю, пусть даже и не сельскохозяйственного пользования, в зародыше блокировались лево-коммунистическим думским большинством.

Подводя итог сказанному, отметим, что одни из названных Бирманом недостатков гайдаровских реформ исправлены, другие в меру появляющихся возможностей исправляются. Однако все и сразу — подобно либерализации цен, проведенной почти одномоментно на старте рыночных реформ, — по разным причинам сделать было нельзя. Здесь уместно прислушаться к сказанному Гайдаром в его интервью газете «Московские новости»: «Способность любого правительства проводить такие реформы всегда ограничена. Когда пытаешься провести все и сразу, то неудача гарантирована»<sup>18</sup>.

Об одном и том же одинаково наполненном стакане пессимист говорит, что он полупустой, а оптимист — что полуполный. В данном случае я бы сказал, что стакан наполнен на  $\frac{3}{4}$ . Мое мнение о гайдаровских реформах, в противоположность автору книги, однозначно положительное: они «задались».

<sup>17</sup> «Независимая газета», 2001, 22 августа.

<sup>18</sup> «Московские новости», 2001, 17 — 23 июля.

---

---

# Р Е Ц Е Н З И И. О Б З О Р Ы

## ГОЛОС

Евгений Гришковец. Город. М., «Проспект», 2001, 224 стр.

**К**ак часто при чтении дневников приходит особая, соединенная с удивлением жалость к их автору: к кому же ты, собственно, обращаешься, описывая горести свои и недоумения, кому жалуешься? *Кому повем печаль мою?*

А драма, не правда ли, — это искусство диалога, выражающего конфликт, и даже монопьесы должны содержать в себе присутствие иных голосов, каких-то воспоминаний об отношениях, переживаемых, или пережитых, или грядущих. Говорящий пребывает в мире людей и рассказывает о них другим людям, слушателям, зрителям. Кто слушатель и зритель дневника, кому жалуется, с кем делится радостью пишущий? Безмолвные монологи дневника не соприкасаются с искусством театра, который есть *со-переживание*?

Нет ответа, если не считать упоительной надежды на посмертное понимание со стороны близких, подобно надписи на могиле из старого анекдота: «Теперь, сволочи, вы верите, что я был болен?» То есть ответ-то есть, но не для героев Гришковца, как и большинства его и наших современников и соплеменников, даже и исправно крестящих лоб, завидя купол, и даже, подозреваю, среди соблюдающих пост и проч.

Как ни странно, вовсе не монологические пьесы Гришковца «Как я съел собаку» и «ОдноврЕмЕнно» навели меня на острое ощущение экзистенциально одинокого вопиющего *голоса* как определяющей его творчество доминанты, а пьеса «Город» аж с пятью действующими лицами.

Он, Она, отец Его зачем-то снабжены именами. Затем же, зачем поселены в квартире, говорят по телефону, страдают от комаров, но все это совершенно не важно. А важно то, что Он, желая жить, ежесекундно чувствует и сознает, что не живет. Он завидует чужому ремонту, разводу, любому действию, любой зависимости от жизни, которой он не ощущает. «Я ничего не чувствую, кроме этого глобального какого-то процесса... процесса понимания моей слабости, вот этой моей неспособности ни к чему... И еще я понимаю, понимаю очень остро, что я буду тем, кто я есть, всегда. Понимаешь, всегда! То есть не буду знать итальянский язык никогда, никогда не буду богатым, никогда не побываю в Аргентине и так далее, и так далее... нет, Макс, не получается объяснить, потому что, Бог с ней, с Аргентиной, главное — вот это „навсегда“».

Это сочетание монолога дяди Вани с миниатюрой Жванецкого выдает в Нем наследника традиции, может быть, восходящей к лишнему человеку, а в советском варианте, допустим, — к мэнэсу Жванецкого, завещающему свой антиопыт («Никогда корабль под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Да и из наших не выйдет») сыну. А назойливое: уеду, уеду, уеду? Куда, зачем?

Зилов с его утиною охотой? Чеховские сестры? Или вовсе некто с его «охотой к перемене мест»? Немало родственников наберем, и все же и у сынов позапрошлого века, и у детей советского времени, кажется, чуть побольше надежды и отвлечений от ноющей мысли, чем у героя «Города». Он хочет жить, но отключает телефон, он адресуется близким, они же не слышат его, как не понимают друг друга 1-й и 2-й из «Диалогов к пьесе „Записки русского путешественника“» («друзья с детства, образованные люди»), страдающие почти одинаково, но только каждый для себя. Лишь Отец («Город») и способен понять Его, поведав, что и сам некогда «все это прошел по полной программе», а теперь равнодушен к тому прошлому как «эгоизму» и «соплям».

---

*От редакции:* Прозаик-драматург Евгений Гришковец — сегодня заметная и значимая фигура. Считая полезным увеличить объем суждений о нем на страницах «Нового мира», мы публикуем два отклика на его книгу.

(Между прочим, а почему «Город»? Ведь и крестьянки любить умеют? Только тоска «озерная, лесная» всегда выражалась и проявлялась иначе. Или деревни теперь нет, а есть сплошной Город, всосавший в себя и деревню с ее обитателями и их тоскою?)

Бьется над неразрешимым герой-рассказчик в пьесе с вариативным, как словарная норма в отношении ударений в наречии, названием «ОдноврЕмЕнно» перед школьным пособием по анатомии человека. «И вот как к этому относиться ко всему? Ведь я же понимаю, что во мне всего этого (*показывает на схему*) полным-полно, и что? ...мои кишки и мой желудок — это не Я. А где Я? ...мои руки тоже не Я... мозг тоже не Я, а только — мой мозг. А где Я?» Совсем по Ходасевичу: «Я, я, я. Что за дикое слово!» И та же, что у Ходасевича, приговоренность к одиночеству.

Я не видел пьес Гришковца на сцене, но, думаю, особую притягательность им сообщает способность автора мучительные вопросы экзистенции выводить из каких-то дурацких и общепонятных мелочей. То, что желание богаче его реализации, в «Диалогах...» звучит так: «Я вот смотрю кино про... гражданскую войну, а там бандиты или анархисты пьют самогонку. Из таких больших бутылей... здоровых, стаканами, мутную такую жидкость... и крикают так... Видимо, актерам весело бандитов играть... и мне всегда так хочется вот этой самогонки выпить... Я знаю, что такое самогон, — его не хочу. А хочу того, который там, в кино, с детства хочу».

В «ОдноврЕмЕнно»: «Хочется в Грузию, к этим людям... которые так поют... Которые так поют... Которые так поют — как нам нравится. Не к этим, которые на рынке, или к тем, которые на вокзале или в аэропорту, и не к тем, которые... не к конкретным... к которым... Какую Грузию?.. А то можно было бы купить билет на самолет... Я там не был никогда, но понятно же... прилетишь в Грузию, а там аэропорт, автобусы, такси... поедешь в город, а там ведь, в Грузии, города — улицы, магазины, люди ходят... Я там никого не знаю... Так что, наверное, не споят, чего там... А если ехать к друзьям, то споят друзья... за то, что ты их друг, а это уже не то. Понимаете, совсем не то». Все это подводит рассказчика «к очень важной мысли». Важность ее уже в том, что ее «очень сложно» выразить: «Как надо, сказать не могу. Потому что нужно сказать... одновременно... об очень многом. И сказать не быстро, а сразу...»

В «Диалогах...» это чувство Родины: «Я когда решил, что уезжаю, и узнал, что все возможно... Я... Очень счастливый период в жизни был. Я всем говорил, что уезжаю, прощался со всеми, чтобы уж наверняка... чтобы обратной дороги не было... А когда со всеми спросошлся, я вдруг почувствовал себя привидением... неуязвимым. Меня уже никто не мог обидеть, ранишь, задеть... понимаешь. Хорошо!.. Например... Вот видел — иностранцы на Красной площади... Ветер, холод, январь, снег колючий такой, минус двадцать градусов. А они такие забавные, шепечут... в кепочках, в шапках с помпончиками... и не холодно ведь ему в курточке или пальтишке. А мы в шубах, мерзнем, сутулимся, нос кутаем, бежим... у перчаток пальцы пустые, руки в кулаки... холодно! Мерзнем! А они нет! Так вот, как только я понял, что уезжаю, — перестал мерзнуть! Мороз-то уже не мой. Он меня не морозит. Подштанники не надеваю, иду в курточке — хоть бы что. Весело, понимаешь. Уши прихватывает... конечно, но не давит, мороз не давит... Вижу — красиво! Русская зима — красиво! Не моя уже, чего мне... теперь...»

А в «Городе» о *самом* главном — о том, что мучает Его и чего не слышат, как ему кажется, окружающие:

«Я же не помню момента в моей жизни, после которого весь уклад моей жизни, если это можно назвать укладом (*усмехается*), стал бессмысленной чередой каких-то... каких-то действий. То есть не было такого момента, после которого то, чем я был доволен, или то, в чем я был уверен, вдруг стало вызывать недоумение или неприязнь. Не было никакого мгновения озарения, прозрения или какого-то другого рокового происшествия. ...Я его не помню... этого мгновения... Не помню. Зато помню, как ехал в автобусе...»

Смерть неведомой женщины в автокатастрофе и оказывается для героя именно *тем* мгновением, после которого...

«И тут мы не знаем, в какой момент мы почувствуем, а в какой нет. И какие для этого нужны условия... для того, чтобы почувствовать. Иногда вообще никаких



условий не надо». Не надо условий Гришковцу и его персонажам, пребывающим то на условном мини-ринге, то в не менее условном зимнем лесу, то в бестелесном жилище.

Монологи бедны лексикой, они мучительны для говорящих, которые, по выражению не любившего мучительных вопросов Алексея Н. Толстого, «крутятся, как овца на приколе, вокруг ужаса смерти». Самая первая и самая плотная по языку и фактуре пьеса, как бы еще полупроза, «Как я съел собаку», наиболее реальна, она как бы еще в предчувствии грядущих вопросов, рассказчик юн, он лишь подозревает их явление: «Мама писала письма каждый день. Посылки посылала. А мне было трудно есть печенья, которые лежали в этих ящичках. Мне было жаль нарушать положение вещей в уложенной мамой посылке. Эту посылку они посылали тому, кто махал им рукой из уходящего на восток поезда... А этого мальчика уже нет. Посылка пришла не по адресу. Она пришла не к их милому, единственному, умному мальчику. А к одному из многих грязных, затравленных и некрасивых пареньков, который имеет порядковый номер и... фамилию... эту фамилию один раз в сутки выкрикивают на вечерней поверке...» Здесь на переднем плане еще очевидность: был домашний мальчик, сделался затравленный, на печально известном острове Русский, солдат, но фраза «этого мальчика нет» содержит зерно грядущих вопросов и наблюдений. Она же напоминает о еще одном предшественнике Гришковца в русской литературе: «Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы... тех, исчезнувших... они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя» (Юрий Трифонов, «Дом на набережной»).

Очищенные от «прозы» последующие, особенно «Город», пьесы, где язык персонажей уже просто убог, совсем *как в жизни*, тем сильнее говорят о главном.

Книга Евгения Гришковца при малом объеме кажется очень большой, долгой, словно бы, раскрыв ее, освобождаешь таившуюся под переплетом энергию сжатого до предела содержания.

Сергей БОРОВИКОВ.

Саратов.



## ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

**Е**вгений Гришковец встретил такой дружный и восторженный прием, так удачно нашел маску и так умело ее эксплуатирует, что поневоле хочешь нарушить эту идиллию каким-нибудь диссонансом, охладить пыл, вклиниться в хор похвал скептическим отзывом. Однако любой, кто читал или видел Гришковца, прекрасно понимает, что и славу, и хвалы, и «Золотые маски» этот тридцатипятилетний драматург и режиссер (в прошлом кемеровский, ныне калининградский) вполне заслужил. Заслужил не только удачно найденной маской, но и тем, что маска эта у него не одна, приемы весьма разнообразны, а в основе успеха лежит не прицельное чувство конъюнктуры, а врожденное чувство театра.

Успех Гришковца обеспечен тем, что он вернул наше театральное искусство к его естественной задаче — к самовыражению. Гришковец ничего не угадывал, не подгадывал и не выгадывал: он честно рассказал о себе и потому попал в нерв. Это самовыражение без оглядки на аудиторию (однако с превосходным пониманием ее предпочтений и законов сценического действия) само по себе трогательно и притягательно. Гришковец может играть свои спектакли перед большим и маленьким залом, перед знатоками и неучами, перед первым встречным. Он, кажется, ценит в себе не художника, не артиста, а прежде всего *типичного представителя* — того самого, о котором наш театр в последнее время забыл. Голый человек на голой земле, на пустой сцене (в «ОдноврЕМенно» эта метафора наготы буквализуется), растерянный, не знающий, что делать со своим новым опытом, и делящийся этим опытом с беззащитностью случайного собеседника, — вот сценический образ, с

которым автор монолога «Как я съел собаку» вошел в сознание зрителя и читателя. И этот образ идеально совпал с самоощущением большей части аудитории. Прикидываться, как выяснилось, не надо. Можно вот так выйти и начать говорить, и если говорить честно — будут слушать.

Гришковец разрушил театральную условность, точнее, перевел ее в иной регистр. Не сказать, чтобы его вещи были враждебны традиционному театру: напротив, они и есть театр в высшем смысле, минималистский, без всяких эффектов, возникающий из ничего. Эти пьесы рассчитаны на игру, на вживание в образ, на вполне традиционное актерское перевоплощение, — они хороши отнюдь не только в авторском исполнении. И образ автора в «Собаке» сильно отличается от авторского образа в «ОдноврЕмЕнно». И в их речи множество тонких различий: герой «Собаки» куда интеллектуальнее, рефлексивнее, попросту взрослее человека из «ОдноврЕмЕнно». И опыт у них разный — собственно, эти два жизненных опыта объединены только одним: непонятно, что с ними делать. Герою немного за тридцать, он кое-что повидал и понял, но все это никому не нужно. Между ним и миром образовался некоторый роковой зазор, в эту щель сквозит, и эта драматическая коллизия становится для Гришковца главной. Человек не сводится больше к своей социальной роли, ему в ней тесно. А между тем скудеющая наша действительность с ее стремительными переменами, не затрагивающими ни души, ни разума, в личностях не нуждается абсолютно. Мир фантомен, все заняты какими-то страшно важными, но на поверку совершенно бессмысленными вещами вроде оформления дембельского альбома. Успел появиться новый тип людей, новый класс, если угодно, — эти люди прошли через все соблазны своей эпохи и не прижились в ней. Вот от имени этих новых лишних и говорит Гришковец. Все они начинают с нуля, и не зря его главный герой — «молодой человек тридцати — сорока лет». Молодые люди в знаменитой пьесе Славкина могли так называться в силу своего бессмертного и прекрасного инфантилизма, способности поддаваться гипнозам собственной юности; молодые люди Гришковца никаким гипнозам уже не поддаются. Но ощущение начинающейся с нуля жизни точно так же обеспечивает им непрекращающуюся молодость.

Стремление такого героя остаться на сцене голым или рассказать о себе самое постыдное — как раз естественная, необходимая вещь. Главная задача этой маски — сбросить маску, потому что ни одна из серьезных ролевых игр, протекающих вокруг, Гришковца не устраивает. Его тема — человек, выломившийся из контекста, усталый от роли (почему и играющий себя, то есть только о себе и говорящий). Диверсанты из пьесы «Зима» ужасно устали быть диверсантами. Хороший книжный мальчик, попавший на флот, устал играть в солдата могучей сверхдержавы, в мужское товарищество, в крутизну. Герой «ОдноврЕмЕнно» вообще открывает для себя тьму простых вещей, — например, тот факт (в свое время меня тоже потрясший), что машинист, оказывается, не едет с поездом из Москвы, допустим, в Крым, а уступает место другому машинисту, который ведет поезд следующие 200 километров... и так далее. Происходит некое новое открытие мира. Слишком долго все мы смотрели на него сквозь призмы тех или иных идеологем, тех или иных социальных ролей — короче, жили опосредованно. Гришковец предпочитает соприкасаться с голой реальностью: иногда для такого соприкосновения нужен шок вроде призыва во флот, иногда довольно накопившейся усталости. Герой пьесы «Город» — хронологически последней и, боюсь, не самой удачной у Гришковца — устал от бесчисленных и унылых социальных обязательств, от друзей, просящих участия или денег взаймы, от жены, предъявляющей претензии и права... Между человеком и миром воздвигнуто слишком много препятствий. Гришковцу хочется отказаться от всякого вранья и договориться до себя — любой ценой. В некотором смысле его саморазоблачения на сцене — и буквальные, и вербальные — это такой сеанс психотерапии, который он сам же себе и устраивает. Просто чтобы после всех пертурбаций восьмидесяти—девяностых годов выстроить себе картину мира и разобраться, во что, собственно, превратилось загадочное Я.

Эта проблема, очевидно, насущна, о ней сейчас так или иначе пишут все сколько-нибудь серьезные авторы. Случился капитальный кризис самоидентификации: человеку элементарно некогда себя спросить, кто он такой. Вопрос даже не

в цели жизни или в смысле ее — это все придет потом, сначала надо разобраться с простейшим: кто я и где я. Советские корни, любовь к советским праздникам, советский культ семьи и дома, советский страх перед любой нестабильностью: это в бэкграунде. В бэкграунде — и доброта, и порядочность, воспитанные все тем же оранжевейшим миром детства. Но есть и еще одно очень советское качество — адаптивность, приспособляемость, и герой Гришковца наделен им не в меньшей степени: он всюду умудрялся быть внутренне чужим, но внешне вполне своим. Теперь идет мучительный процесс сбрасывания всей шелухи, мимикрийных обличей, масок, кожи — процесс, который затронул и общество. Некоторые боятся, что оно вернется к «совку». Очень может быть: не случайно все детские воспоминания, все лирические реминисценции в «Зиме» кажутся фрагментами старого доброго советского кино. Но и «совок» не поощрял тех качеств, которые столь дороги герою Гришковца: честность, чувствительность... Так что есть шанс, что процесс пойдет и дальше, глубже. Что вернемся мы к человеку, а не к гомо советикусу. Хотя, повторю, все советское — от детских книжек до новогодних салатиков — Гришковца очень умиляет, и здесь он тоже честен.

На протяжении всего XX века Россия уродовала своих жителей: сначала — насильственной советизацией, потом — столь же насильственной десоветизацией, рынком, социальным дарвинизмом, декадансом и снобизмом нового образца, модами, халявой, наркотиками, чем попало — словом, всем тем угаром, который заменяет нам общественную жизнь вот уже лет пятьдесят. И в нашем патриотизме, и в нашем западничестве было очень мало здорового — преобладала ложь и дешевые понты. Стремление наконец выговориться, спустить «черную кровь», как в сказке о Робин Гуде, и добраться до алой, содрать маску и доискаться до лица — вот пафос Гришковца, и в этом смысле его «Город» — очень своевременная книга.

А самой удачной пьесой мне представляется все же «Зима» — обаятельное и в высшей степени сценичное произведение. Идея проста: разыграть все возможные модели отношений, которые складываются в треугольнике «Двое плюс одна». Исходная ситуация довольно экзотична (и, сдается мне, идеальна для новогоднего представления): в лесу скрываются два подрывника, им надо взорвать какой-то секретный объект. Появляется Снегурочка, вместе с которой они начинают разыгрывать разные ситуации из своего прошлого: вот они школьники, и оба в нее влюблены, и робеют признаться; вот они соперники и коллеги, вот она любит обоих, вот обоих не любит... Этот мгновенный переход из одной ситуации в другую, с одними и теми же действующими лицами, мгновенно меняющими маски, завершается великолепной и истинно праздничной сценой, когда оба боевика решаются наконец воспользоваться проклятым рубильником и в результате устраивают грандиозный фейерверк. Это очень хорошо у Гришковца — какая-то чистая детская вера в то, что мир прекрасен и щедр в своей основе, что задуман он не враждебным человеку, а доброжелательным, полным изумительных сюрпризов. Только эта априорная вера и позволяет с такой тоской и злостью обрушиваться на скучные условности и идиотские обязанности, которыми обставлена наша жизнь... или, вернее, какими мы сами ее обставляем.

Что касается «Города» — из всех пьес Гришковца эта выглядит наименее оригинальной, наиболее вампиловской и, конечно, не выдерживает сравнения с «Утиной охотой». Вампилов куда богаче, разнообразнее, тоньше, типажи у него замечательные, каждый узнаваем и интересен — не только Зилов важен, но и его окружение, едва ли не более колоритное; у Гришковца все герои, кроме протагониста, достаточно служебны. Написать каждому живую и яркую речь то ли не может, то ли не хочется — все они говорят более или менее по-гришковецки и почти одинаково. Кризис среднего возраста, столь объяснимый (и даже не требующий объяснений) в пьесах-монологах, здесь заявлен, но не прописан и не доказан; похоже, Гришковцу... страшно сказать, а все-таки это скорее комплимент: Гришковцу совершенно не даются традиционные формы сценического действия! Он не может написать Просто Пьесу, пьесу в классическом понимании, с сюжетом, с развитием характеров, эффектными мизансценами, возрастающим напряжением и проч. Ну так ведь и от птицы не требуется высокий класс ходьбы. Скажем, не требуем мы от Петрушевской, чтобы она писала интеллектуальные диалоги, а от Ионеско никто не ждал ан-

тичной трагедии... В драматургии — не знаю уж почему — специализация еще более отчетлива, нежели, скажем, в прозе. Хороший прозаик запросто сочинит и детектив, и амурную историю, но хороший драматург крайне редко способен писать что-нибудь кроме того, на чем он съел собаку.

Дмитрий БЫКОВ.

\*

## ПРОСТО ПРИЗРАК

Андрей Николаев. Елисейские радости. С предисловием Глеба Морева. М., О.Г.И., 2001, 61 стр. (Поэтическая серия клуба «Проект О.Г.И.»).

Андрей Николаевич Егунов (1895 — 1968), известный под настоящей фамилией в классической филологии и под псевдонимом «Андрей Николаев» в истории литературы, — фигура и характерная, и маргинальная, и изученная (в первую очередь Г. Моревым, подготовившим текст его книги), и загадочная.

Характерна прежде всего его судьба: Тенишевское училище (позже Мандельштама, раньше Набокова); университет; «поденщина на рабфаках»; почти четверть века (1933 — 1956) изгнания — ссылка, принудительные работы в Германии, сталинский лагерь; утрата значительной части наследия — в том числе всей прозы, кроме напечатанного в 1931 году романа «...По ту сторону Тулы». (В сущности, этот роман, лирическая поэма «Беспредметная юность» и, наконец, книга «Елисейские радости», составленная самим Егуновым в конце жизни и включающая 45 стихотворений 1929 — 1966 годов, — все, что сохранилось от писателя Николаева.) Путь многих представителей «последнего поколения петербургской интеллигенции», как пишет Г. Морев (вот с этим определением я бы не согласился: *последнее* поколение — это Хармс, Введенский, Д. Е. Максимов, Д. С. Лихачев, наконец — те, кому не довелось вырасти и выучиться, хотя бы в гимназии, прежде 1917 года; Егунову в этом смысле повезло больше).

О «маргинальности» Егунова-Николева можно говорить в разных смыслах. «Классическая советская эпоха» навязывала маргинальный статус авторам, совершенно к тому не предназначенным и не приспособленным. Существовали писатели, которые, будучи безнадежно отрешены и от Гутенберга, и от иных форм контакта с каким бы то ни было читателем, писали в таких формах и с такой интонацией, словно имели в виду миллионную аудиторию (Даниил Андреев, скажем). Но сочинения Николаева, во всяком случае сохранившиеся, — именно *маргиналии*, беглые наброски на полях жизни и других (реально существующих и подразумеваемых) текстов. Это, собственно, не противоречит утверждению Морева, что стихи Николаева «давно стали для *немногих* русской поэтической классикой». Дело в том, что для этих немногих (очень и очень немногих — речь идет, в сущности, о нескольких петербургских и московских литераторах и филологах 80 — 90-х годов, связанных с журналом «Равноденствие» и отчасти с «Митиным журналом») пафосность, большой стиль и т. д. изначально были под подозрением; их могла привлечь в стихах Николаева именно их «странность» и непритязательная полемичность по отношению к мейнстриму.

При чтении стихов Николаева сразу же сталкиваешься с тем редким сочетанием стыдливой лаконичности и высокого лирического бесстыдства, которое иногда даруется именно таким людям — ощущающим свою позицию в искусстве как «боковую» и не претендующим на большее. Причем объект умолчания и объект речи в каждом случае связаны причудливо и не без иронии. С одной стороны, темой стихотворения может быть метафизически осмысленный процесс поедания огурца; или — «*колю я на балконе сахар, / вспоминаю Кольку и уста*» (гомоэротическая тема как одно из проявлений сознательной маргинальности намеком, пунктиром задана еще в нескольких стихотворениях). С другой — в лучших текстах Николаева речь, уходя в изящные тавтологии, оскользает решительно все в мире, чтобы (опять-таки на мгновение, намеком) коснуться самого главного:

Я живу близ большущей речиси,  
 где встречается много воды,  
 много, да, и я мог бы быть чище,  
 если б я не был я и не ты.  
 О, играй мне про рай — на гитаре,  
 иль на ангелах, или на мне —  
 понимаешь? ну вот и так дале,  
 как тот отблеск в далеком окне.

Вот еще один пример:

Не в комнате, а в Нем одном  
 (свет запредельный за окном)  
 сижу и словно каюсь.

Такой-то час, такой-то день —  
 в число любое миг одень,  
 к которому я прикасаюсь.

Эти стихи поразительно напоминают одну индивидуальную поэтику, которая сложилась в Ленинграде в последние годы жизни Николева и которой также, к сожалению, не довелось вполне осуществить себя. Я имею в виду Леонида Аронзона. Но Аронзон — в этом можно быть почти уверенным — Николева не знал и не читал.

Вообще вопрос о литературных связях и параллелях в случае Николева (еще один парадокс...) и прост, и сложен. Прост — потому что очевидны его учителя и близкие ему, но «старшие» (по масштабам или — скорее — по степени осуществленности дара) собратья — Кузмин и Вагинов; очевидны и другие современники, чье самоощущение и практика были близки самоощущению и практике Николева, хотя узнать тексты друг друга им не довелось: скажем, москвич Георгий Оболдуев или парижанин Юрий Одарченко. Сложен — потому что именно в силу маргинальной раскованности Николева в его стихах вдруг намеками прорываются голоса многих (для него еще не существовавших!) авторов второй половины века. Случай с Аронзоном просто самый очевидный и бросающийся в глаза.

Свой роман Николев определил как «советскую пастораль». Идиллический тон некоторых его произведений удивляет на фоне эпохи и судьбы автора. Конечно, тон этот оправдан подчеркнутой кукольностью, игривостью поэтического антуража Николева, восходящей к Кузмину («*Мои шуты, сержанты, дуры...*»). Но и куклы могли бы выглядеть угрюмее, учитывая место, время и обстоятельства их создания. Достаточно сказать, что первое из процитированных стихотворений датируется 1933 — 1936 годами (томская ссылка), а второе — 1942-й (оккупированный Новгород или плен в — отмеченный Моревым каламбур судьбы! — Нойштадте, *Новгороде*, под Гамбургом). Стихи 1946 — 1956-х (годы, проведенные в сталинском лагере) так же идиличны и (используя образ самого Николева) благостно-беспредметны:

Я не знаю, что с луною, —  
 ей ли, старой, быть иною?  
 Что это вдали маячит,  
 обращенное спиною?  
 Не спиною, а спиной,  
 это ничего не значит,  
 просто призрак неземной.

И еще о луне:

Вечер нисходит  
 прозрачен и юн,  
 отзвуки вроде  
 неизведанных струн.  
 Лениво всплывает  
 луна, бледна,  
 все, что не бывает,  
 сулит она...

Между тем с поэтом произошли события, которые достойны того, чтобы быть описанными. Слово Мореву: «25 сентября Егунов (живший полтора года после освобождения в Германии. — В. Ш.) нелегально перешел в американскую зону оккупации... По ту сторону он смог получить от судьбы четыре свободных дня — 29-го в Касселе американцы задерживают его и после недельных разбирательств... выдают советскому командованию»<sup>1</sup>.

Но поэт Андрей Николев видел свою функцию не в том, чтобы свидетельствовать о подлостях и ужасах эпохи и даже — о душе человека под властью этих ужасов. Если он и задумывался над сутью своей работы, то скорее всего она заключалась для него в том, чтобы пронести сквозь эти годы (цитируя упомянутого в нашей рецензии поэта) «память о рае». Или — теперь уж словами самого Николева:

«Эриди́се, Эриди́се!»  
Я фальшивлю, не сердися:  
слух остался в преисподней,  
мне не по себе сегодня —  
всюду в каше люди, груди,  
залпы тысячи орудий.  
Неужель это не будет,  
чтобы мир, не вовсе дикий,  
вспоминал об Евридике?

Валерий ШУБИНСКИЙ.

С.-Петербург.

\*

## ВИДЕНИЯ, ЧТО БРОДЯТ НА СКРЕЩЕНЬЯХ ТРОП, ПРОТОПТАННЫХ БАШМАКАМИ РАЗНЫХ ЭПОХ

Григорий Кружков. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 704 стр.

**Г**ригорий Кружков известен в первую очередь как переводчик поэзии — англоязычной, но не только. Перевел он много из самых разных эпох: от средневековых английских и ирландских поэтов-монахов до современного лауреата Нобелевской премии по литературе Шеймаса Хини — тоже, кстати, ирландца — и современного же американца Марка Стрэнда.

Но есть еще два дела, в которых Кружков интересен и хорош. Во-первых, Кружков — оригинальный поэт. И взрослый (маленькими тиражами, но книги все-таки выходили), и детский — детские его стихотворения, может быть, даже более известны, на одно написал песню знаменитый музыкальный авангардист Федор Чистяков. Во-вторых, в 90-е годы в журналах регулярно публиковались статьи и эссе Кружкова о литературе. Теперь собраны в книгу, и выясняется, что Кружков — еще и автор со своим взглядом на самые разные культурные сюжеты. Хотя, кажется, еще больше, чем стихи, Кружкову интересны люди, которые их пишут.

Перевод, по Кружкову, оказывается частным случаем притяжения между людьми: «Какова причина (raison d'être) переводов? — Та же, что и в любви: влечение к прекрасному. Это бессознательное чувство, проявление универсального Эроса, правящего миром... Перевод есть акт любви».

Но понятно, что любовь эта — на расстоянии. Эрос можно понимать как пространство человеческих отношений, выходящих за пределы языков и эпох. Это пространство сложно устроено, невидимо и доступно для восприятия только путем особых усилий.

<sup>1</sup> Раньше считалось, что Егунов, наоборот, оказался после освобождения в американской зоне и по своей воле перешел в советскую. Эта версия использовалась им при хлопотах о реабилитации, и она повторялась во многих публикациях, вплоть до недавно вышедшего переиздания знаменитой монографии Егунова «Гомер в русских переводах XVIII — XIX веков». В настоящее время ее можно считать документально опровергнутой.

Той же причиной, Эросом (здесь легко видеть полушутливую-полусерьезную отсылку к «Пиру» Платона), толкающим и гонящим в путешествие, объясняется и название книги: это из стихотворения Теофиля Готье, которое Кружков перевел в 1970 году. «Сюжет его связан с египетским обелиском, перевезенным во Францию и установленным на площади Согласия в 1835 г. Другой обелиск... остался на берегу Нила, в Луксоре. В стихотворении Готье луксорский обелиск скучает по брату и мечтает перенестись в Париж, а парижский — наоборот, жаждет вернуться на родину... Вроде „Сосны и пальмы” Лермонтова; только там речь идет о любви или о дружбе, а здесь — тоска по далекому в чистом виде. Ведь и перевод тоже — тоска по далекому... Перевод по-прежнему — путешествие и приключение».

Здесь неявно говорится и о переводческих принципах Кружкова, хотя прямо в книге нигде об этом не сказано: насколько можно судить, для Кружкова очень важным является создание соответствующего по энергии русского ответа на английское стихотворение. Поэтому переводам Кружкова могут быть свойственны — при соблюдении общих пропорций и всего рисунка — некоторые смысловые вольности, рассчитанные на то, чтобы перевод производил столь же сильное энергетическое воздействие, как и оригинал, вызывая столь же глубокие ассоциации — но еще и давал бы ощущение все-таки чужого текста, основанного на ином опыте.

Подобное отношение к переводу «срабатывает» в случае непереводаемой поэзии. Для Кружкова, который чрезвычайно интересуется синтезом сказки, романтики и абсурда (этим интересовался и Йейтс, и это же — важный сюжет «Ностальгии обелисков»), примером таких непереводаемых текстов стала английская «поэзия нонсенса». Кружков много ее переводил, а в 2000 году издал целую «Книгу NONсенса»<sup>1</sup>, где есть и Эдвард Лир, и Льюис Кэрролл, и Хилэр Беллок — отличный английский поэт, друг Честертона, ныне в основном известный детскими стихами, и современный детский поэт Спайк Миллиган, не переведенный, а уже откровенно пересказанный (предисловие к этому разделу так и называется — «Хочется помиллиганить»), — привет Набокову с его русифицированным переводом «Алисы»!

В пустыне, чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной,  
Лев, проходя на водопой,  
Съел по ошибке почтальона.

(Спайк Миллиган, «Ошибка»<sup>2</sup>)

В «Ностальгии обелисков» напечатаны избранные переводы Кружкова и несколько его оригинальных стихотворений. Однако основные сюжеты сборника — а у него есть своя довольно изошренная, но в то же время связанная композиция — относятся к более сложным вариантам «тоски по далекому», чем просто перевод. Кроме того, из книги выясняется, что «тоска по далекому» может существовать и внутри одной культуры. Стихи же поддерживают лейтмотивы, задаваемые эссеистикой, и создают опоры, сгустки смыслов среди течения статей-сюжетов.

Жанр этой книги отчасти уже опробован в довольно давней эссеистической работе замечательного филолога Самария Великовского «В скрещении лучей», где центральной фигурой является Поль Элюар. Элюара Великовский сравнивал с самыми разнообразными французскими поэтами второй половины XIX — начала XX века и показывал, чем он на них похож и чем отличается. Результат двойной: в декадентах и символистах прорастали, становились заметны совершенно неожиданные предвестия будущего (олицетворенного в советски признанном Элюаре<sup>3</sup> — поэте, впрочем, сложном и необычном) и укорененность Элюара в традиции — от романтизма до символизма.

<sup>1</sup> Кружков Г. Книга NONсенса. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2000.

<sup>2</sup> Здесь и далее все переводы с английского — Г. Кружкова.

<sup>3</sup> Конечно, у Великовского была и политическая задача: «в связке» с поддерживающим коммунистов Элюаром проходили авторы, о которых в советской печати трудно было написать отдельно и тем более положительно.

У Кружкова таких центральных фигур две — Пушкин и Йейтс. Пушкин — «в скрещении лучей» английских поэтов и Йейтс — «в скрещении лучей» русских<sup>4</sup>.

В первом разделе книги — «„Английская деревенька” Пушкина» — сразу проявляется особый дар Кружкова: зоркость и неожиданность частных сопоставлений. Сюжеты работы: как Пушкин эволюционировал от ранних стихов к поздним и на каких английских поэтов он при этом похож в разное время. Сначала — как он вообще заинтересовался английской поэзией (тему «Байрон и Пушкин» Кружков затрагивает мельком — все-таки в русской филологии она изучалась много раз), когда Пушкин решил, что английский романтизм ему интереснее французского, как соотносятся «маленькие трагедии» с Шекспиром и с более поздними авторами, почему Пушкин считал значительным своим созданием драматическую поэму «Анджело», которую и современники не очень поняли, и в наше время редко перечитывают. Одна из главных идей заключается в том, что Пушкин в 1830-е годы сближался — не прикладывая для этого специальных усилий — с поэтами «Озерной школы», такими, как Кольридж и Саути (напомним, что в 1830 году Пушкин сделал перевод из Саути под названием «Мёдок в Уаллах»; правильнее было бы «в Уэльсе», но «Уаллы», как замечает Кружков, тоже хороши, потому что звучат архаично), а по другим признакам — с парадоксальным и страшным Браунингом. Попутно Браунинг с его вниманием к бессознательным страстям сравнивается с Достоевским, что выводит исследование за пределы только пушкинской эпохи, во-первых, и создает — редкий случай! — небанальную возможность проследить через Браунинга не замеченные ранее связи Пушкина с Достоевским, во-вторых.

Еще больше, чем просто влияния, Кружкова интересуют встречи поверх истории, общение, полемика (например, Пушкина с Шекспиром), а важнейшая его идея — то, что он называет «синхронизмами». Это когда поэты в разных странах примерно одновременно, но независимо друг от друга решают сходные художественные проблемы. Так построены главы «Пушкин и Китс» и «Пушкин и Браунинг». Китса Пушкин почти наверняка не читал (Кружков даже выдвигает остроумную гипотезу, почему именно<sup>5</sup>), но у них есть несомненные переклички. «Мы ненавидим поэзию, которая имеет относительно нас очевидные намерения, а если мы не согласны, угрожающе засовывает руки в карманы. Поэзия должна быть великой и ненавязчивой» (Китс). Плюс особый эллинизм, плюс любовь к Шекспиру... В жизни они не встретились ни лично, ни текстами, но сосуществуют в особом меняющемся и живом пространстве. «У удивительных совпадений зачастую есть рациональные причины — логические цепочки и звенья, которые можно восстановить. Тогда мы услышим уже не одинокие голоса, а их перекличку. Поэты как бы взаимно комментируют, дополняют друг друга». И рядом — цитата из Мандельштама о дальнем значении этой переклички: «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». Таким, по Кружкову, и является сообщничество (сообщество) поэтов, «*communio poetarum* — вещь хотя отчасти и мистическая, но вполне реальная». Еще больше, чем к пушкинской эпохе, оно относится к серебряному веку, когда одновременно действовали «даже не одна, а несколько плеяд выдающихся поэтов (в каждом поколении — своя)».

Второй раздел — «*Communio poetarum*: Йейтс и русский неоромантизм» — фактически целая книга. Написана она на основе диссертации, которую Кружков защитил в Америке несколько лет назад, но свободна и неакадемична. Здесь понятие «*communio*» ощутимо более буквально, ведь авторы русского серебряного века были лично знакомы друг с другом: Вяч. Иванов, Н. Гумилев, О. Мандельштам,

<sup>4</sup> Хочется отметить еще одно «скрещение»: английская «метафизическая школа» и ее аналогии в русской поэзии XX века (Кружков в Г. Сложная речь (еще о метафизике). — «Арион», 2001, № 2). (Примеч. ред.)

<sup>5</sup> «Собрание стихов Китса (в книге четырех английских поэтов, которую Пушкин читал заведомо. — И. К.)... напечатанное в два столбца мельчайшим шрифтом „диамант”... началось с длинной поэмы „Эндимион”, стихи в которой идут одной сплошной колонной, без разбивки на строфы, и кончалось такими же сплошными колоннами ранних стихотворных посланий. Сонеты зрелого периода, „великие оды” Китса 1819 года, запрятаны где-то в середине, так что читатель, не очень хорошо знакомый с языком, без редакторских пояснений вряд ли и отыскал бы эти стихотворения».



А. Ахматова. У них находятся разнообразные переключки-«синхронизмы», которые «работают» на главный культурологический сюжет (о нем немного дальше), но и на сюжет книги «Ностальгия обелисков» в целом. Это — идея неоромантизма как самой важной, самой насыщенной поэтической позиции XX века (и — по Кружкову — последующих времен).

По этой глубинной мысли, возникающей в «Ностальгии обелисков» в разных контекстах, во второй половине XIX века романтическая позиция была возрождена, но в других видах — абсурдизма и гротеска Эдварда Лира, исторических и оккультных метафор Йейтса, которые постепенно превратились в символический язык в виде русского символизма... Поэзию, подобную поэзии Йейтса или символистов, иногда называют модернистской — «но этот термин подчеркивает лишь идею обновления, модернизации поэзии, оставляя в стороне историческую причину этого обновления». А причина — восстановление на новых уровнях романтической позиции поэта — творца и жертвы. «*Определяющая черта романтизма — его приверженность высшему принципу, представителем и выразителем которого является поэт*» (курсив автора).

Кружков — романтик и консерватор: консерватизм его — не политический, а культурный и имеет отчетливо романтическое происхождение. Романтики XIX века при всем своем литературном новаторстве культивировали образ «последнего поэта» (Баратынский) в наступающем железном веке меркантилизма и корысти. Однако концепция Кружкова содержит принципиальную оговорку, из-за которой она уже не совсем консервативная: «Две эпохи (Пушкина и Йейтса. — И. К.), разделенные почти целым столетием, подчиняются общим законам: первый этап романтического возрождения есть мятеж поэта против общества, последний этап — принятие своей земной участи, тайное мужество»<sup>6</sup>, которое равно сказывается в пушкинском «Вновь я посетил...» — и в переходе от символизма и акмеизму.

Акмеизм, по мысли Кружкова — и это уже собственно культурологический сюжет книги, — был не отменой, а продолжением, «автокоррекцией» символизма: «В поэтике произошло... укоренение высшего и непознаваемого принципа в повседневности, в милых вещах мира, в самом слове, бесконечно емком и неисчерпаемом». Эволюция Йейтса — который был самым значительным англоязычным поэтом своего поколения — шла параллельно: «от раннего символизма „Розы” и „Ветра в камышах” он перешел к более сложной манере, сочетавшей реализм и символизм, пафос и гротеск в духе, напоминающем иногда Мандельштама или даже обэриутов». Особое значение «синхронизмам» Йейтса и русских поэтов придают «рифмы» между историческими событиями: на конец 1910-х — начало 1920-х годов в Ирландии, как и в России, приходится революционные события (провозглашение независимости) и гражданская война<sup>7</sup>.

После того как Кружков убеждает читателя в возможности найти разнообразные параллели между Йейтсом и русским серебряным веком, при чтении начинают появляться переключки и не отмеченные Кружковым — в самом деле времена-ми почти мистические:

Все шире — круг за кругом — ходит сокол,  
Не слыша, как его сокольник кличет;  
Все рушится, основа расшаталась,  
Мир захлестнули волны беззаконья;  
Кровавый ширится прилив и топит  
Стыдливости священные обряды...

(Йейтс, «Второе пришествие»)

Черта за кругом плавный круг,  
Над сонным лугом коршун кружит  
И смотрит на пустынный луг. —

<sup>6</sup> Заметим попутно, что применительно к непишущим людям такой процесс называют обычно взрослением.

<sup>7</sup> Вообще-то материала о сопоставлении Йейтса с русскими поэтами в других статьях у Кружкова еще больше (в «Арионе», например, была статья, где тексты о гражданской войне в Ирландии сравнивались с циклом Максимилиана Волошина «Усобица»).

В избушке мать над сыном тужит:  
«На хлеба, на, на грудь, соси,  
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,  
Встает мятеж, горят деревни...

(Александр Блок, «Коршун», 1916)

В приложениях к «*Communio poetarum*» описано несколько историй любви, которые стоят за литературными перекличками: например, напряженная, даже при своей шутовщине, переписка в стихах между юной Ларисой Рейснер и взрослым Николаем Гумилевым, случившаяся незадолго до 1917-го (сложные отношения этих людей Кружков описывает с вызывающей уважение деликатностью), сделанная в Лондоне мозаика художника-эмигранта Бориса Анрепа, на которой возникает лицо Анны Ахматовой, а композиция соответствует акростиху Гумилева «Ангел лег у края небосклона...», где зашифровано имя Ахматовой. Это такая «тоска по далекому», в которой «человеческое» и «литературное» переплетены неразлучно. И тут же — иная «тоска по далекому», увиденный Кружковым «синхронизм»: психологический тип подвижницы революции Ларисы Рейснер сопоставляется с ирландской революционеркой Мод Гонн, в которую много лет был безнадежно влюблен Йейтс.

Основу книги, сосредоточенную вокруг Пушкина и Йейтса, дополняют статьи на иные темы. В разделе «Миф и символ» анализируются мифологические, сказочные и архетипические сюжеты у писателей, «традиционно помещаемых вне символистского круга», — сюжет волшебной сказки в «Трех сестрах» Чехова, травестия и восстановление мифологемы жертвоприношения в «Улиссе» Джойса, статьи о символизме в поэзии американского поэта Уоллеса Стивенса и Шеймаса Хини. При том, что в каждой из этих глав есть настоящие открытия, методологически эти исследования относительно традиционны и могут быть сопоставлены, например, с академическими студиями Елеазара Мелетинского и Владимира Топорова (на которого Кружков несколько раз и ссылается<sup>8</sup>). Новое здесь — постоянный привкус межкультурного сравнения: сравнить «Три сестры» с волшебной сказкой — уже неожиданно, а использовать при этом как фон еще и Метерлинка — совсем интересно. Некоторый привкус необязательности погашается — как и в других случаях — подчеркнуто субъективным, эссеистическим письмом и точными частными наблюдениями, которые как бы мерцают в слегка фантазмагорическом, сказочно отуманенном контексте.

Следующий раздел — «Как бы резвясь и играя...» — о философии смешного. Здесь есть теория о происхождении смешного «В поисках Чеширского кота», объясняющая происхождение разных видов смеха — от интеллектуального до того, который от шекотки. Впрочем, частные наблюдения убедительнее и глубже, чем общая теория, которая выглядит излишне схематичной и лично мне кажется недостаточно обоснованной. А к «отдельным случаям» относится, например, исследование биографии Эдварда Лира: лимерики Лира знают почти все, а биография его в России известна мало. Но и здесь Кружков прежде всего показывает Лира как *позднего романтика* — сопоставимого, например, со Стивенсоном. Сравнивает баллады Лира — такие, как «Джангли», «Сватовство Йонги-Бонги-Боя», «Дядя Арли», — с поздним Йейтсом, с его любовью к мрачному юмору.

Раздел «Сеанс разоблачений» — полемический. Это очень качественная полемика с Ильей Гилиловым — тем самым, который считает, что за Шекспира все написали графиня и граф Рэтленды. Это спор с новейшими «ниспровержениями» Пастернака — не только с филологическими, но и с мемуарными «сплетнями в виде версий»: сплетням Кружков противопоставляет собственные и, на мой взгляд, достаточно корректные трактовки событий, связанных с Нобелевской премией и советской травлей конца 50-х.

<sup>8</sup> На принципиальную — одну из главных — статью «Об эктропическом пространстве поэзии».

Заключительные страницы книги автобиографичны: почти стихотворения в прозе, — но притом компаративистские, сопоставительные, содержащие встречи эпох и методов. Это эссе о путешествиях автора, географических и культурных, а рядом — фотографии, сделанные в путешествиях, и стихи, собственные и переводные, связанные с темами путешествий.

Стиль Кружкова-эссеиста часто построен на скрытых аллюзиях: например, название главы в «Английской деревеньке» «О сундуке, прибывшем вместе с Пушкиным в Болдино, и что было внутри» вызывает в памяти Жуковского: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Есть и более сложные аллюзии: глава «Загадка „Замиу“» (в «Communio poetarum») тщательно стилизована под эссе Ираклия Андроникова «Загадка Н. Ф. И.».

И здесь дело не столько в особом почтении именно к Андронинову, сколько в артистизме Кружкова, его мастерстве перевоплощения (оно и переводчику нужно) — вот, я искал по крупицам упоминание о неизвестной женщине (знакомой Гумилева Надежде Залшупиной), как Андроников, — так давайте я и рассказывать буду, как он: обстоятельно, с детективной интригой, со всякими отступлениями... В целом тон повествования колеблется от наукообразного до подчеркнуто ироничного, наподобие персонажа одного из эссе — лукоморского кота, который ходит по цепи то направо, то налево; Кружков даже специально оговаривает это в предисловии. Но подлинная точность достигается не в игровых стилях, а поверх них.

И под занавес — еще одна параллель (первое стихотворение есть в книге Кружкова):

Там он умер, дядя Арли,  
С голубым сачком из марли,  
Где обрыв над бездной крут:  
Там его и закопали  
И на камне написали,  
Что ему ботинки жали,  
Но теперь уже не жмут.

*(Эдвард Лир, «Дядя Арли»)*

Так и надо жить поэту.  
Я и сам спую по свету,  
Одиночества боюсь,  
В сотый раз за книгу эту  
В одиночестве берусь, —

*(Арсений Тарковский, «Поэт»)*

и дальше, до слов:

...Жизнь, должно быть, наболтала,  
Наплела судьба сама.

**Илья КУКУЛИН.**

\*

## ПОРТРЕТ НЕЗАГОВОРЩИКА НА ФОНЕ ЭПОХИ

Ефим Эткинд. Записки незаговорщика. Предисловие Н. О. Гучинской.  
Барселонская проза. Предисловие Э. Либс-Эткинд. Послесловие С. А. Лурье. СПб.,  
«Академический проект», 2001, 496 стр.

**К**огда его заставили уехать осенью 1974 года, он думал, что это навсегда. Точно так же думали и мы, студенты, аспиранты, участники его переводческого семинара... Мы-то хорошо понимали, кого потеряли в лице Ефима Григорьевича и сколь невозполнима эта потеря. Настроение было тягостное, подавленное. Но болезненнее всех, казалось, переживал свой отъезд сам Эткинд. Еще бы! Ведь совсем недавно он решительно призывал своих соотечественников, в особенности моло-

дых, — остаться. Эффект от написанного Эткингом «Воззвания к молодым евреям, уезжающим в Израиль» был оглушительным: он бросил поистине открытый вызов. То, что многим казалось спасением, выходом, последним шансом, он называл губительным шагом.

«Зачем вам чужая свобода? — писал Эткинд. — Что с того, что вы сможете на площади перед Капитолием провозглашать лозунги? Ведь вы и теперь можете выйти на Красную площадь и требовать свободы для Анджелы Дэвис. Оттого, что вы воспользуетесь чужими демократическими свободами, у вас дома не введут многопартийной системы и не вернут из ссылки Павла Литвинова».

Остановил ли этот призыв хоть одного отъезжающего? Сомневаюсь. Зато, несомненно, пополнил собой гэбэшное дело Эткинда, уже и без того достаточно пухлое. Ведь к 1974 году в нем скопилось немало улик. Прежде всего — защита тунейца Бродского на памятном процессе 1964 года; этот героический (по тем временам) поступок Эткинда привлек внимание к его фигуре, но тогда он отделался легким испугом. Следующий виток неприятностей — скандал в редакции «Библиотеки поэта» (1968). В предисловии к составленному им двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода» Эткинд высказал взрывоопасную мысль: дескать, крупные русские поэты (Заболоцкий, Пастернак и другие), лишенные в советское время возможности выразить себя в оригинальном творчестве, отдавали свой талант переводческой работе; отсюда — блестящая школа советского художественного перевода. Рассуждение, что и говорить, крамольное — не случайно партийные органы расценили его как отрицание свободы творчества в СССР и признали грубой политической ошибкой. Наконец, дела В. Марамзина и М. Хейфеца (1973) — прелюдия к вынужденному отъезду. Но основным побудительным мотивом к расправе послужило, по видимости, другое отягчающее обстоятельство: дружба с Солженицыным. В так называемой справке, вынесенной в 1974 году на обозрение «нашей общественности», говорилось: «В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с тем, что поддерживал постоянные контакты с Солженицыным и оказывал ему помощь в проведении враждебной деятельности». Таковы были обвинения, подлежащие огласке. А сколько поступило на Эткинда в те годы *агентурных* донесений — об этом мы, наверное, никогда и не узнаем! Да и могло ли быть иначе! Из Большого дома пристально наблюдали за той оживленной, неповторимо творческой атмосферой, что царила на лекциях и семинарах Эткинда в Педагогическом институте, носившем имя вольнолюбивого Герцена («Факультет кишел стукачами», — вспоминает Нина Гучинская, автор превосходного вступительного очерка к «Запискам незаговорщика»). Было наверняка известно и о том обожании, с которым относилась к Эткинду литературная молодежь — филологи, поэты, переводчики (для многих он был не просто любимым профессором, а кумиром). И о его встречах — *неофициальных контактах!* — с западными славистами и писателями, приезжавшими в нашу страну (например, Генрихом Бёллем). Нет, не было и не могло быть у наших доблестных органов ни малейшего сомнения в том, что этот человек — не наш, не советский.

И началось. Завертелась отлаженная проработочная машина: заседание большого ученого совета, обличительные выступления коллег, истерические выкрики: «Антисоветчик!», «Политический двурушник!», «Разлагал молодежь...», «Такому не место!». А потом — как водится: освободить от должности и ходатайствовать о лишении ученых степеней и званий. Результат голосования в таких случаях предreshен заранее: единогласно. То же самое на малом, факультетском совете. То же самое — в Союзе писателей. Осудить! Исключить! Единогласно.

Обо всем этом, как и о многом другом, Ефим Григорьевич рассказал, оказавшись на Западе, в документально-мемуарной книге «Записки незаговорщика». Появившись впервые в Лондоне (1977), эта книга мгновенно стала бестселлером. Ее переиздавали, переводили на другие языки (наибольший успех она имела в Германии, озаглавленная в переводе «Бескровная казнь»); по-русски же она читалась «вражьими голосами».

И вот наконец «Записки», тщательно подготовленные друзьями и близкими Эткинда, изданы в Петербурге, его родном городе, где и разворачивались описан-

ные события. Под одним переплетом с «Записками» поместилась и «Барселонская проза», новое мемуарное произведение Эткинда, состоящее из ряда очерков или новелл, которые он не спеша и с явным удовольствием писал на протяжении последних лет. Этим удивительным мемуарным зарисовкам не суждено было — из-за смерти Ефима Григорьевича в 1999 году — сложиться в самостоятельную книгу, поэтому все то, что было им написано в Барселоне (и других городах), оказалось «подверстанным» к «Запискам незаговорщика».

Интеллигенция на берегах Невы жила в те годы немного иначе, чем в неспокойной Москве, растревоженной хрущевской «оттепелью». В Ленинграде не было «Нового мира», своего Галича, своих диссидентов. Никто не выходил на Дворцовую площадь, протестуя против оккупации Чехословакии, — разве что на Сенатскую, да и то лишь в память о дворянских революционерах. Мы углублялись скорее в «эстетику». Протестующее гражданское чувство хотя и будоражило, но не вырывалось наружу. Политика была делом опасным, так что даже приближаться к ней — в среде ленинградских гуманитариев, ученых и писателей — не осмеливался никто. За исключением Эткинда.

Рискну сказать, что блеклая общественная панорама нашей тогдашней питерской жизни могла бы показаться сегодня — если оглянуться назад — совсем обесцвеченной, когда бы не оживлялась яркой фигурой Эткинда, неутомимого организатора, блестящего оратора, обаятельного собеседника. В течение долгих лет Эткинд вел в ленинградском Доме писателя устный альманах «Впервые на русском языке», превратив это невинное литературно-переводческое мероприятие в клуб или, если угодно, трибуну. Читались «впервые» (значит, еще не опубликованные, *не прошедшие цензуру*) произведения, и — рушился на глазах занавес, что называли железным. Конечно, до открытых выпадов и манифестаций дело не доходило — правила игры неукоснительно соблюдались ее участниками! Никто не обличал, не клеймил и не призывал. «Антисоветский» дух, овевавший собрания питерской интеллигенции, таился в стилистике. Высокое, подчас высочайшее качество текстов, звучавших со сцены, уровень исполнителей, изредка позволявших себе отдельные реплики-пояснения, реакция зала, от которого не могла укрыться ни одна даже очень запрятанная аллюзия, — как это разительно отличалось от привычного советского стиля! В этом не было, впрочем, ничего «возмутительного», и многое, что мы слышали на тех вечерах, появлялось рано или поздно в печати. Но почти каждый раз, читая глазами то, что уже слышали раньше, мы только диву давались: звучит-то ведь совсем по-другому! Тонкий знаток законов стилистики, Ефим Григорьевич, как никто другой, сумел уловить важнейший оттенок: текст, не оскверненный вмешательством цензуры, посвященная литературная аудитория, способная понимать с полуслова, — такая ситуация в советских условиях уникальна; ее можно оживить, обострить. Присутствовал и другой элемент: внутреннее единство исполнителей и слушателей. «Публика была талантливая, жадная до поэтических открытий», — вспоминает Эткинд. Верно, если добавить, что и сидевшие в зале, и выступавшие на сцене составляли одну и ту же «публику»: то был не театр, а собрание единомышленников, созданное усилиями и талантом «незаговорщика».

Эффект «Альманаха» превзошел ожидания его организаторов; почти каждый переводческий вечер в ленинградском Доме писателя превращался в общественное событие. Сейчас понятно, что эти-то вечера и восполняли в ограниченной мере отсутствие у нас «Нового мира» и московской общественной среды. Но тогда это воспринималось иначе, проще. «Эткиндовский альманах», — говорили мы. Или: «Сегодня идем на Эткинда».

На одном из таких вечеров (кажется, в 1963 году) Эткинд дал слово Бродскому; молодой поэт, еще не слишком известный даже питерской публике, прочитал в своем переводе несколько стихотворений польского поэта Галчинского. Хорошо помню сильнейшее впечатление, которое Бродский произвел на слушателей. Запомнился тот вечер и Ефиму Григорьевичу:

«Выступление Бродского перед набитым залом не походило ни на какие другие: его словесно-музыкальный фанатизм действовал магнетически... и зал тоже сидел замороженный, хотя поначалу невнятные нагромождения картавых „р“ могли даже показаться смешными».

«Альманах» прекратился с отъездом Эткинда и более не возобновлялся. Группа ленинградских переводчиков, во всяком случае старшего поколения, представляла собой в то время плеяду выдающихся профессионалов. Не знаю, как много было среди них несостоявшихся оригинальных поэтов — наверное, были! Но не было среди них никого, кто обладал бы кипучей энергией, неугомонным нравом и, можно сказать, азартом Ефима Эткинда.

Филологическая традиция Петербурга, восходящая к академику А. Н. Веселовскому и продолженная в советское время прежде всего трудами В. М. Жирмунского, — едва ли не самое замечательное, что сложилось в русской гуманитарной науке за последние сто с лишним лет. (Не потому ли она и подверглась разгрому в 1948 — 1949 годах — ведь громили все лучшее!) Ефим Эткинд принадлежал к этой школе. Ученик В. М. Жирмунского, глубоко вобравший в себя романскую и германскую культуры (коим в стенах Петербургского университета традиционно отдавалось предпочтение перед английской), Эткинд усвоил тот всемирный, «космополитический» дух культуры, который, обладая широтой охвата, находит общность между отдельными, казалось бы, очень далекими явлениями и не позволяет выпячивать «свое» вопреки «чужому». Национальная культура мыслится как часть мировой.

Ученый-филолог обязан быть историком. Школа Петербургского университета учила конкретно-историческому подходу, и не случайно Эткинд-мемуарист постоянно размышляет о прошлом: не только о собственном — о нашем общем. Автобиографический и мемуарный жанр неизбежно содержат в себе элемент историзма. Рассказывая о себе или других людях, Эткинд каждый раз говорит об историческом времени, на фоне которого ярче высвечивается отдельная жизнь. Так строится почти каждый из очерков, составляющих «Барселонскую прозу», — мемуарист неотделим в этой книге от историка. В своем предисловии к «Барселонской прозе» Эльке Либс, вдова Эткинда, вспоминает о Геродоте: лишь рассказывая *историю*, можно объяснить *Историю*.

В отличие от «Записок», Эткинд пишет в «Барселонской прозе» главным образом о своих современниках — друзьях, а порой и недругах, повествует о судьбе поколения, о котором принято было говорить: «Ровесники Октября». Чередой проходят замечательно вылепленные фигуры — например, Давид Прицкер, историк, или Игорь Дьяконов, всемирно известный ученый-востоковед. Герои Эткинда не всегда привлекательны. История — это драма, столкновение противоборствующих сил, и Эткинд пытается воссоздать «и тех, и других», и жертв режима, и их гонителей. Вот германист А. И. Домашнев, декан факультета иностранных языков, громче других обличавший Эткинда во время проработочного заседания; вот широко известный Александр Дымшиц, так много сделавший для культуры Германии в первые послевоенные годы и ставший позднее, в брежневскую эпоху, одиозной фигурой, жупелом для либеральной интеллигенции; вот «конкистадор» Юрий Корнеев, талантливый переводчик западноевропейской поэзии, одновременно — партсекретарь писательской организации и преподаватель в спецшколе КГБ. О некоторых из них Эткинд пишет подробно, о некоторых упоминает вскользь, но из этого столкновения светлых и темных пятен слагается атмосфера той жизни, в которой долгие годы жил автор и которая до боли памятна нам, советским...

Не будет преувеличением назвать эту атмосферу удушливой. Однако в действительности все сложнее, и Ефим Эткинд, обладавший ясным умом и тонким юмором, умеет видеть и другую сторону той, казалось бы, беспроектной жизни. Люди, помещенные внутрь кошмара, не всегда создавали, где они находятся; радовались, шутили, рассказывали анекдоты. Мистификация с маркизом де Лапюнезом — один из ярких примеров. «Да, стоял 1937 год, а мы, не отдавая себе отчета в происходившем, мы — хохотали». Люди принимали облик эпохи, впитывали в себя ее страшные противоречия, насыщались ее ядами. И одновременно — выра-

батывали в себе противоядие. Несчастные или уродливые в одном, они в другом возвышались порой до истинного благородства. Следователь из СМЕРШа, спасший московского критика Федора Левина, — тому, кто не испытал на себе безграничные возможности Абсурда, эта история может показаться слащавой; но она правдива. Подвиги совершаются в экстремальных условиях. Нет вымысла и в новелле, посвященной Татьяне Гнедич, которая, находясь в заключении, по памяти перевела байроновского «Дон Жуана». (Хорошо помню первое чтение этой поэмы в ленинградском Доме писателя в 1957 году: Татьяна Григорьевна читала и плакала, и вместе с ней плакала половина зала.) Новелла называется «Победа духа».

Эткинда интересует психология современников, в чьих душах соединялось подчас несоединимое: пребывание в партии и ненависть к ней; трусость и гражданское мужество; рабство и героизм. Такими противоречивыми чертами отмечены, например, портреты именитых писателей, с которыми автора свела жизнь, — Павла Антокольского и Михаила Дудина... Или, скажем, ректора Тульского пединститута А. М. Богданова, в труднейшие годы принимавшего на работу евреев, или А. Д. Боборыкина, ректора ленинградского Педагогического института, который, насколько мог, пытался смягчить карательные акции против «антисоветчиков». Нельзя не упомянуть и о Солженицыне, которому Эткинд уделяет на страницах «Барселонской прозы», кажется, наибольшее внимание (новеллы «Другой» — глава «Русский писатель и два еврея», «Обошлось»). Его отношение к Солженицыну — двойственное. С нескрываемым восхищением пишет он и в 90-е годы о волевых качествах знаменитого писателя; но с горечью — об эволюции его взглядов. «Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке». Взгляд на Солженицына был и остается важным критерием в России; им поверяется человек и его гражданская позиция. В 60-е годы Эткинда и Солженицына многое сближало; оба были противниками системы, ее критиками, диссидентами. Но уже тогда между ними пролегла граница: подобно многим советским интеллигентам, Эткинд был и вправду всего лишь «незаговорщиком», тогда как Солженицын — борцом. Оставляя в стороне этот непростой вопрос, отметим: идейное расхождение Солженицына и Эткинда отражает в известной степени два противоположных пути, которыми искони двигалась наша общественная мысль: «национальный» и «космополитический».

Космополитизм. Извлеченное из благопристойного европейского лексикона, это слово наполнилось у нас в конце 40-х годов особым, зловещим смыслом: стало ругательным, звучащим, случалось, как строка приговора. Космополитами называли тех, кто якобы пресмыкается перед буржуазным Западом, восхищается его мнимыми достижениями, недооценивая наше национальное наследие, великие завоевания русского ума... Но все это было лишь прикрытием: понятие «космополит» (часто с эпитетом «безродный») стало синонимом слова «еврей». Борьба с «космополитизмом» обернулась в СССР разгромом отечественной интеллигенции и нанесла непоправимый урон нашей науке и культуре, не говоря уже о морали.

События той поры не могли не коснуться Эткинда. До конца своих дней запомнил он показательно проработочные заседания в Ленинградском университете, где громили, шельмовали, изничтожали всемирно известных профессоров-филологов, его недавних учителей: Гуковского, Жирмунского, Эйхенбаума и других (арестованный летом 1949 года Гуковский в скором времени умер под следствием в Лефортовской тюрьме). Эткинд, в то время — преподаватель ленинградского Института иностранных языков, был уволен «за ошибки космополитического характера» и лишь с трудом устроился — да и то потому, что ректором был Богданов, — в Тульском педагогическом институте.

О чем и о ком ни писал бы Эткинд, он снова и снова возвращается памятью к тем временам, пытается осмыслить: что же произошло? Как случилось, что в стране победившего Интернационала дело дошло до этнических чисток? Как и почему, разгромив фашизм на фронтах войны, мы понесли тяжчайшее поражение в области идеологии — восприняли расовую доктрину нацизма: антисемитизм? Его рас-

суждения по этому поводу часто перекликаются с мыслями его любимого автора Василия Гроссмана, автора книги «Жизнь и судьба» — главного, по слову Эткин-да, русского романа о Второй мировой войне. Современный историк не должен пройти мимо этих важных свидетельств.

«Все началось, — пишет Эткинд, — не с расизма, а с кризиса социалистической идеологии, которую пришлось поспешно... заменить патриотизмом, до тех пор повсеместно и высокомерно отвергавшимся советскими идеологами. Подчеркнуто *русский* патриотизм, который был призван достойно противостоять германскому национализму, привел к отчуждению евреев. Евреи стали *другими*, их отодвинули в сторону, в тень».

Нужно ли объяснять, что все это значит — видеть себя другим, отодвинутым в тень. Русскому еврею (и конечно же более *русскому*, чем *еврею*), насквозь пропитанному русской культурой, Эткинду, как и многим, было стыдно и больно сознавать себя второсортным, лишним. Не случайно события сталинской (да и позднейшей) поры стали для него глубокой незаживающей раной, беспощадной трагедией, неутраченной болью — конечно, не за себя одного.

«Меня изгоняли из науки и литературы трижды, — вспоминает Эткинд. — В 1949 году — как космополита; в 1964 году — как литератора, посмевшегося выступить свидетелем защиты в суде над поэтом Иосифом Бродским... в 1974 году — как состоявшего в близких отношениях с врагом режима А. Солженицыным, а также как автора открытого письма, призывавшего молодых евреев не уезжать, а бороться за свою свободу дома, в России».

Трижды изгоняли. И виной тому каждый раз была его принадлежность к еврейству; защита поэта-еврея; попытка вмешаться в судьбу евреев. Добавим, что именно как еврея его изгнали в 1974 году не только «из науки и литературы», но также — из родного отечества. Генерал Смирнов, принявший Эткин-да «в просторном кабинете», доходчиво объяснил ему, что уехать из СССР, подобно М. Ростроповичу, В. Максимову или В. Некрасову, у него не получится: «Для вас это невозможно». «Я понял, — пишет Эткинд, — те, кого я рассматривал как моих предшественников, принадлежат к „коренной национальности“, они русские; я же — еврей, и мне надлежит отправляться в Израиль, да поскорее». Он все правильно понял и выехал с семьей в Израиль. А что через несколько дней он оказался в Париже, так это уже мало интересовало советские органы. Ведь формально-то он уехал как еврей. Пусть помнит, что он — *другой!* И он всегда это помнил.

Бывший советский профессор, бывший доктор наук, лишенный всех степеней и званий, бывший член Союза советских писателей, Эткинд обретает на Западе подлинную и заслуженную известность. Он избирается профессором Десятого Парижского университета, членом всевозможных европейских обществ, академий, союзов — всего и не перечислишь! Лекции, студенты и аспиранты, общественные выступления, международные конференции — таков привычно лихорадочный ритм его новой жизни. Он защищает французскую диссертацию на степень доктора литературы и гуманитарных наук (1975). Один за другим появляются в печати его новые труды — количество их к середине 90-х годов достигает до цифры 500. Живя в Париже, он встречается и дружит с Александром Галичем, Виктором Некрасовым, Андреем Синявским, да и сам становится одной из влиятельных фигур среди русской эмиграции «третьей волны». Позднее, расставшись по возрасту с Парижским университетом, преподает в качестве «эмеритуса» в университетах Жене-вы, Лозанны, Кёльна, Иерусалима, Венеции, Вены, Барселоны, Хельсинки...

Жизнь, говоря словами Иосифа Бродского, «оказалась длинной».

Но из всех перечисленных выше стран ни одна не была так важна для Эткин-да (после России, конечно), как Германия. Соперничая с Францией, немецкий язык и немецкая культура занимают в его жизни наибольшее место. Университет, преподавание немецкого в вузе, работа военным переводчиком, переводы немецкой поэзии и прозы, коим в 50 — 60-е годы Эткинд отдал немало сил и времени, — все это формировало его духовную личность. Однако за увлеченным интере-



сом Эткинда к Германии видится не просто германист или историк литературы. Еще важнее, чем литература, была для него опять-таки история — германская история XX века, столь тесно слившаяся с российской. Германия, подобно России, была другой его болью.

В «Барселонской прозе» выделяется очерк, посвященный Виктору Клемпереру, известному немецкому филологу и культурологу, чьи дневники 1933 — 1945 годов, впервые изданные в 1995-м, стали своего рода событием. Клемперер прошел в Третей рейхе через все обязательные для еврея унижения, но чудом не попал в лагерь и выжил. Он тоже был подвергнут «бескровной казни», и дневник его чем-то напоминает «записки незаговорщика», пытающегося — в совершенно иных условиях — понять, что же произошло с его страной, поколением, с ним самим.

Естественно, что в судьбе Клемперера Эткинд увидел сходство с собственной (очерк так и назван — «Две еврейские судьбы»). Жизнь еврея в гитлеровской Германии и жизнь еврея в послевоенном Советском Союзе оказались похожими, созвучными, родственными. «Быть вместе с ним и рядом с ним, — пишет Эткинд о Клемперере, — мне было пугающе легко, потому что он, принадлежащий к другому поколению (на сорок лет старше), казался мне мною — только раньше во времени, западнее в пространстве. ... Вот почему я читал дневник Виктора Клемперера с особым чувством; ведь я как бы заново пережил собственную жизнь — советский коммунизм оказался для меня тем же, чем для Клемперера был немецкий нацизм».

Еврейская тема все более мучает Эткинда. Сопоставление германского фашизма и советского коммунизма, наметившееся уже в «Записках незаговорщика», становится сквозным мотивом «Барселонской прозы». Как очевидец он вновь и вновь подчеркивает схожесть того, что происходило в нацистской Германии и в Советском Союзе. «Коммунисты вслух говорили о преступности антисемитизма, но *делали* нечто подобное тому, что до них творили нацисты: готовили поголовное истребление российских евреев, свой вариант „окончательного решения“...» Впрочем, Эткинд не отождествляет полностью немецкий нацизм с советским коммунизмом, различая «массовый террористический антисемитизм в Германии и правительственно-партийный в России, поддерживаемый снизу, к счастью, не слишком активно». Но горькая мысль о трагедии, постигшей Россию после разгрома фашизма, не покидает его. Она до предела обостряется при посещении Эбензее, немецкого концлагеря в Австрии, который Эткинд, переводчик в разведотделе штаба 26-й армии Третьего Украинского фронта, освобождал в мае 1945 года. Эткинд вспоминает о возвышенных патриотических чувствах, что владели тогда освободителями, — он и сам, по его признанию, искренне гордился тем, что принадлежит к армии, избавляющей мир от нацистского мракобесия и террора. Кто мог бы в то время подумать, что советские узники Эбензее отправятся прямоком в советские лагеря. «А ведь случилось именно так: из Эбензее их перегнали на Колыму, из рабства в рабство».

Каков же итог долгой жизни одного человека и целого поколения? Чем обернулась великая победа, под знаком которой мы прожили более полувека? Где мы были и куда пришли? Ответим на эти вопросы отрывком из очерка «Эбензее»:

«Во что превратилось все то, что было предметом моей гордости и всеобщего нашего восхищения! Победа над гитлеризмом приняла гротескно-кошмарный характер. Чувство свободы удушила сначала ждановщина, в 1946 году, а потом все дальнейшее развитие советского деспотизма. Чувство международной солидарности погибло под напором звериных национализмов. Благородный порыв коммунистов уступил их союзу с нацистами. Антифашистское движение переродилось в самый откровенный фашизм. Таков итог, который приходится подвести в 1998 году, в самом конце XX столетия».

«Барселонская проза» — гражданское завещание Ефима Эткинда.

Перенесемся в демократическую Россию. 1989-й год. После долгого пятнадцатилетнего перерыва Эткинд получает возможность приехать в родной город. В Герценовском институте создается Комиссия, призванная пересмотреть решения 1974 года.

«Рассказывать об этом не могу, — пишет Эткинд в очерке „После казни”, — все равно не поверят». И ограничивается выдержками из документов и кратким перечислением событий.

Так что же было?

Изучив (можно вообразить, с какой неохотой!) «дело» Эткинда, Комиссия пришла к выводу, что в отношении «Ефима Гиршевича» имело место нарушение законности и прав человека («Квалификация действий была чрезмерной и была обусловлена режимом ограниченного демократизма того времени»). Посовещавшись, решили: рекомендовать ученому совету отменить решение 1974 года как «необоснованное».

Вопрос о помиловании Эткинда в ту пору — на ранней заре российского демократизма — решался по-прежнему, то есть тайно, тайным голосованием. Результат: тридцать шесть человек одобрили решение Комиссии; семеро были против; семеро воздержались.

Потом наступила техническая пауза, затянувшаяся... на пять лет. Через пять лет Эткинда пригласили на заседание Совета (уже не институтского — институт преобразился за это время в университет) — для торжественного вручения некогда аннулированных дипломов доктора наук и профессора. Эткинд приехал и принял участие в этой странной, ни в каком уставе не прописанной процедуре. Принял участие, думается, лишь с тем, чтобы посмотреть на лица коллег.

«Нет сомнений, что четырнадцать человек, которых я имел в виду, сидели передо мной в зале; но все они молчали — ведь голосование было тайным. Какая тоска! Прежде молчали наши сторонники, теперь молчат наши противники. Страна рабов».

Слово «рабство» повторяется в его книге не раз.

«Я с удивлением смотрю на вас сегодняшних, — говорил Эткинд, обращаясь тогда к совету, милостиво вернувшему профессору „корочки”, ему уже, кстати, совершенно не нужные, — на тех анонимных четырнадцать человек, которые согласны со своим прежним рабством».

В последние годы, встречаясь с Ефимом Григорьевичем (чаще — на Западе), мы не раз беседовали о нынешних российских делах. Он говорил о рабстве как тягчайшем наследии нашей истории. Вспоминал пророческие строки Максимилиана Волошина: «Вчерашний раб, усталый от свободы, — / Возропшет, требуя цепей». Мы обменивались впечатлениями, спорили. Мне хотелось знать мнение Эткинда, моего учителя, по насущным большим вопросам. Но Ефим Григорьевич не спешил с выводами. Я никогда не слышал от него запальчивых скороспелых фраз насчет «обнищания народа» или «разгона парламента». Он более вслушивался, нежели судил сам; наезжая в Петербург и Москву, внимательно вглядывался в происходящее. Историк, он, кажется, угадывал, в какую историю попала Россия. Он пытался уловить глубинное содержание перемен, и «Барселонская проза» отражает местами ход его мыслей. «Распался СССР, развалилась коммунистическая идеология, но формировавший сознание каждого советского человека религиозный принцип никуда не делся», — пишет, например, Эткинд в очерке, посвященном П. Антокольскому. Жаль, что ему не хватило времени развить эти мысли. А задно — подумать о том, что случилось в России за последние полтора года.

Да, похоже, что мы, сегодняшние, еще долго не выйдем из прежнего рабства — все так и будем вставать под советский гимн и требовать казни — смертной или гражданской, кровавой или бескровной. Давать отпор фашизму (теперь уже нынешнему, российскому), защищать узников совести, протестовать против чеченской войны — это и сегодня под силу лишь единицам. А ведь для этого не требуется готовить «заговор с целью свержения» — достаточно обладать культурой, гуманитарным сознанием, историческим взглядом. И еще одним естественным свойством, увы, столь редким в России, — чувством свободы и собственного достоинства.

Соединив все эти качества вместе, мы получим портрет незаговорщика.

**Константин АЗАДОВСКИЙ.**

## КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+8

Луи-Фердинанд Селин. Интервью с профессором У. Перевод с французского, примечания Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича. СПб., Общество друзей Л.-Ф. Селина, 2001, 102 стр.

Сколько ни читаю Селина, не могу отделаться от дурацкого ощущения — в моей голове его тексты будто озвучиваются голосом Жириновского. Не читается Селин глазами, и все тут. Никак. Будто кто неизвестный и тайный заставил лидера ЛДПР набормотать в микрофон все сочинения этого мизантропичного истерика, а потом способом, почерпнутым из «Секретных материалов», вживил эти записи в мое сознание. А жаль, писатель ведь первоклассный...

Если же серьезно (впрочем, и предыдущий абзац *абсолютно серьезен и правдив*), то у актерствующего постсоветского политика и у знаменитого маргинал-писателя есть какое-то пугающее сходство. Оно заключается в том, что оба нередко правы. Жириновский ведь часто, слишком часто говорит то, что знают и чувствуют все, но боятся признаться себе (и, конечно, другим). Жириновский — нечто вроде коллективного бессознательного, перехлестывающего через шлюзы внутренней цензуры, то есть культуры. Если верить психоанализу, это и есть подлинное.

Честно говоря, с Селином тоже почти всегда соглашаешься (если не трусишь). Взять хотя бы пассаж, вынесенный на обложку этой замечательной книги: «То же самое и прол, заметьте!.. но ему уже обычной фальшивки недостаточно!.. ему нужен ее суррогат!.. „подретушированное фуфло“!.. и что, вы думаете, у вас украдут сначала? на что набросятся ваши „чистильщики“? в первую очередь? при первом нападении? на ваш домашний очаг? да черт побери, на всякую гадость, на то, что вы сами постеснялись бы на себя надеть!.. а ваши хорошие вещи просто сожгут!» Ведь верно. Недавно у меня обокрали свояченицу. Унесли старый полудохлый монитор, приняв его, видимо, за ящик грез — телевизор. А только что купленный системный блок не взяли, но разбили чем-то тупым и железным.

Единственное, что надо иметь в виду: и Селин, и Жириновский (при всей гигантской разнице их дарований) работают только на одном довольно быстро достижимом уровне правды. Уже следующая ее ступень предыдущую хотя и не отменяет, но «снимает» — по-гегелевски. Для неэстетической практики (как в случае Жириновского) это обстоятельство гарантирует одноразовость употребления правды ее уровня. Для практики эстетической, для литературы, например, все зависит от таланта. Селин дьявольски талантлив. Именно потому его инвективы в адрес несправедливого и лживого мира пережили несчастного мизантропа.

Примером тому — эта книга. Pamфлет о продажной и фальшивой культуре. Трактат о мерзавцах издателях, жуликах писателях и идиотах читателях. Апология сумасшедшего гения. Фантасмагорический рассказ о бейнальном изнасиловании. Как угодно. Перевод книги энергичен и полнокровен. Отдельное спасибо Марусе Климовой и Вячеславу Кондратовичу за слово «фуфлогон».

Одна из мишеней хорошо организованной истерики Селина — знаменитый издатель Гастон Галлимар. Гастон такой и Гастон сякой... «...для Гастона, имеющего репутацию „акулы“, сожравшей уже не одного своего конкурента, проглотить всю эту мелюзгу не составляло большого труда! Гастон есть Гастон! о, о нем вы можете не беспокоиться!.. взгляните лучше на его автомобиль!.. роскошная машина, как бы специально созданная для акулы... с вот такими зубищами в виде радиатора!» Заглянем в выходные данные книги, в место ее первого издания на языке оригинала. «Editions Gallimard».

**Владимир Набоков. Русский период. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 5. Составитель Н. Артеменко-Толстой. Предисловие А. Долинина. Примечания Ю. Левинга, А. Долинина, М. Маликовой, О. Сконечной, А. Бабикова, Г. Глушанок. СПб., «Симпозиум», 2000, 832 стр.**

Кажется, еще совсем недавно сочинял рецензию на первый том симпозиумовского собрания сочинений Сирина. А вот уже — последний. Можно, приложив козырьком ладонь к глазам, обозреть законченный пейзаж русской прозы Набокова.

Пейзаж этот таков. Период с 1930 по 1937 год (от «Соглядатая» до «Дара») высится истинными Альпами, по ним упрямо карабкается Мартын Эдельвейс в тяжелых башмаках на резиновой подошве, пылит по горной дороге авто с Фердинандушкой и загадочным Сегюром, в шале в долине торопливо вбегают Герман с немецкой газетой под мышкой. Перед 1930-м — предгорья, обильно поросшие нежной зеленой травой, а вот после 1938-го...

Вниз, взгляд незаметно идет вниз, горы мельчают, превращаются в бутафорию, детали до сих пор малозаметные назойливо лезут в глаза, слишком красивые, слишком самостоятельные, чтобы подчиниться течению прозы. Тщательная отделанность спичечных коробков, фешенебельных магазинов готового платья, брелочков и гильотинок для обрезания сигар.

Писать стало не о чем. Писать стало подозрительно легко и просто. Вот тут-то и закончился Сирин: не на пароходе «Шамплен», увезшем Набоковых в Америку, а в последних предложениях никогда не законченных «Solus Rex» и «Ultima Thule». Кстати, эти названия будто сочинил уже не Сирин, а Vladimir Nabokov.

У Сирина же теперь есть ПСС. Как у людей. Скажем спасибо всем тем, кто вложил свою любовь и труд в это превосходное издание. И будем перечитывать сочинения писателя, в прошлом веке почти двадцать лет баловавшего русскую публику не заслуженными ею шедеврами.

**Алексей Крученых. Стихотворения, поэмы, романы, опера. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечание С. Р. Красовицкого. СПб., «Академический проект», 2001, 480 стр.**

Ну конечно: и футуристический иезуит, и графоман, и плюшкин русского авангарда и прочая, и прочая. И автор «дырбулщыл»'а. И все-таки.

Не «варвар», а истинно «литературный» русский поэт. Не колоритный исполнитель роли второго (пятого, десятого) плана, а влиятельнейший на современную русскую поэзию автор. Учитывая написанное и изданное — истинный работник отечественной словесности.

Хрестоматийное заклинание, воспетое Павлом Флоренским и ужаснувшее Ходасевича, тоже не прочитано. Оно является составной частью цикла, который открывается предуведомлением, спокойным и благородно-сдержанным:

3 стихотворения  
написанные на  
собственном языке  
от др. отличаются:  
слова его не имеют  
определенного значения.

Только в этом контексте стоит говорить о «дырбулщыл»'е. И так во всем, что касается Крученыха.

Он прожил трудную и достойную жизнь поэта и «деятеля культуры» (в прямом значении он «делал», а потом — «хранил» культуру). Это издание содержит в себе огромное количество чрезвычайно интересных текстов. Я читал книгу залпом — как детектив. По странному совпадению 11 сентября, в день американского Армагеддона, мне попались на глаза такие крученыховские строки:

В грязи на кухне мировой  
Валялось много городов и трупов,  
Парламентеры с веткой сиротой,  
Как школьники, ревели глупо.

**Александр Кондратов. Стихи тех лет. СПб., Издательство Буковского, 2001, 72 стр.**

Терпеть не могу формулу «поэт для поэтов», но издательская судьба сочинений Александра Кондратова такова, что сейчас с ними знакомы всего несколько поэтов, критиков, знатоков. А жаль.

Сэнди Конрад (таков был его псевдоним) был неутомимым сочинителем. Его перу принадлежит несколько романов, сборников рассказов, множество поэтических циклов и книг. В миру Александр Кондратов поражал немыслимой продуктивностью и разнообразием интересов: лингвист, спортсмен, сыщик-любитель, циркач, путешественник, автор более полусотни научно-популярных книг. Эпоха, породившая Кондратова-автора и Кондратова-человека, — «вегетарианский совок» в различных своих стадиях: от «оттепели», рядящейся в бритые черепа комсомольцев двадцатых, до маразматического, с тяжелым сладковатым запашком брежневизма. Ну и, конечно, пестрая агония совка: под андроповку за четыре семьдесят, под астматический свист полумертвого Черненко, под косноязычную горбачевскую трепотню. Новая, постсоветская эпоха была не для Кондратова; Сэнди Конрад ушел в свою буддическую Валгаллу в 1993-м.

Он был великий изобретатель и рационализатор литературы. Палиндромические поэмы, роман, устроенный по правилам бриджа, тематические циклы, написанные по очень жестким формальным правилам (вроде напечатанного в «Стихах тех лет» «Борщского флота»<sup>1</sup>), — все это можно обнаружить в его щедром на открытия ПСС, которое обязано, я повторяю — обязано, быть изданным. Кондратов был действительно одержим формой. Эта одержимость и есть истинная сюжетная коллизия его сочинений.

Побочным эффектом формальных экспериментов неутомимого Сэнди Конрада стала легко узнаваемая интонация — то, что делает настоящего писателя и поэта. Интонация его стихов — очень трогательная смесь простодушия с форсированной грубостью; звучат они сейчас несколько наивно, но наивность эта высшего свойства, чистая, не литературная. Это голос человека, а не симулякра. «Я хочу в сумасшедший дом / К молодежавым простым идиотам...»

«Стихи тех лет» — сборник, составленный самим Кондратовым и изданный его другом поэтом Владимиром Уфляндом в серии «СТИМККОН»<sup>2</sup>. Я надеюсь, что за ним последуют другие книги Сэнди Конрада — поэтические, детские, роман «Здравствуй, Ад!». Их появление нужно не только поэтам. Кондратов — «писатель для читателей».

<sup>1</sup> Где есть совершенно гениальное, на мой взгляд, произведение «Русский флот после определенного периода». Позволю себе привести отрывок:

Разгуляй-матросиков  
повязали тросики.  
Непослушных — враз к стенке, и  
Снова оплот  
Флот.  
Только красный —  
Прекрасный!  
Нет больше кракенов

Сынов собакиных  
Фриц Остен-Сакенов  
В рыжих бакенах.  
Рсв-волюция  
Сделала куцыми  
Барские морды.  
Гордо флаг не белеет —  
Алеет!  
Реет новеньким от прибоя —  
Новиковым-  
Прибоем.

<sup>2</sup> В этой серии уже напечатаны сочинения умерших авторов так называемой «Филологической школы» — Михаила Красильникова, Юрия Михайлова, Сергея Кулле.

**Борис Садовской. Стихотворения, рассказы в стихах, пьесы и монологи. Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания С. В. Шумихина. СПб., «Академический проект», 2001, 398 стр.**

Было бы лестно занять еще одного моего земляка-нижегородца в лимбе лучших русских поэтов, пусть даже в том его отделении, в котором помещены поэты хоть «малые», но тонкие и незаслуженно забытые. Кажется, все говорит, что Садовской — один из них. Принципиальный стилизатор, одержимый любовью к николаевской России (об этом он очень удачно, мимоходом: «Под николаевской шинелью / Как сердце бьется горячо!» Потому и удачно, что «между прочим». Стихотворная продукция Садовского, посвященная «старым годам», «старым усадьбам», порой чрезмерна и даже назойлива), глубокий исследователь Фета, в конце концов, приятель другого литературного консерватора — Ходасевича, который отпел его лет за двадцать до настоящего срока, он имеет все шансы на всплеск интереса, на «ах!» и «ох!», на бескомпромиссные заявления, что, мол, этот «малый» поэт будет нынче поважнее многих «больших»... И эта превосходно подготовленная и изданная книга, конечно, поможет канонизации очередного уклона от магистрального пути, проложенного великой русской поэтической четверкой прошлого столетия.

Но. Его сонеты не изысканны, а умышленны и порой угловаты. Для истинного стилизатора он не тонок, пожалуй, даже по-волжски необтесан; все-таки земляк Горького. В общем-то наивен, несмотря на «бодлеровские» потуги; так, например, вместодохлой лошади из «Падали» великого француза он «падалью», разлагающимся трупом, представил себя («Мое лицо покрыли пятна / И белой плесени грибки» — «Весна»). Это даже не купеческий декаданс Брюсова. Это — мещанский декаданс. Недаром поганец, разночинный имморалист Тиняков признал его за своего: «Но, кажется, кроме меня никто пока не подозревает в Вас декадента-дьяволиста».

Садовской был очень одаренным, хотя и очень наивным поэтом. Больше всего ему удавались стихотворения «на тему», «с сюжетом»; недаром поэтический цикл «Самовар» возбуждает не только эстетические, но и (честное слово!) гастрономические переживания. Его «Рассказы в стихах» — превосходны. В «Истории куплета» он предвосхитил Олейникова:

Я рву цветочки для любезной,  
За мною бабочки летят,  
Любовь душе моей полезна,  
Как летом вкусный лимонад.

А стихотворение «Умной женщине» из того же «Самовара» можно полностью напечатать в учебнике по фрейдистскому литературоведению:

И в первый раз за самоваром  
Тебя узнал и понял я.  
Как в чайник длительным ударом  
Звенела и лилась струя!

С какую лаской бестревожной  
Ты поворачивала кран...

Странные все-таки люди рождались в Нижнем Новгороде в последней трети девятнадцатого века...

**В. Комаровский. Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. Составление И. В. Булатовского, И. Г. Кравцовой, А. Б. Устинова. Комментарии И. В. Булатовского, М. Л. Гаспарова, А. Б. Устинова. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2000, 536 стр.**

Любопытно, что Комаровского издали примерно так же, как и (незадолго до него) Кавафиса: полный корпус текстов, монографическое исследование жизни и творчества, дополняющие картину статьи и эссе. Велико искушение сопоставить александрийца и царское село, провести параллели между судьбами поэтов, при жизни затерянных на обочине мейнстрима европейского и русского. Сравнить новогреческое лингвистическое одиночество в модернистской европейской словес-

ности стихов поэта-гомосексуалиста с каким-то знобящим экзистенциальным одиночеством поэта-эпилептика. Но ничего из этого не выйдет, ибо конечно же и эстетически, и психологически Кавафис и Комаровский — совершенно противоположные авторы: солнце (несмотря на «лунную ориентацию» грека) и луна.

Но русский пейзаж при луне прекрасен.

Стихи Комаровского — одно из настоящих моих открытий последнего времени. Странная помесь декадентства (скорее на французский манер) с удивительно глубокой, естественной русскостью. Пейзажные стихи его великолепны и порой заставляют вспомнить не Блока с Брюсовым, а Фета или Бунина. В то же время экзальтация, пронизывающая их, говорит о том, что перед нами — новейший русский поэт начала прошлого века:

Потухших снов мне было мало.  
Поющих — и забытых слов.  
Пусть это пламя ликовало  
С своих сафирных берегов.

Веселый блеск, движенье пятен  
На этих солнечных ветвях,  
Весь мир — он не был мне понятен  
В своих звенящих зеленях.

(«Рассвет»)

Он вообще был цепок к мелким, ничтожным, с точки зрения символиста, деталям. Видимо, за это его так любили акмеисты с Гумилевым во главе. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать начало превосходного сонета «Рынок»:

Здесь груды валенок, и кипы кошельков,  
И золото зеленое копчушек.

Грибы сушеные, соленые, связки сушек  
И постный запах теплых пирожков...

Еще более удивителен цикл «Итальянские впечатления», написанный им — несчастным эпилептиком, несколько раз, по собственному признанию, сходящим с ума, никогда не покидавшим России. Тут, конечно, волшебным образом преображены путевые итальянские стихи многих коллег по цеху поэтов (но не по Цеху Поэтов) — Блока, Кузмина, Гумилева, Городецкого, и все же какая легкость, тонкость, естественность, непринужденность этих книжных по рождению строк:

Гляжу в окно вагона-ресторана:  
Сквозь перья шляп и золото погон  
Горит закат. Спускается фургон,  
Классической толпой бегут бараны.

По виноградникам летит вагон,  
Вокруг кудрявая цветет Тоскана,  
Но кофею плеснуло из стакана,  
С огурками смешался эстрагон...

По легенде, он умер от припадка, вызванного известием о начале Первой мировой. Счастливец.

**Сигизмунд Кржижановский. Собрание сочинений. Т. 1. Составление, предисловие и комментарий В. Перельмутера. СПб., «Симпозиум», 2001, 687 стр.**

Умиравший Кузмин сказал: «Жизнь кончена. Остались только детали». Сигизмунд Кржижановский принадлежал к тем, на чью долю умирающий серебряный век<sup>3</sup> оставил детали. Много деталей, ибо деятели его были щедры и забывчивы.

<sup>3</sup> Использую здесь это понятие несмотря ни на что, даже на превосходную книгу-разоблачение Омри Ронена.

Выпуску первого тома ПСС Кржижановского предшествовала и сопутствовала серьезная рекламная кампания. Этому писателя величали «Борхесом», «Кафкой» и даже «Дерридой» русской словесности. Конечно, ничего похожего. Кржижановский типичный «малый поэт», закрывающий эпоху после ее конца. Он, переехавший в Москву из Киева, застал уже совершенно иной контекст, нежели тот, который его воспитал; попытки вписаться в него оказались тщетны, тогда-то Кржижановский и присягнул на верность умершему.

Только наивный читатель мог бы сравнить «Сказки для вундеркиндов», открывающие этот том, с Кафкой. Это, конечно, символистская проза: что-то от Анненского «Книг отражений», что-то от Белого, что-то от среднего символизма вообще. Удивительно в них другое — интонация андерсеновских сказок, все время наивных, все время двусмысленных. И еще — поздний литературный старт («Сказки» завершены тридцатисемилетним автором) не избавил Кржижановского от юношеских литературных ошибок — назидательности и ходульности. Но мастером он был уже тогда: вот, например, описание пальцев пианиста во время концерта: «...и вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад».

Но лучшее, что есть в этой книге, — очерки о Москве, в которых светятся тускловатым огнем детали, забытые символистами (Белым прежде всего); детали, пообкатавшиеся в революционных приливах-отливах. Кржижановский — не хищный коллекционер на манер вагиновского. Он собирает мертвые вещи вовсе не для того, чтобы припрятать их от времени в своей конуре; он пытается дать им жизнь, обогревая нежарким светом разума.

Любители «актуального» (то есть, как я понимаю, всего того, за что нынче дают деньги: рекламы, инсталляций, политтехнологий) отметят очерк, посвященный московским вывескам двадцатых. Еще чуть-чуть, и получились бы бартовские «мифологии».

**Моника Спивак. Посмертная диагностика гениальности: Эдуард Багрицкий, Андрей Белый, Владимир Маяковский в коллекции Института мозга (материалы из архива Г. И. Полякова). М., «Аграф», 2001, 496 стр.**

В этой самой Москве, по которой бродил приезжий поляк из Киева Сигизмунд Кржижановский, находился Институт мозга, где в 1929 году было создано некое подобие Пантеона. В Пантеоне мозги великих людей намеревались выставить — в педагогических и назидательных целях — на всеобщее обозрение. Рецензируемое издание состоит из содержательного описания истории этого заведения, принадлежащего перу Моника Спивак, и действительно потрясающей публикации характерологических очерков трех людей, чьи мозги составили гордость коллекции института: Багрицкого, Маяковского и Андрея Белого. Эти очерки были составлены психологом и неврологом Григорием Поляковым в 30-е годы и публикуются впервые. А вот характерологический (и отчасти — психологический) портрет тех людей, которым могла прийти в голову мысль распиливать черепа знаменитых покойников и вытаскивать оттуда мозг, чтобы понять, в каких извилинах таится гениальность. Людей двадцатых годов прошлого века.

Эти люди выпали из своего исторического контекста и сыграли блистательные и бессмысленные моноспектакли в других, чужих, театрах, для совершенно иной публики. Гениальные переростки, они попытались разобрать на простейшие детали окружающий их мир — с тем, чтобы понять, как он устроен, найти неполадки, устранить их и начать фабричное производство нового мира. Великие редуccionисты в безнадежно синтетическую эпоху. Их главный урок — в тотальности опыта, любого опыта — эстетического, этического, научного, политического. Каждый из них стремительно добрался до дна, некоторые даже выбрались наружу, но уже поглупевшие от страха, глуховатые от кессонной болезни. Глубже их никто никогда не нырял. Но, повторяю, дело не в том, что они там увидели, а в том, что доныряли. «Черный квадрат» ценен не тем, что на нем изображено, а тем, что он есть.

Я почти люблю этих людей, свежавших трупы гениев.



## -2

**Ирина Сандомирская. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. — «Wiener Slawistischer Almanach», Sonderband 50. Wien, 2001, 282 стр.**

Я ни слова не скажу о методологии этого исследования. Ни звука — о структурализме и семиотике, надежно погребенных в прошлом столетии. Ни ползвук а том, что семиотическо-структуралистский жаргон стал расхожим языком прессы/рекламы и конвейерным формовщиком мозгов. Сумасшедший, направивший авиалайнеры на манхэттенские небоскребы, ставил, безусловно, семиотический эксперимент. О «знаковых» событиях рассуждают сейчас даже поп-певцы и руководители ячеек КПРФ на местах.

Речь пойдет о другом. О чувстве и о мере. Конечно, о моих чувствах и о моем (исключительно) чувстве меры. Читая эту книгу, любопытную, на мой же взгляд десятилетней давности, я постоянно чувствовал легкую тошноту. «Книга о Родине» — реестр расхожих мнений и пошлостей, сказанных за последние сорок лет в гуманитарных областях. Каждое отдельное высказывание — бесспорно, но, собранные под одной обложкой, они представляют собой чудовищный апофеоз количества, не ставшего качеством. Или точнее — не желающего быть качеством. «Книга о Родине» ничего на самом деле не исследует. Несмотря на наукообразный общий вид, она — иронизирует, плоско и бесплодно, только вот объект иронии — совсем не тот, нежели кажется автору. На самом деле «дискурс о Родине» (говоря языком этого сочинения) в России *принципиально не отличается от «дискурса о Родине» в Германии или Франции*<sup>4</sup>. Типологически это одно и то же, разница — в деталях. Изучать этот «дискурс» можно только *исторически*, то есть так, как Сандомирская попыталась сделать во второй части «Книги о Родине» (с оглядкой на Фуко), — но неудачно. Почему? Потому, что автор не понимает, что такое настоящий историзм.

В результате мы имеем 282 страницы несмешных семиотических шуток над совсем не смешной страной.

Это о чувстве. Теперь о чувстве меры. Интересно, когда же я перестану читать (а кто-то — легион им имя — перестанет писать) вот такие фразы: *«Родина/Отечество/Отчизна — это не имена географических или административно-политических единиц. Это группа метафор, через призму которых концептуализируется определенная социальная конструкция, некая специальная модель отношений между индивидом и обществом, между гражданином и государством, между личностью и централизованной государственной системой»*

И последнее. Автор, думая, что проводит тончайший анализ неких историко-культурных знаковых и символических систем, на самом деле варварски огрубляет историческую материя. Например, характеристика Ивана Аксакова на стр. 93 — недопустима для серьезного исследователя.

**Робер Фавтье. Капетинги и Франция. Перевод с французского. СПб., «Евразия», [б. г.], 320 стр.**

«Что появляется к концу XII в. у хронистов различного достоинства, так это то, что их личность начинает проявляться в их трудах. Некоторые из наиболее живых пишут французскими стихами, часто бесцветными, но слова которых, воспринимаемые прямо, без перевода, вызывают непосредственно в уме видение изображенных сцен» (стр. 17). «Хоть сохранившиеся тексты умалчивают об этом, мы вправе себя спросить, не стояла ли за движением крупных феодалов, воспротивившихся регентству Бланки Кастильской на следующий день после смерти Людовика VIII, возможно бессознательно, идея, что время династии истекло, что должны, как и предсказал святой Валериан, произойти перемены» (стр. 79).

<sup>4</sup> Взявшись читать (и цитировать!) Барта, автору неплохо было бы внимательно перечитать его «Мифологии» — там, где про национализм и бифштекс с пивом.

Тот, кто сможет вынести такую белиберду полуграмотного переводчика, пусть и пишет рецензию на эту книгу. Достойное исследование Робера Фавтье безнадежно испохаблено. Одного не пойму, совершенно искренне: неужели не стыдно?

Поименно:

«Перевод с французского к. и. н. Цыбулько Г. Ф.».

«Научный редактор к. и. н. Шишкин В. В.».

Прага.

---

## ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

**Т**рудно не заметить решительного обновления в театральных рядах. Еще год назад традиционное сетование на то, что стар ныне круг главных, было общим местом и одновременно полагалось всеми чем-то непоправимым, чуть ли не родовой чертой московской театральной жизни.

В Театре имени Пушкина, где все так просто объяснялось коононовским проклятием, будто бы посланным «в обмен» на реорганизацию, следствием которой стало переименование Камерного театра в Пушкинский и недобровольный уход Таирова и Коонен.

В Театре на Малой Бронной, где еще недавно критическое многоголосье слилось в единый хор, чтобы припечатать к позорному столбу директора театра Илью Ароновича Когана, поскольку, мол, он не терпит режиссера «под боком», претендуя на единоначалие.

В Театре сатиры, где Валентин Плучек бил все рекорды творческого долголетия, так что окружающие воспринимали его как математически твердую величину, константу, рядом с которой теряет в весе всемирно известное число «пи».

И так далее, и так далее.

Смерть Андрея Александровича Гончарова, «последнего из могикан», может быть, не самого великого среди великих русских режиссеров, которого точнее всего было бы назвать человеком-эпохой, как бы подвела жирную черту под всем предыдущим периодом русского советского театра. С чем дальше жить?

— А нынче, — как сказал поэт, — погляди в окно.

**Режиссерский реванш.** Стало даже модным говорить, что век режиссерского театра близок к закату. С одной стороны, сами режиссеры дают все меньше пищи для не то чтобы споров, но и разговоров (как говорится, по существу). С другой — актеры двинулись «свиньей». Свои режиссерские опыты они подкрепляли словами. И смысл сказанного ими не в том, что, мол, и крестьянки любить умеют, а актеры — кое-что смыслят в режиссерском деле. Нет, в своих публичных выступлениях актеры-режиссеры настаивали на первородстве (что справедливо, если взглянуть на вопрос в исторической перспективе), а порой и на том, что актерская режиссура — единственно верная (почти по Ленину: актерская режиссура всеильная, потому что — верная). Когда свое обращение к режиссуре они аргументировали тем, что все лучшие режиссеры прежде побывали в актерской шкуре (например, Станиславский, Мейерхольд, Стрелер), спорить становилось трудно. Со многим приходилось соглашаться, и прежде всего в их правоте убеждала убогая картина нашего театрального быта. Серые театральные будни стали источником их режиссерского энтузиазма, который легко «переложить» на слова из песни: «Если не я, то кто же? Кто же, если не я?»

И вот режиссеры — можно ли такое вообразить! — решили взять реванш

**Укрепление руководящего состава.** В декабре 2000-го Театр сатиры, так сказать, по наследству перешел к Александру Ширвиндту. В феврале 2001-го Андрей Житинкин возглавил Театр на Малой Бронной, а Роман Козак в апреле Театр име-

ни Пушкина. В августе труппе Нового драматического театра, осиротевшей год назад после смерти Бориса Львова-Анохина, был представлен новый художественный руководитель Вячеслав Долгачев. (В Маяковке решили выждать этическую паузу и заняться поисками нового главного ближе к весне.)

Кстати, Роман Козак тоже пришел в Театр имени Пушкина художественным руководителем, а не главным режиссером. Разница здесь не только лингвистическая, и, к слову, это назначение тоже опровергает сложившееся в последние годы мнение, что ныне (против опыта конца 80-х) режиссеры не только не хотят становиться художественными руководителями (когда надо думать и о хозяйстве), но даже не идут в театр и главными (когда грузом ложится «только» забота о труппе).

К списку тех, кто был призван на «укрепление руководящего состава» (как это называлось при советской однопартийной системе), следует добавить и Табакова, для которого прошлый сезон был не вполне его — в том смысле, что отвечать он мог лишь за вторую его половину. И только новый сезон, 2001 — 2002 года, целиком сложился под его недреманным оком: только сейчас наблюдатели (те, кто того пожелает и кто претендует на объективность) получают право порассуждать и о его вкусах, и о его работе с кадрами.

Картину нынешней «кадровой революции» завершит появление в Москве сразу двух новых ректоров — во главе Школы-студии МХАТ (Анатолий Смелянский) и во главе Российской академии театрального искусства (Марина Хмельницкая). Нынешний сезон впервые начинают в своих новых начальственных кабинетах и ректор Московской консерватории и (в определенном смысле) виновник торжества — председатель Комитета по культуре Москвы Сергей Худяков (которому большинство из вышепоименованных обязаны назначением).

Конечно, так и хочется, чтобы, как это принято в философии, физике и прочих точных науках, количественные изменения привели и к переменам в качестве. Вернее, так, конечно, и случится, но хочется, чтобы эти перемены стали переменами к лучшему. Чтобы кадровое обновление привело к обновлению театра.

**Из истории.** Исторические аналогии — особенно в искусстве — мало о чем говорят, но от этого не теряют своей занимательности. В нашем случае небезынтересно вспомнить, когда еще в Москве случалось подобное же массовое обновление театрального цеха.

В оозримое историческое время, наверное, дважды. Впервые — вокруг 1970-го. В самом конце 60-х на Малую Бронную пришел, правда, не главным, а очередным режиссером Анатолий Эфрос (1968). В 1970 году Олег Ефремов возглавляет МХАТ имени Максима Горького, а Владимир Андреев — Театр имени М. Н. Ермоловой (между прочим, начинается замечательный период жизни театра — Андреев открывает Вампилова, в его постановке выходят «Прощание в июле», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»). В том же году в оставленном Ефремовым «Современнике» власть переходит к художественной коллегии. Официально только в 1972-м Галина Волчек принимает бразды правления, но можно, наверное, сказать, что ее «Современник» начинается уже в 1970-м (в 1971 году выпускник Щукинского училища Валерий Фокин приходит в «Современник» по ее приглашению и ставит «Валентина и Валентину»). Марк Захаров в это самое время ставит в Сатире, а в 1973-м становится главным в Театре имени Ленинского комсомола.

Нечто поразительное — и по масштабам, и по именам, каждое из которых, как принято говорить, вписано в историю советского и русского театра золотыми буквами. Перечень же имен и спектаклей позволяет утверждать: с их появлением театр стал другим.

В следующий раз обновление руководства случилось уже в иных исторических обстоятельствах и потому — методом прибавления (а не замещения, как это было всегда при советской власти). В конце 80-х идея проведения театрального эксперимента и перехода на хозрасчет привела к одномоментному появлению в одной только Москве чуть ли не двухсот новых театров-студий. Около десятка из них, проверенных временем, получили тогда же государственный статус. Ни Театр на Юго-Западе, ни табаковский, ни тот, что «У Никитских ворот», не были новыми для знающей публики, давно протоптавшей дорогу к каждому из них. Но тогда же

появилось и несколько новых театров, а с ними — и новых театральных адресов, новых «главных». Театр на Спартаковской под руководством Светланы Враговой, Театр на Покровке Сергея Арцибашева, «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза. В 1988-м в ДК на Лесной улице открылось самое интересное по тем временам экспериментальное объединение при СТД РСФСР «Творческие мастерские», вокруг которого собрались наиболее интересные режиссеры поколения (тогда!) тридцатилетних — Владимир Мирзоев, Клим, Александр Пономарев, Михаил Мокеев, Владимир Космачевский... Свое здание и свой театр «Школа драматического искусства» получил Анатолий Васильев.

Зачем же было затевать сегодня нечто подобное, если не ставить перед собою такие же значительные цели?!

**Пока не цели, но средства.** Лучше ли станет столичный театр, сегодня не скажешь (ну кто возьмет на себя такую смелость?!), однако же всякий заметит, что театр помолодел. Житинкин, Козак, Долгачев — из тех, кого справедливо причисляют к поколению сорокалетних, тех, которым до сих пор все никак не удавалось прозвучать в полный голос. Что ж, хочется думать, что все это время они копили силы для решительного броска. И в этих словах почти или даже вовсе нет иронии.

«*Без театра нельзя*», — говорит один из чеховских героев. И хотя Сорин имеет в виду нечто иное, эти же слова без особой натяжки приложимы и к сиюминутному разговору: режиссеру без своего театра нельзя. Не случайно же и те, кому не удастся в силу разных причин обжить собственные театральные стены, слагают подобие маленькой труппы, с которой кочуют потом из театра в театр. Так Владимир Мирзоев старается занимать в своих спектаклях Максима Суханова (хотя в случае Мирзоева можно заметить притяжение и «общий язык» в работе и с несколькими другими актерами, так что речь — действительно о компании, а не только о счастливо сложившемся дуэте). Так для Козака важны Александр Феклистов и Игорь Золотовицкий. Так Житинкин до прихода на Малую Бронную старался занимать в своих спектаклях Александра Домогарова... И нет смысла не верить Житинкину, который объясняет свой приход на Бронную желанием иметь «театр-дом». (Как хорошо, что это понятие не успели списать в архив в пылу нынешних разговоров о свободных площадках, которые, конечно, тоже нужны, и дискуссий о перспективах антреприз.)

Режиссерская профессия — на поверку не та, которой удобно заниматься в одиночку. В ней тот, кто наиболее одинок, — далеко не самый сильный (как раз вопреки тому, что говорит у Ибсена доктор Штокман). Наоборот, даже примеры лучших убеждают в том, как вредно режиссеру работать вахтовым методом, то тут, то там пытаясь приложить свои умения и таланты. В частых переездах теряется мастерство, куда-то — точно в какие-то прорехи — по пути просеивается талант. Такая последовательность событий — конечно, не одна на всех. Другое дело, пофантазировать на тему, какую бы стала картина нашей театральной жизни, если бы Михаил Мокеев, Клим, Владимир Космачевский, Владимир Мирзоев и еще несколько других не остались после закрытия «Творческих мастерских» без театра (а кое-кто — и вне его). Зато, правда, мы знаем, что стало без них.

Пожалуй, самым смелым и решительным руководителем можно посчитать Табакова (а главное — он сам именно так репрезентирует себя). Некоторые спектакли из прежнего репертуара «законсервированы» на время, другие (со слов Табакова, точно — «Привидения» и «Мишин юбилей») будут в скором времени или уже сняты. Сезон начат решительно — сразу тремя премьерами (а в октябре вышла обновленная «Чайка», где почти все исполнители — новые). Критики сразу стали спорить о качестве премьер, но не могли не признать их количественного натиска.

Для *своего* начала Табаков выбрал три совершенно разные работы. «Кабала святош» как будто апеллирует к великому и трагическому прошлому. «Ю» Ольги Мухиной как бы длит линию современной пьесы (весьма уважаемый и первооснователями театра). «Антигона» Ануя... Тоже вроде бы кстати. Интерес к сильному — трагическому — жанру всегда увлекал Станиславского и Немировича и был поводом к бесконечным, кажется, дискуссиям между ними.

Все вместе три сентябрьские премьеры Художественного театра скорее озадачивают. Табаков — пожалуй, единственный, кто вслух заявил о своем недовольстве состоянием труппы на вверенном ему «корабле». Уже известные распределения говорят о том, что слова Табакова о недовольстве большей частью нынешней труппы МХАТа имени Чехова не расходятся с делом. (Впрочем, молчание на сей счет остальных новых главных не означает их полного удовлетворения.) Нередко отказываясь от «услуг» актеров труппы, новый художественный руководитель отдает предпочтение актерам своего «маленького театра» на улице Чаплыгина и даже студентам Школы-студии. Студенты часто «не тянут», слабые не только в актерской профессии, но и элементарно — голосами, еще не привычными к академическим просторам мхатовской сцены.

В прежней «Кабале святош», которую ставил во МХАТе конца 80-х тот же режиссер Адольф Шапиро, Мольера играл Олег Ефремов, и спектакль превращался в своего рода «отчет» о прожитой жизни, где было много женщин, но главным — как и в пьесе Булгакова — были всегдашняя необходимость потакать воле короля и всегдашнее же внутреннее противостояние всякой власти. Табаков, когда брался за роль Мольера, вспомнил первоначальное определение Булгакова — *пьеса из музыки и света*. И название романа того же автора на тот же сюжет — про частную жизнь господина де Мольера. Но пьеса такому внезапному толкованию сопротивляется. Она — как бы ни притупшевывали «диссидентство» Мольера — все-таки не об одном инцесте. Две-три сцены у Табакова, богатство декорации Юрия Харикова и замечательная музыка В. Артемьева — пожалуй, все, чем может гордиться спектакль. Этого много для проходного сюжета, однако недостает для программного заявления, на что претендовала «Кабала святош». Неполный уже на первых представлениях зал, еще сильнее прорежающийся к концу спектакля, не позволяет надеяться, что «Кабала...» станет одним из тех паровозов, что потянет к новым успехам обновляемый МХАТ.

«Ю», который понравился многим, — из того, что *похоже на Художественный театр*, как точно определил этот спектакль один из проницательных наших критиков. «Антигона» — наиболее удачный эксперимент, успехом обязанный приглашенному грузинскому актеру Отару Мегвинетухуцеси (и, конечно, всей приглашенной постановочной группе). Но на «паровоз» (определение, взятое из интервью Олега Табакова) «Антигона» тоже не тянет: трагедия в московских зрительских кругах — не самый востребованный жанр, а Табаков, говоря об успехе, всегда добавляет (или — подразумевает) успех и (или в первую очередь) коммерческий.

Александр Ширвиндт начал сезон премьерой Сергея Арцибашева, который к собственному юбилею выпустил пьесу Ануя «Орнифль», где, кроме нового главного, играют Михаил Державин, Юрий Авшаров, Вера Васильева... Среди прочих «стратегических» шагов — «Время и семья Конвей» в постановке Владимира Иванова. В пассиве — расстроенные отношения с Эльдаром Рязановым, который поначалу вроде бы согласился поставить в Сатире водевиль «О бедном гусаре замолвите слово», да потом не сложилось. Ни Ширвиндт, ни даже Табаков, чей режиссерский опыт, конечно, несопоставимо значительнее и удачнее, не заявили в этом сезоне собственных премьер. Они сыграли новые роли, но ставить пока не собираются. И как бы уступают дорогу «режиссерской режиссуре».

Роман Козак — из играющих (или — из игравших) режиссеров. Но пока не собирается играть на сцене Театра имени Пушкина, выдвигая «вместо себя» актера — альтер эго, Александра Феклистова, которого пригласил на главную роль в спектакле «Черный принц» по Айрис Мердок. Кроме того, он сам взялся поставить в этом сезоне «Ромео и Джульетту» с молодыми актерами, которыми так богата труппа Пушкинского театра. Несколько смазали дебют Романа Козака спектакли, «заделанные» еще до его назначения, — «Разбойники» Шиллера и «Недосягаемая» Птушкиной в постановке Алексея Говорухо (в той же ситуации оказался и Долгачев, который приходит на три «готовых» премьеры). Помимо этого в Театре имени Пушкина объявлены «Четкие поляроидные фотоснимки» Марка Равенхилла в постановке уже знаменитого по спектаклю «Пластинин» Кирилла Серебренникова, а также работы молодых Василия Сенина, Владимира Агеева, на откуп которым Козак отдает сцену филиала. Впрочем, начало работе в филиале положил он

сам, поставив там японскую пьесу «Академия смеха» с Николаем Фоменко и Андреем Паниным в главных ролях. Последнее обстоятельство как будто противоречит декларируемой устремленности к репертуарному театру.

Андрей Житинкин, который любит вспоминать о лучших годах Бронной и в этом смысле — об Эфросе на Бронной, напомнил в первую очередь о работоспособности, которую в глухие советские годы демонстрировали и главные, и очередные режиссеры. Житинкин обещает поставить в этом сезоне четыре спектакля, причем первые два уже состоялись. С редкой по нынешним временам и в нашей театральной среде безмятежностью Житинкин принимает критическую хулу. Опуская все мешающие главному «мелочи», он посвящает «Портрет Дориана Грея» рассказу о порочной и порочащей связи заглавного героя. А к концу сезона обещает выпустить «короткую и жесткую» (в смысле — не на пять часов с двумя антрактами) «Анну Каренину». Умелый в общении с прессой, Житинкин, которого до сих пор серьезная критика не жаловала, хотя и не избегала, обеспечил даже еще не выпущенным спектаклям и здоровый, и нездоровый интерес. Каренина, например, будет в его варианте наркоманкой, у героев обнаружится «непростая сексуальность», а весь сюжет режиссер обещает «положить» на Фрейда... Ну и т. д.

Вячеслав Долгачев, приняв руководство, отправился в Америку — довыполнять взятые прежде обязательства. И свои планы по возрождению Нового драматического держит в секрете. «Сиреневое платье Валентины» Франсуазы Саган, вышедшее в его отсутствие, свидетельствует о наличии в труппе хороших актеров и об отсутствии хорошей режиссуры... Это, впрочем, не только там.

Хотя можно вообразить, что в Новом драматическом, как и в Театре имени Пушкина, стоило бы выстроить репертуар в прямой полемике с табаковским МХАТом (такая репертуарная полемика не скрывается, к слову, бывшим сослуживцем Долгачева по режиссерской конторе Художественного театра Романом Козаком). Да и то обстоятельство, что Инна Соловьева в своей книжке, выпущенной к столетию Художественного театра, называет Новый драматический веточкой на древе МХАТа, такую полемику как будто даже подразумевает, располагает к ней (особенно в нынешнем раскладе театральных сил).

Ожидает ли нас новый взлет театрального искусства только потому, что возможности для такого взлета или, во всяком случае, для ничем и почти ничем не ограниченной самореализации открылись сразу так многим?

Для оптимизма видимых причин не найти. Репертуарный театр, очевидно, все больше сливается с антрепризой, во всяком случае, прежние, и основательные, упреки в адрес Иосифа Райхельгауза, который живет, мол, как удачливый (а порою и как неудачливый) антрепренер, сегодня мало кто отважится произнести. Сегодня так живут все (или — почти все), перекупая, приглашая, рискуя... Что сетовать, например, на студентов, играющих в спектаклях Художественного театра? И говорить, что право играть во МХАТе надо еще заработать?

Американская деловитость и в прямом (поскольку многие среди новых главных имеют за плечами опыт преподавания и работы за океаном), и в переносном смысле приходит на смену старому — экстенсивному — методу ведения театрального хозяйства. На этом пути наверняка нас ждет немало экономических побед.

А в их тени — кто знает? — может быть, и театральных.

## КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

### ОДИНОЧЕСТВО

«Интим» Патриса Шеро — один из фаворитов минувшего киносеzona: «Золотой медведь» на Берлинском фестивале 2001 года, «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль — актрисе Керри Фокс... В наш прокат «Интим» вышел с рекламным слоганом: «Самый шокирующий фильм года». Преувеличение, ко-

нечно: нынешний кинематограф исправно поставляет на рынок куда более шокирующие картины. Но доля истины тут есть: порнографическая откровенность сексуальных сцен в «серьезном» кино до сих пор производит на зрителя шоковое впечатление.

И это при том, что маргинальная эстетика порно все более настойчиво проникает в большой кинематограф. Совокупление на крупном плане в «Идиотах» фон Триера, откровенная постельная сцена в «Поле Х» Лео Каракса, порнографические эпизоды в «Романсе» Катрин Брейа... И дело тут не в эпатаже и нарушении запретов. Дело в том, что секс в самых откровенных и даже трагически извращенных его проявлениях оказывается сегодня едва ли не темой номер один — отправной точкой в исследовании изменившейся экзистенциальной ситуации современного человека.

«Две формулы могут выразить существо изменения: антропологический кризис и антропологический поворот... Кризис состоит в разрушении и отбрасывании старой модели человека, поворот же в том, что именно происходящее с человеком, антропологическая динамика приобретает решающую роль, становится определяющим фактором в динамике современного мира, тогда как прежде такая роль была за социальной и социоисторической динамикой» (Хоружий С. Альтернатива из сего дня. — «Искусство кино», 2001, № 8).

Иными словами, человек в нынешнем европейском кино все больше воспринимается не как точка приложения внешних воздействий — социальных, политических, культурных и проч., но как самодовлеющий антропологический феномен, как нечто, обусловленное характером и протеканием сугубо индивидуальных психофизических процессов, по отношению к которым «внешнее» — признанные цели, ценности, нормы и социальные институты — выступает либо как фактор грубого, механического насилия, либо как вакуум, сосущая пустота, пространство, безразличное к трагическим метаниям индивида, словно обреченного на пожизненное заточение в одиночке, где нет ни стен, ни потолка, ни охраны...

Основной сюжетный мотив такого рода кино — попытка обретения *близости*, реального контакта с другим, с другими, — что невероятно трудно и всякий раз перерастает в мучительную проблему. А сексуальный инстинкт — заложенная на биологическом уровне «плетка», принуждающая искать выход из одиночного заключения, заставляющая пуститься в рискованное путешествие навстречу *другому*, со всеми опасностями и катастрофами, подстерегающими человека на этом пути.

Сексуальность — неотчуждаемая сфера человеческого бытия, область, где что-то происходит лично с тобой, крошечный островок приватности в мире, насквозь пронизанном властью языка, культурных стереотипов, тотальных информационных сетей и механизмов глобального потребления. И она же — источник деструктивных импульсов, способных разнести в клочья этот удобный, рационально устроенный мир. В фильме «Романс» Катрин Брейа героиня, с которой отказывается спать ее возлюбленный, в конце концов действительно взрывает его, устроив утечку газа. Но «Романс» — феминистская картина à these, публицистическое предупреждение: не принимая в расчет эмоциональные и физические нужды женщины, общество рискует взлететь на воздух.

В «Пианистке» Михаэля Хайнеке, поставленной по роману писательницы-феминистки Эльфриды Елинек, все намного сложнее и намного страшнее... Роман Елинек написан о том, что мужчины неадекватно воспринимают любую попытку женщины диктовать правила сексуальной игры. В фильме речь о другом: мы видим, как неудовлетворенная, искалеченная сексуальность порождает просто-таки эпидемию психологического насилия. «Пианистка» — холодная и ясная, как морозный день, почти беспасфосная картина — отчет о катастрофе, в которую может вылиться элементарное желание двоих — быть вместе. Едва женщина, сорок лет затянута в корсет занятий классической музыкой, отпускает на волю свои желания и чувства, они оказываются настолько извращенными и изломанными, что влюбленный в нее и любимый ею чудный юноша на глазах превращается в монстра, способного испытывать удовлетворение, лишь унижая и уничтожая другого. Все тут просто и объяснимо в рамках классического психоанализа. Но объяснения не избавляют от шока: пугает жутковатая неотвратимость, с какой насилие дает

всходы на вроде бы благополучной почве современного мира. Они могут питаться чем угодно — религиозным фанатизмом или фанатизмом карьеры, подавленной сексуальностью или любыми другими формами унижения, унификации «я»... Антропологический кризис, экзистенциальное неблагополучие, таящееся под глянцевой пленкой современной цивилизации, — та реальность, которую с применением самых шоковых, травмирующих, сильнодействующих средств пытается анализировать нынешнее кино.

Между «Интимом» и «Пианисткой» достаточно много общего. Это картины одного уровня, сделанные крупными режиссерами, не замеченными доселе в склонности к любовным историям. Обе — экранизации современной прозы («Интим» — по мотивам рассказов Ханифа Курейши), в обеих литературная основа подверглась радикальной переработке. «Пианистка», действие которой происходит в Вене, снята австрийцем, но на французском языке, с французскими исполнителями (Изабель Юппер, Анни Жирардо, Бенуа Мажинель); «Интим» — французом Патрисом Шеро, но в Лондоне с английскими и англоговорящими актерами (Керри Фокс, играющая главную роль, — австралийка). Использование «чужого языка», языка другой культуры, подчеркивает универсальность представленных на экране коллизий. Кроме того, в обоих фильмах действуют люди, так или иначе причастные к искусству (состоявшиеся или несостоявшиеся музыканты, актеры и проч.), что вводит мотив самореализации человека внутри наличной культуры. Так что love story в обеих лентах перерастает рамки мелодрамы, житейского частного случая и превращается в инструмент исследования современного бытия.

Но в «Пианистке» есть по крайней мере шокирующая, провокационная фабула, есть кровавые эпизоды, где героиня — профессорша Венской консерватории — режет себя бритвой или подсыпает в карман ученице битое стекло... Есть аура пугающей экстремальности, которая по определению не может оставить зрителя равнодушным. «Интим» же сделан буквально из ничего. Фильм построен на ситуации банального адюльтера, так что шокирует здесь разве что физиологическая откровенность постельных сцен, а также несоответствие внешних параметров занятых в них актеров традиционным стандартам порно- и шоу-бизнеса. «Ах, у нее целлюлит! — говорят зрители. — А у него лысина! Фи!» Они готовы смотреть любую порнуху, но только чтобы было «красиво». А если «как в жизни», то это — верх непристойности. Провокационный ход Патриса Шеро заключается в том, что секс на экране полностью избавлен от товарной, коммерческой «упаковки»; человеческая плоть предстает в своей обнаженной, «стыдной», трагической уязвимости.

В первых кадрах мы видим мужчину (Марк Ринельс), спящего на полу, в захламленной комнате среди нераспакованных коробок с вещами. Камера медленно панорамирует, показывая тело, свернувшееся в позе зародыша: руки, ноги, кусок лица — тяжелый, нездоровый сон отчаявшегося человека. Потом он вскакивает, лихорадочно натягивает одежду, чтобы впустить женщину (Керри Фокс), не слишком красивую, с тяжелым, странным, настороженным и в то же время ожидающим взглядом... «Мы разве договаривались?» — «Нет». В растерянности он предлагает ей кофе... И вот уже двое лихорадочно слипаются в одну плоть: тяжелое дыхание, обнаженные груди, ягодицы, «скрещенье ног», торопливо надетый презерватив... Торопливый, голодный секс, почти не приносящий удовлетворения. Сразу вслед за тем она, быстро собрав одежду, уходит, не сказав и двух слов. Чтобы через неделю зачем-то прийти опять...

Постепенно их тела все больше привыкают друг к другу: вот мы видим, как они раздеваются, глядя в глаза, синхронно снимая обувь, часы, белье... Вот — ласкают друг друга с щедрой, раскованной нежностью. Вот он смотрит, сидя в кресле, на нее — спящую... Тело каждого понимает, что нужно другому, оба они хотят одного и того же, и безмолвный телесный контакт становится спасительным островком жизни в хаотическом, чуждом мире.

Этот мир за стенами его убогой холостяцкой берлоги снят мечущейся, стремительной камерой — осколки лиц, обрывки разговоров, жесткие взгляды, агрессивное нетерпение, тотальная неприязнь... Это *его* мир — бар, где он работает, вечно надирающиеся к вечеру посетители, нерасторопные подчиненные, раздражающее начальство... Такой же одинокий и еще более несчастный друг Виктор — «брат-



близнец». Воспоминания об оставленной недавно семье... Они накатывают снова и снова — сквозь стылую синь обоев в его нынешнем, неприглядном жилье проступают теплые, охристые стены, фотографии, книги, слышится детский смех... Пространство воспоминаний дано в рапиде, как сон, как галлюцинация, как утраченный рай, где муки ревности еще не выступили тепло совместного бытия: можно невзначай притулиться к уснувшей жене, прикоснуться к лицу ребенка... Покинув однажды этот невыносимый «рай», герой остался ни с чем: постылая, «временная», на шесть лет затянувшаяся работа, неудовлетворенные артистические амбиции (Джой когда-то мечтал стать музыкантом), проигранная жизнь... Его одиночество бросается в глаза, как физический изъян; оно — во взвинченной нервозности жестов, в затравленных глазах, в горестных складках у рта...

А потом снова, без предупреждения, без предварительных договоренностей, приходит она, и покой по капле возвращается в растерянную, растерзанную, разmozженную душу. Вновь камера, успокоившись, в неторопливой, внимательной смене планов фиксирует мельчайшие перипетии физической близости.

Женщина приходит и снова уходит, как-то раз оставив за собой незакрытую дверь — дверь в *свою* жизнь, неизвестную ему, самостоятельно текущую в огромном, запутанном пространстве большого города. Поначалу он просто провожает ее глазами. В следующий раз идет за ней, но теряет из виду в рыночной толпе неподалеку от дома. Еще через неделю он уже следит за ней с настойчивостью, осторожностью и азартом завязтого филера. (Любопытно, что очередной эпизод преследования начинается на том же месте — возле рынка, — где оборвался предыдущий. Герой словно движется по траектории рока. Экранное пространство втягивает его в себя, предписывая маршрут «приключения», от которого уже нельзя уклониться.)

Настойчиво преследуя загадочную любовницу через весь Лондон, герой преодолевает разделяющее их пространство анонимности и оказывается в средоточии *ее* мира. Это маленький театрик-паб, выкрашенный в нелепый голубой цвет. Внутри: барная стойка, бильярд, дверь в подвал с табличкой «Театр — Туалеты» (дверь — в оба помещения; театр здесь почти такая же физиологическая необходимость, как и соответствующее жизненно важное заведение, — не столько храм искусства, сколько возможность хоть как-то удовлетворить мучительное стремление к самореализации, стремление быть кем-то, быть собой...). В этом театрике, в спектакле «Стекланный зверинец» Т. Уильямса, героиня играет Лору. В этом театрике герой сталкивается с ее мужем Эдди — добрым, общительным толстяком с крупными кривыми зубами (Тимоти Сполл). Бедолагу Эдди обойти невозможно. Он каждый вечер вместе с сыном торчит здесь — смотрит спектакль или играет на бильярде, слушает, что говорят зрители, — поддерживает жену в «исканиях». Своим крупным, неповоротливым телом Эдди пытается заслонить тлеющий семейный очаг от опасного театрального сквозняка. Но он не знает, откуда придет беда...

Так, драма, начавшаяся с анонимного секса, переходит в стадию *узнавания*. Героиня обретает имя — ее зовут Клер, — семью, мужа, ребенка, профессию... Прежде герой знал лишь ее тело, теперь ему предстоит узнать обо всем, из чего состоит ее жизнь.

Джой теперь чуть не каждый вечер является в паб и заводит с Эдди долгие рискованные беседы. Немое порнокино (с элементами британского социального фильма — эпизоды в баре и проч.) сменяется многословной, почти чеховской драмой. Люди болтают, играют на бильярде, а в это время рушатся их жизни... Джой, нервничая, провоцируя собеседника, рассказывает, как ушел от жены, «которая спала с каким-то кретином, а потом каждый вечер являлась домой как ни в чем не бывало». Эдди — ангел долготерпения — замечает: «Пока она каждый вечер приходит домой — все в порядке», но постепенно он начинает догадываться, что перед ним «кретин», с которым спит его собственная жена.

*Узнавание* ранит. Вольно или невольно вломившись в чужую жизнь, в замкнутый, скрытый от посторонних глаз мир *другого*, герой причиняет (и испытывает) нестерпимую боль. Безболезненным, шадящим, дающим пусть призрачное ощущение близости оказывается лишь соприкосновение на уровне тела. Но человек кроме тела обладает еще и душой, эмоциями, волей, самосознанием... Его жизнь, его

личный мир — целый клубок противоречивых, запутанных связей. И когда эти миры пересекаются, наступает момент катастрофы.

В какой-то момент персонажи «слишком многое» узнают друг о друге. Не только Эдди и Джой, но и Клер, которая случайно обнаруживает, что любовник шпионит за нею. Во время очередного эпизода преследования Клер и Джой словно меняются ролями: она заходит в магазин, он теряет ее из виду, а она, напротив, замечает его на улице и обрадованно пытается догнать, потом, войдя во вкус игры, принимается следить за ним исподтишка, и в тот момент, когда она понимает, куда он идет, когда он оказывается у дверей паба, веселый азарт преследования на ее лице сменяется чувством глубокого разочарования и боли.

Сближение персонажей неумолимо. В конце концов все трое сходятся в одной точке. Эдди, измаявшись подозрениями, в один из вечеров просто приводит Джоя в гримерку и «знакомит» с женой. Тут начинается «соло» Клер; она — последний *x* в этом незадавшемся уравнении.

«Что в тебе есть такого, — настойчиво вопрошает Джой, — что так тянет и привлекает к тебе? Тебя все слушают. Люди приходят смотреть на тебя в этот пропахший мочою театр... Ты знаешь больше, чем я. Ты затеяла эту игру. Зачем?»

Что она может сказать? Что ее жизнь — неудачные актерские пробы, ненужные ей занятия с любителями, осознание собственной бесталанности?.. Мрачный дом, заштатный театр и случайный, безымянный любовник, который странным образом умудряется на мгновение подарить ей ощущение душевной гармонии и покоя. Да, она — сильная, позволяет себе быть стервой, делает то, что хочет. И в то же время — маленькая девочка, не знающая, куда себя деть. Она «не в силах управлять своими энергиями» — плохая актриса, никакой педагог, скверная жена и любовница... И так же слепо, как все, она ищет чего-то подлинного и настоящего, дающего возможность почувствовать себя живой... Она хочет любви, хочет, чтобы кто-то избавил ее от внутренней пустоты, заставил, бросив все, бежать на край света, туда, где — страсть, самопожертвование, полнота чувств... А получает взамен все то же: чувство вины, раздвоенность, упреки, непонимание, постылое шпионство, стремление вторгнуться в ее жизнь и разрушить даже то небольшое, что у нее есть...

Каждый из участников этой драмы мечтает о цельности, которую другие попросту не в силах ему подарить, поскольку каждый внутренне раздвоен, растроен, раздроблен: и Эдди с его почти унижительной жертвенностью, и Джой с его нетерпимостью, и Клер с ее химерическими мечтами... Несовпадение физических желаний, запутанных, противоречивых эмоций и существующего в сознании образа «я» — их общий удел, источник их страданий, несчастья и неспособности осчастливить ближнего.

Герои, втянутые в приключение страсти, мучительно пытаются пробиться сквозь этот внутренний, душевный раздрой, и фильм движется от немоты эротических эпизодов (где секс, язык тела, — единственно возможный способ общения, позволяющий оставить за дверью тоскливый хаос несложившейся жизни) к лихорадочной исповедальности, попыткам выговориться, излить посторонним свое смятение и жестокую боль (Шеро в полном соответствии с канонами классической драматургии использует тут институт наперсников: у Джоя — это приятель-гей по имени Иен; у Клер — старушка Бетти, на склоне лет отважно решившая заняться театром; ее играет знаменитая певица и актриса Марианна Фейтфул), чтобы в финале любовники, словно со скрипом открыв «заржавленную дверь» во внутренний мир, наконец-то заговорили друг с другом о том, что они реально чувствуют, на что надеются и чего хотят.

Хорошего из этого, естественно, ничего не выходит. В результате взаимоналожения всех плюсов и минусов уравнение оказывается равным нулю. Клер порывает с Джоем, она остается с Эдди, и вряд ли брак их станет после этого более счастливым... Ценой мучительных усилий людям удастся вступить в диалог, но для того лишь, чтобы понять: ты, к которой они так безоглядно стремились, — недостижима. Всякая попытка вырваться из одиночного заключения делает человека лишь еще более одиноким.

Но насколько фатальна и непоправима представленная в картине ситуация внутреннего разлада, настолько же сложен и совершенен сам фильм, где нет ни

одного лишнего кадра, ни одной неточной актерской реакции, ни одного случайного движения камеры... Режиссерский перфекционизм, абсолютное качество всех элементов картины: фантастическая в своей обнаженной самоотверженности игра актеров, психологическое волшебство камеры, которая вполне может считаться еще одним полноправным актером, система параллельных сюжетных линий, рифмующихся ситуаций, реплик и эпизодов — возводят вполне заурядную коллизию из жизни заурядных людей в ранг универсальной метафоры нынешней антропологической ситуации.

Человек, живущий в культуре, где вся система знаков и символов, определяющих духовную сторону бытия, полагается не более чем продуктом общественного договора или ворохом условностей, доставшихся в наследство от иных культурных эпох, поневоле вынужден исток своей неповторимой единственности отыскивать в интимно-неотчуждаемой жизни тела. Но эта «перевернутая» модель отрезает сознание от подлинного, метафизического источника уникальности «я»; человек лишается внутреннего ориентира, он бредет словно с завязанными глазами, и беспоконная жизнь тела толкает его на череду травмирующих, безвыходных жизненных авантюр. Он оказывается не в силах управлять «своими энергиями», не может упорядочить, привести в состояние гармоничной соподчиненности различные уровни «я». Это недостижимо даже в теории. Несмотря на культ индивидуума, его прав и свобод, открывающий все (не вступающие, естественно, в противоречие с интересами другого) пути и способы удовлетворения желаний, амбиций, эротических фантазий и проч., современная духовная ситуация загоняет человека в камеру одиночного заключения, поскольку не дает ключа, способного отомкнуть дверь в Невидимое. «Интим» — фильм, в котором физиологическая откровенность порно соседствует с изощренностью сложнейшего психологического театра; фильм, намеренно сталкивающий в рамках единого текста различные языки современной культуры, — попытка создать художественный эквивалент того фатального одиночества, в котором пребывает душа современного человека.

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

*«Сетература»; связанный поиск и свободный поиск;  
краткий обзор поисковых систем*

**С**пор о том, существует ли специальная сетевая литература, специальное онлайн-новое литературное пространство, периодически возникает и в сетевых, и в традиционных печатных изданиях. Поскольку мне предстоит говорить об Интернете в его литературном наклонении, я тоже выскажусь по этому поводу.

Является ли появление Сети и новая коммуникативная среда существования текста, в том числе и текста литературного, достаточным основанием, чтобы говорить о появлении нового типа литературы — *сетературы*? (Нелепое словообразование!)

Возникновение Сети не без основания сравнивают с появлением печатного станка Гутенберга. Перемены по своему значению похожие, но по результату скорее обратные. Василий Розанов считал, что с появлением печатного станка литература погибла. Произошло отчуждение писателя от читателя — между ними пролегла пропасть в виде мощной и развитой типографской технологии, и первый оказался среди производителей текста, а второй — среди потребителей.

В Сети в определенном смысле происходит возврат к догутенберговой литературе. Литературное произведение, оказавшись в сетевой среде, становится другим. Не думаю, что перемены настолько радикальны, чтобы следовало вводить новый термин для обозначения литературной практики в Сети. Но необходимо четко представить себе, что изменилось: что же такое происходит с текстом в Сети, чего ни при каких условиях вне Сети с ним произойти не может?

Если вы идете по известному адресу, например, [www.lib.ru](http://www.lib.ru) (Библиотека Мошкова), находите любимую книгу и принимаетесь ее читать, никаких перемен вы, вероятно, не почувствуете. Все так же, как в печатном тексте, только хуже. Читать большой текст с экрана не очень удобно, нужен определенный навык. Высока вероятность, что при сканировании или ручном наборе в текст было внесено довольно много опечаток. Да и выглядит россыпь страничек, если вы решите текст распечатать, куда менее красиво, чем изданная и переплетенная книга. Особенно плохо обстоит дело с постраничными примечаниями. Они либо застревают среди текста, или выносятся за текст, а это мешает. Самое неприятное — отсутствие аутентичности текста. Очень часто источник сканирования не указан, а ресурс может просто исчезнуть из Сети — сменить адрес или перестать существовать. Это делает невозможным ссылку на сетевой источник при цитировании. Впрочем, при определенной аккуратности этих недостатков в сетевом издании можно избежать. Но если даже при подготовке текста все строго выполнено (а это большая редкость в Рунете, в частности, тексты Библиотеки Мошкова чаще всего не выдерживают критики), сетевой текст в лучшем случае не хуже, чем текст печатный, а поскольку печатный — привычнее, ему, безусловно, будет отдано предпочтение.

Но это «если вы идете по известному адресу». При работе с печатным текстом вы «знаете адрес» почти всегда. Как отыскивается источник — книга, которую вы будете читать или по крайней мере захотите в нее заглянуть? Вы идете по ссылкам. Проход по ссылкам можно назвать связанным поиском. В отличие от свободного поиска, о котором речь пойдет ниже. Самый распространенный первый шаг вашего выбора — это опора на мнение определенной референтной группы. «Да, надо заглянуть, а то вот Акунина (Пелевина, Сорокина...) все читали». Если автор пришелся вам по вкусу, вы берете уже уверенно его другую книгу. А если писатель еще и очень плодовит, вам может вполне хватить его творений на долгий срок.

Если ваша референтная группа настолько широка, что в ней найдутся противоположные мнения о любых авторах, вам придется выбирать, полагаясь не на мнение, а на аргументацию. Но как бы там ни было, вы всегда опираетесь на определенную априорную уверенность, будь то рекомендация определенного критика или обозревателя, журнала или газеты — или, скажем, выбранного заранее издательства или книжного магазина. Поле вашего выбора будет расширяться, но во всех случаях это проверенный выбор.

Связанный поиск, или поиск по ссылкам, реализуется в Сети так же, как и в офлайне. Существуют широко известные ресурсы, чьи адреса хранятся в списках избранного у многих пользователей. Существует множество сетевых обозрений и обозревателей, которые просматривают, рецензируют и рекомендуют новые сетевые ресурсы. Только в Сети этот поиск и быстрее, и проще. Идя по ссылкам, вы либо находите нужный текст, либо приходите в онлайн-магазин и заказываете нужную книгу — по почте или курьером. Это очень удобно и, конечно, экономит время и силы. Правда, не деньги. Здесь подороже, притом существенно.

Но в Сети есть и другой поиск — практически нереализуемый в пространстве печатной литературы. Я бы назвал его — свободным, или контекстным. В принципе, можно прийти в Ленинку (если она вдруг заработает) и погрузиться на несколько часов в систематический или алфавитный каталог с целью найти все статьи, в которых упоминается, скажем, Борис Пастернак. Это очень тяжелое и совершенно неэффективное времяпрепровождение. Никто так не делает, конечно. Берется солидное монографическое издание и совершается последовательный просмотр по приложенной к нему библиографии. Потом — просмотр библиографий в найденных изданиях и т. д., пока хватит терпения или пока не обнаружится нужный материал. То есть реализуется связанный, или ссылочный, поиск.

В Сети вы входите в любимую поисковую систему, например, в [Yandex \(www.yandex.ru\)](http://www.yandex.ru), и набираете в поисковой строке: «+Борис+Пастернак». И дальше разбираетесь с теми ссылками, которые просыплются на голову. Это наблюдение, очевидное для любого пользователя Сети, подводит нас к определенным выводам об отличиях существования текста в Интернете от его же печатного близнеца.

Для того чтобы свободный поиск стал возможен, необходимо совершенно другое устройство сетевого пространства, чем пространства офлайн. Офлайновое про-

странство не является реально односвязанным — оно не едино. То есть, отталкиваясь от той же библиографии Пастернака, вы почти наверняка не сможете прийти по ссылкам, например, к описанию логики истины фон Вригта. И даже если такая последовательность ссылок существует, найти ее за обозримое время скорее всего не удастся. (Интересно, что теперь, после того как написана эта фраза с двумя фамилиями, — как раз удастся, а в Сети даже наверняка.) Информационное пространство вне Сети подразумевает априорное наличие классификаций и специализаций, которые определяются принадлежностью знания к той или иной области.

В Сети ситуация кардинально меняется. Весь объем информации укладывается в некоторый общий вид, например, в структуру — **html** (**hyper text markup language** — язык гипертекстовой разметки), и становится доступен для тотального поиска — безо всякого различия и разграничения. Сеть — это первый и единственный на сегодняшний день информационный объект, в котором принципиально возможен свободный поиск по всему объему информации, накопленному человечеством на сегодняшний день, час, минуту... Нужно сразу оговориться, что глобальный поиск возможен только в принципе. На деле это не совсем так. Существует очень много ресурсов, которые закрыты для поисковых систем. Оценить их количество трудно, но по разным оценкам это от 30 до 70 процентов всей информации, размещенной в Сети. Это ресурсы, закрытые паролем, — конфиденциальные — или ресурсы, динамически порождаемые сервером на основании внешнего интерактивного запроса. Но даже при этих неизбежных ограничениях свободный поиск очень эффективен. Правда, надо уметь им пользоваться. Под логотипом **Yandex** написано: «Найдется все». А если в результате поиска не найдено ни одного ресурса, надпись меняется: «Найдется все. Со временем».

Теперь я подошел к тому, чтобы сформулировать основное утверждение этих заметок: главное отличие литературного произведения в Сети от печатной литературы заключается в том, что его читают не только люди. Его читают и даже по мере сил и интеллекта рецензируют роботы поисковых систем.

Это возможно в силу единства сетевого пространства и стандартного представления информации в нем и приводит к тому, что поисковые системы образуют замыкание Сети и делают его односвязанным.

Поисковый робот — программа, которая непрерывно, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, читает одну за другой выставленные в Сети страницы и строит по ним поисковые индексы. От того, как работает эта программа, от того, как использует построенные индексы поисковый портал, зависит в конечном счете, насколько доступной окажется та или иная страница. Подробности работы любой конкретной поисковой системы, будь то **Yandex** или **Google (www.google.com)**, практически никогда не афишируются авторами. Но многие принципы индексирования и поиска лежат на поверхности, и о них можно сказать.

Все тексты в Сети проиндексированы в разной степени: одни подробно и тщательно — можно зарегистрировать ресурс в поисковой системе и тем обратить на него ее внимание, другие — проигнорированы поисковыми системами вовсе (в частности, при формировании страницы можно «попросить» робот не индексировать ваш ресурс) и потому недоступны при свободном поиске.

В первую очередь индексируются и наиболее легко находятся при поиске синтаксически выделенные конструкции языка. И здесь нужно иметь в виду, что в Сети текст пишется и представляется не на естественном языке — русском или английском, а на языке разметки документа — **html** или **dhtml**. И конечно, более понятны поисковой программе именно синтаксические конструкции этих языков. То есть она регистрирует титулы, ключевые слова, заголовки всех уровней, ссылки, начала абзацев и другие элементы формальной структуры и обязательно также имена собственные.

Поставим простой эксперимент. Попытаемся отыскать, используя **Yandex**, «Анну Каренину» Льва Толстого. Сначала для поиска используем первую фразу романа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Количество найденных адресов будет очень велико, и не все они будут указывать на роман. Некоторые — на собрания афоризмов. Я задам более жесткое требование и буду искать в найденном эпиграф к роману: «Мне

отмщение, и Аз воздам». В результате отбора поисковая система выдаст одиннадцать адресов, из которых десять действительно будут указывать на текст романа Толстого.

Теперь я изменяю условия и буду искать фразу из главы 17-й: «Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое». Результатом (точным, а другие нас не устраивают, фраза заведомо звучит так) будут четыре ссылки, из которых только две укажут толстовский текст — [www.klassika.ru](http://www.klassika.ru) и [orel.rsl.ru/nettext/russian/tolstoy\\_lev/annak1.htm](http://orel.rsl.ru/nettext/russian/tolstoy_lev/annak1.htm), — и оба эти адреса уже вошли в список, который мы получили в предыдущем эксперименте. (Если вы повторите мой эксперимент, результат может быть совсем другим. Сеть меняется каждый день, не говоря о нескольких месяцах. Написано 2.10.2001.)

О чем это говорит? Ведь вторая цитата заведомо присутствует в найденных нами в первом эксперименте текстах. Но она — не проиндексирована. То есть поисковая система (в нашем случае Яндекс) не связывает ее с адресами, указывающими на текст «Анны Карениной». Потому, в частности, что вторая цитата взята из середины абзаца и не содержит никаких синтаксических конструкций формального языка и собственных имен. Один и тот же по внешнему виду текст может быть в Сети более или менее активен. Он получает возможность, используя поисковые системы, продвигать себя навстречу читателю, облегчая ему поиск и становясь более актуальным сам. Текст, постоянно читаемый и перечитываемый поисковыми системами, не лежит в Сети — он движется, меняется, и происходит это, можно сказать, без участия реального читателя.

Когда писатель пишет и публикует текст, он хочет донести до читателя свою весть — message, как сегодня принято говорить. Чтобы это произошло, текст должен быть, во-первых, доступен, во-вторых, прочитан. Текст должны найти те, кто его ищет, может быть, даже не подозревая о его существовании.

Автор текста в Сети должен четко представить себе те запросы, которые будут адресованы поисковым системам и на которые именно его текст отвечает максимально полно. То есть если его ресурс попадет в отбор, то релевантность ресурса по оценке поисковой программы — другими словами, наиболее полное соответствие запросу — должна быть высокой. Релевантность можно представить себе как способ сортировки найденных по запросу документов. Чем больше документ соответствует запросу, тем выше в списке ответов он должен находиться, тем выше его значимость. Для достижения этого результата могут учитываться следующие параметры: количество найденных слов, «контрастность» слова (его относительную частоту для данного документа), расстояние между словами, положение слова в документе и в зонах документа. Релевантность документа может определяться количеством указывающих на него ссылок и весом этих ссылок — чем солиднее ссылающийся ресурс, тем больше вес. Но этим показателем оперировать крайне трудно. Если вы получите несколько сот или тысяч адресов, то вряд ли вам придется изучать все из них: первые десять — двадцать, вероятно, содержат требуемую информацию.

Очень важную роль играет сетевое имя автора. Оно может стать надежным указателем, а может ввести в заблуждение и сбить с толку. Скажем, «Сергей Гандлевский» — хорошее сетевое имя. С очень высокой степенью вероятности при использовании его для поиска найденные документы окажутся связанными с известным поэтом и не будет почти никаких посторонних ссылок. А вот «Юрий Кузнецов» — крайне неудачное сетевое имя. В тех тысячах адресов, которые выдаст любая русская поисковая система, найти автора «Атомной сказки» и других замечательных стихов почти невозможно. То обстоятельство, что сетевое имя крайне существенно для надежного доступа и опознания, заставляет многих авторов брать сетевые псевдонимы.

Это же можно сказать и о выборе названия для изданий, представленных в Сети. «Кольцо А» — это внешнее кольцо Сатурна, которое существует и сегодня и будет существовать всегда. «Кольцо А» — трамвайное кольцо по московским бульварам, где проходил маршрут «Аннушки», не существует уже давным-давно, лет, наверное, пятьдесят. Называя литературный альманах «Кольцо „А”», необходимо было иметь в виду астрономическую коннотацию. А то получается невероятная пу-

таница. Хотели напомнить стук трамвая по старой Москве, а получилось указание на огромные пространства и массы космоса. В печатном мире все было корректно, а в Сети все склеилось.

Текст, перенесенный с бумаги в Сеть, меняется. Но из этого еще не становится произведением сетевой литературы. Сетевая литература — это та, что активно использует новые условия представления текста. Можно отвергать текст только за то, что он выставлен в Сети, а можно использовать те возможности, которые предоставляет Интернет при создании текста, — в частности, единство информационного пространства и наличие глобальных поисковых систем. Только тогда, когда текстом используется Сеть и вне Сети текст не существует, нельзя его распечатать без потерь, как нельзя записать стихи без разбивки на строки, — тогда только текст можно отнести к сетевой литературе.

На сегодняшний день наиболее активно используют сетевое представление разного рода литературные обзоры и рецензии. Это — короткие тексты с большим количеством ссылок и имен. Что будет дальше, сказать сегодня трудно, но то, что литература активно продвигается в Сеть, несомненно, и, думаю, мы еще станем свидетелями неожиданных находок и открытий.

А теперь — краткий обзор поисковых систем.

Главная заповедь при поиске в Сети: любая поисковая система видит только часть Интернета, чтобы провести полноценный поиск, необходимо использовать несколько разных. Лишь в этом случае результат поиска можно считать удовлетворительным.

#### **Поисковые системы:**

Яндекс ([www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)) русскоязычная,  
 Rambler ([www.rambler.ru](http://www.rambler.ru)) русскоязычная,  
 Aport ([www.afort.ru](http://www.afort.ru)) русскоязычная,  
 Alltheweb ([www.alltheweb.com](http://www.alltheweb.com)) англо- и русскоязычная,  
 Google ([www.google.com](http://www.google.com)) англо- и русскоязычная,  
 AltaVista ([www.altavista.com](http://www.altavista.com)) англоязычная,  
 HotBot ([www.hotbot.com](http://www.hotbot.com)) англоязычная,  
 Northern Lite ([www.nlsearch.com](http://www.nlsearch.com)) англоязычная,  
 Yahoo! ([www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)) англоязычный поисковый каталог,  
 Go ([www.go.com](http://www.go.com)) англоязычная,  
 Excite ([www.excite.com](http://www.excite.com)) англоязычная.

#### **Метапоисковые системы**

Это системы, не имеющие собственной базы данных, но размещающие запросы в различных поисковых системах и анализирующие полученные ссылки:

1. All-in-One Search Page ([www.albany.net/allinone](http://www.albany.net/allinone)),
2. CUSI ([web.nexor.co.uk/public/cusi/doc/list.html](http://web.nexor.co.uk/public/cusi/doc/list.html)),
3. Fun City Web Search ([www.funcity.com/search.html](http://www.funcity.com/search.html)),
4. MetaCrawler ([www.go2net.com/search.html](http://www.go2net.com/search.html)).

При составлении списка использовалась информация:

[nfau.ukrfa.kharkov.ua/pankratova/html/index.htm](http://nfau.ukrfa.kharkov.ua/pankratova/html/index.htm). «Поиск информации в Интернете». Авторы: В. П. Черных, В. С. Власов, Я. И. Панкратова,

[searchengine.narod.ru/index.htm](http://searchengine.narod.ru/index.htm). «Интернет-маркетинг. Стратегия и тактика работы с поисковыми системами». Автор Евгений Подбельский. Ресурс, посвященный поиску в Сети со списком аннотированных ссылок на поисковые системы.

В заключение хочу сказать, что поиск в Сети — это едва ли не самая популярная тема, и ресурсов, посвященных поиску и описанию поисковых систем, очень много.



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Иван Ахметьев.** Девять лет. М., О.Г.И., 2001, 80 стр.

Книга современного московского поэта-минималиста, стихотворение которого иногда способно вписаться в строку оглавления. Одно из самых длинных:

солнце еще не встало  
а птички уже поют  
«ничего, обойдется»

**Уильям Голдинг.** Двойной язык. Перевод с английского И. Гурова. М., АСТ, 2001, 239 стр., 5000 экз.

Последний незаконченный философский роман-притча признанного мастера этого жанра, писавшийся с использованием реалий и мифологии античной Греции.

**Аполлон Григорьев.** Стихотворения. Поэмы. Драммы. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания Б. Ф. Егорова. СПб., «Академический проект», 2001, 760 стр., 2000 экз. Серия «Новая библиотека поэта».

«В предлагаемом читателю издании текстов Григорьева... впервые печатаются все оригинальные произведения (за исключением драмы „Отец и сын“... и нескольких переводов); добавлены к прежним собраниям двенадцать стихотворений, из них три впервые публикуемые, и одна впервые публикуемая драма („Басурманин“); печатается также либретто к опере А. Рубинштейна „Дети степей, или Украинские цыгане“» (из предисловия Б. Егорова).

**Алексей Дидуров.** Летняя книга стихов 1997 — 2001 гг. М., «Гуманитарий», 2001, 46 стр.

«Блажен поэт, которому при рождении досталось всего в меру, но вечно несчастен „проклятый поэт“, которому дали всего в избытке... Вечный дворовый подросток Дидуров, „гибрид кота и соловья“... получил в наследство от родителей, как и всякий интеллигент в первом поколении, фантастическую цепкость и живучесть... Для настоящей славы и канонизации ему достаточно умереть — тут же из него сделают если не второго Высоцкого, так второго Губанова уж точно. Но Дидуров трудоспособен и продолжает писать...» (из послесловия, написанного Дмитрием Быковым и названного «Позднее лето одинокого мужчины»).

**Занавешенные картинки.** Антология русской эротики. СПб., «Амфора», 2001, 524 стр., 5000 экз.

Из издательской аннотации: собранные в антологию тексты «представляют собой, возможно, наиболее полный свод русской литературной эротики». Издание содержит сочинения Н. Осипова, А. Ф. Шенина, Михаила Лонгинова, Луки Мудищева, Анатолия Каменского и других. Составитель антологии и автор предисловия (а также содержательных комментариев к большинству текстов) В. Сажин не в состоянии отличить эротику от порнографии — эротика в русской литературе, по его мнению, началась в заветных русских сказках и поэмах Баркова, а принадлежность к «эротическим» стихотворениям, скажем, у М. Ю. Лермонтова определяется им по наличию в них определенных слов, не более того. Соответственно к русской эротике отнесены им и порнографический опус А. Н. Толстого («Возмездие»), и скандальная историко-литературная пародия И. И. Ясинского, смакующего слухи о греховности Ф. М. Достоевского, стилизаторские тексты А. Ремизова и М. Кузмина, сатирический «Антисексус» А. Платонова, тексты Хармса и т. д., то есть все, что угодно, только не собственно эротика, несомненно присутствующая в русской литературе (от стихов Батюшкова и Пушкина до прозы Набокова).

**Давид Маркиш.** Статья Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Эммануиловича Бабеля. СПб., «Лимбус-Пресс», 2001, 256 стр.

Первая публикация — в журнале «Октябрь» (2001, № 1 — 2). Роман о добровольном ослеплении представителей русской культуры начала века революционной романтикой, об искусстве интеллигента стать частью Силы (в том значении, в каком понимала это слово Симона Вайль), изначально противопоставленной человеческому в человеке.



Автор ориентировался на жанр философско-исторической притчи; использованы материалы биографий Бабеля и его современников (среди персонажей Ю. Олеша, Я. Блюмкина), сведения о событиях Гражданской войны в России и последующих лет; действие происходит в Одессе, Москве, Берлине, Палестине.

**Андрей Матвеев.** Live Rock'n'Roll. Апокрифы молчаливых дней. Екатеринбург, «У-Фактория», 2001, 3000 экз.

Лирико-ностальгическая проза известного уральского писателя о начале русского рока, в частности, об истории знаменитых в семидесятые — восьмидесятые годы рок-групп «Трек», «Наутилус», «Аквариум», «Чайф», «ДДТ», включающая в себя запись бесед с Борисом Гребенщиковым, — книга из числа попыток написать изнутри портрет рок-поколения, к которому относится и сам автор.

**Милорад Павич.** Кони святого Марка. Рассказы. Перевод с сербского Е. Кузнецовой, Я. Перфильевой, Д. Стукалина. СПб., «Амфора», 2001, 213 стр., 10 000 экз.

Впервые на русском языке четырнадцать рассказов Павича.

**100 русских поэтов о Киеве.** От Александра Пушкина до молодых — пока не очень известных — авторов. Антология. Составление, вступительная статья и примечания Риталия Заславского. Киев, Журнал «Радуга», 2001, 398 стр.

Кроме стихов издание представляет обширную коллекцию графики киевских художников (городские пейзажи), а также — «Примечания для некиевлян и киевлян, которые еще недостаточно знают свой замечательный город», содержащие свод культурно-топографической информации о Киеве.

**Владимир Тучков.** Смерть приходит по Интернету. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 320 стр., 5000 экз.

Кроме одноименного цикла рассказов (девять из них публиковались в «Новом мире» — 1998, № 5) в книгу вошли циклы «Психоз», «Пятая русская книга для чтения», «Шестая русская книга для чтения» и подборка «Разные рассказы».



**Джеймс Биллингтон.** Лики России. Страдание, надежда и созидание в русской культуре. Перевод с английского О. А. Алякринского. М., «Логос», 2001, 248 стр., 3000 экз.

История России от IX века до наших дней через историю ее искусства глазами американского слависта и главного библиотекаря библиотеки Конгресса США.

**Сергей Бирюков.** Поэзия русского авангарда. М., Издательство Руслана Элинина, 2001, 280 стр.

Работа поэта и литературоведа Сергея Бирюкова, задача которой продекларирована автором как попытка выработать подходы к авангардным текстам. Автор предложил свой подход, сочетающий аналитику с интуицией поэта. Основные черты русского авангардизма Бирюков выявляет в творческих портретах русских писателей и поэтов, начиная с Федора Сологуба и Валерия Брюсова и заканчивая Елизаветой Мнацакановой и Геннадием Айги, — путь каждого поэта представлен в книге как некий этап становления русского авангардизма. Теоретическая часть дополнена антологией русской авангардной поэзии, составленной Бирюковым, — около сорока поэтов: Е. Гуро, В. Хлебников, Б. Лифшиц, А. Введенский, Д. Хармс, К. Вагинов, Н. Олейников, Д. Авалиани и другие.

**Евгения Волощук.** Хроника странствий духа. Этюды о Франце Кафке. Киев, «Юніверс», 2001, 144 стр.

Вышедшая как научное издание, книга эта, по словам автора, «не есть литературно-критический пролог к творчеству Кафки... Она рассчитана на искушенного читателя, уже познакомившегося с кафковскими сочинениями и заодно с „джентльменским минимумом“ их критической обработки... и являет собой мозаику внутренне связанных и все же достаточно автономных этюдов о разных сторонах творчества писателя».

**М. Л. Гаспаров.** Русский стих начала XX века в комментариях. Издание второе, дополненное. М., «Фортуна Лимитед», 2001, 288 стр., 5000 экз.

Монография известного ученого, посвященная широкому кругу проблем русского стихосложения. Материал распределен по разделам: «Стих и проза», «Стихораздел и рифма», «Ритмика», «Силлабо-тоническая метрика», «Несиллабо-тоническая метрика», «Строфика», «Твердые формы» и «Стих и смысл». Соответственно каждый раздел име-

ет подразделы, оформленные по принципу словаря: скажем, «Передвижная цезура», «Цезурные наращеня», «Полустишия» и т. д.; к каждому понятию подобраны примеры — стихотворение или небольшая подборка стихов, далее следует развернутый анализ их текста.

**Записки Бенкендорфа.** 1812 год. Отечественная война. 1813 год. Освобождение Нидерландов. Составление, примечания и сопроводительная статья П. Г. Грюнберга. М., «Языки славянской культуры», 388 стр.

Кроме «военных записок» Бенкендорфа издание содержит его письма к графу М. С. Воронцову 1812 — 1815 годов.

**В. В. Кандинский.** Избранные труды по теории искусства. М., «Гилея», 2001, 1300 экз.

Том 1. 1901 — 1914. 390 стр.

Том 2. 1918 — 1938. 342 стр.

Самое полное собрание теоретических работ Кандинского (включая автобиографическую книгу «Ступени»), написанных им в 1901 — 1938 годах на русском, немецком и французском языках. Предисловие Д. В. Сарабьянова и В. С. Турчина. Составление и редакция Н. Б. Автономовой, Д. В. Сарабьянова, В. С. Турчина.

**Мишель Леруа.** Миф об иезуитах. От Беранже до Мишле. Перевод с французского В. А. Мильчиной. М., «Языки славянской культуры», 2001, 464 стр.

«Наиподробнее образом исследовав и препарировав этот миф, Мишель Леруа написал оригинальную политическую историю Франции первой половины XIX века, еще раз доказав, насколько нераздельны личный страх, коллективная глупость и национальная политика» («Ex libris НГ»).

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



«Библио-Глобус», «Вестник РХД», «Время МН», «Время новостей», «Вышгород», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «ИНДЕКС/Досье на цензуру», «Интеллектуальный Форум», «Искусство кино», «Истоки», «Кольцо „А“», «Лебедь», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Мировые дискуссии», «Москва», «Московские новости», «Независимая газета», «Независимое военное обозрение», «Новая газета», «Новая Юность», «Новое время», «Новый Журнал», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Подъем», «Посев», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Субботник НГ», «Урал», «Уральская новь», «Футурум АРТ», «Христианос»

**Сергей Аверинцев.** «На вершине горы — крест». Предисловие к латышскому изданию книги протоиерея Александра Меня «Истоки религии». — «Христианос». Альманах. Издается Международным Благотворительным фондом имени Александра Меня (Рига, Латвия). Главный редактор Наталья Большакова. Рига, 2000, № 9.

«Против верующего — все: не только КГБ, не только официоз, но и советское общество как таковое, включая либералов времен „оттепели“...» На русском языке печатается впервые.

**Дмитрий Авалиани.** Листовертни. — «Футурум АРТ». Литературно-художественный журнал. Издатель и главный редактор Евгений Степанов. № 2-3 (2001, август).

Невероятное. Фраза *что будет* написана/нарисована таким затейливым шрифтом, что при повороте листа вверх ногами она читается как *будет осень*. Или: *что завтра* — поворачиваем: *дешевый снег*. Или еще невероятнее: *плюшкин умер* — переворачиваем лист: *жив абрамович*. Повторяю: пока не увидишь собственными глазами, понять/поверить невозможно.

«Футурум АРТ» — журнал футуристов (футур-ум-мистов), которые смотрят в будущее, но никого не стремятся сбросить с корабля современности. «Многие из авторов журнала, наверно, и не подозревают о том, что редактор причисляет их к сторонникам нового движения» (из редакционного предоведомления Евгения Степанова).

**Кирилл Александров.** Обреченный временем. — «Посев», 2001, № 9 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

*Табурованный юбилей:* 1 сентября 2001 года исполнилось 100 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова. «Примерно каждый 15-й, служивший в германских вооруженных силах в 1941 — 1945 годах, имел гражданство СССР. Численность этих людей, достигавшая 1,1 млн. человек, превышает совокупную численность Белых армий периода гражданской войны».

**Павел Басинский.** Новые деревенские. — «Литературная газета», 2001, № 36, 5 — 11 сентября <<http://www.lgz.ru>>

«Именно в деревне Россия проходит испытание на прочность. Именно здесь она даже не эксплуатируется, как прежде, а просто брошена на произвол судьбы, на собственные силы, на разграбление своими и чужими, но и на милость и справедливость Божью...» О новомирских повестях Александра Титова «Жизнь, которой не было» (2001, № 8) и Бориса Екимова «Пиночет» (1999, № 4).

**Аркадий Белинков.** <Я жил в стране-застенке и писал то, что хотел писать>. Публикация Ивана Толстого. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4377, 20 — 26 сентября <<http://www.rusmysl.ru>>

«Люблю из своих строк, написанных в Советском Союзе, я без стыда могу напечатать в свободном мире. <...> Я всегда был с теми, кто ненавидит черный, коричневый, желтый и красный фашизм и борется с ним». Предисловие А. В. Белинкова (1921 — 1970) к несостоявшемуся американскому изданию книги об Олеше. По радио «Свобода» текст был прочитан 8 декабря 1969 года. Публикуется впервые к 80-летию со дня рождения Белинкова.

**Сергей Беляков.** Плохой хороший писатель Олеша. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 9 <<http://magazines.russ.ru>>

«Итак, мы подошли к выводу, что дар Олеша не был полноценным, ибо его талант не опирался на повышенную пассионарность...» Автор — студент Уральского государственного университета.

**Сергей Бирюков** (Россия — Германия). Эротика и фонетика. Три источника — три составные части звучной поэзии. — «Футурум АРТ». Литературно-художественный журнал. № 2-3 (2001, август).

«Звуковая поэзия — это публичное искусство, да к тому же связанное с применением техники, поэтому подпольное существование [ее в советское время] довольно проблематично».

**Георгий Бовт.** Белые как черные. — «Известия», 2001, № 162, 5 сентября <<http://www.izvestia.ru>>

«Но сегодня пора говорить о расизме черном, требующем, по сути, превратить процесс искупления за колониальное прошлое в преследование ныне живущей белой расы...»

**Анатолий Богатых.** Русские песни. — «Знамя», 2001, № 8 <<http://magazines.russ.ru>>

«...Что ж ты наделала, как ты посмела?! / Что же ты целилась так неумело, / бедная, бедная / Фанни Каплан?..»

**Алла Большакова.** «Мне нравится она...». Любовь как род недуга в архетипическом поле русской литературы. — «Вышгород». Литературно-художественный и общественно-публицистический журнал. Издается с 1994 года. Выходит 6 раз в год. Главный редактор Людмила Глушковская. Таллинн, 2001, № 3 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>

«Однако почему же мужчинам-авторам действительно „нравится чахоточная дева“ как своего рода идеальная модель покорности природной (и, очевидно, мужской) воле, перед которой „бедняжка клонится без ропота, без гнева“?..»

**Алла Большакова.** Философско-эстетическая «охота» в мире русского слова. Пушкин, Тургенев, Л. Толстой, Аксаков. — «Литературная учеба», 2001, № 3, май — июнь.

Фрагмент книги «Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына».

**Елена Булгакова, Татьяна Луговская. Жуковская, 54. Письма и воспоминания.** Предисловие, публикация и комментарий Н. Громовой. — «Искусство кино», 2001, № 6 <<http://www.kinoart.ru>>

Вторую часть этой публикации — под названием «Выходит душа на душу» — см.: «Искусство кино», 2001, № 7.

**Аркадий Бурштейн.** Слушающий голоса Тьмы. Медитация над поэмой М. Ю. Лермонтова «Мцыри». — «Уральская новь», Челябинск, 2001, № 11 <<http://magazines.russ.ru>>

Лермонтов любил Родину, но Демона — больше.

**Равиль Бухараев.** Два пути Европы: Казанова и Гёте. — «Ex libris НГ», 2001, № 36, 27 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>

Гёте был по духу мусульманин.

**В историческом пространстве хватит места для всех...** Дискуссия по книге А. И. Солженицына «Двести лет вместе». [Фонд «Русское Зарубежье», Москва, июль 2001 года]. — «Москва», 2001, № 9 <<http://www.moskva.muslib.com>>

«Существует странная интеллектуальная традиция: трактовать апостольское: „...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободно-го, но все и во всем Христос” (Кол. 3: 11) — не как равенство всех людей *перед Богом*, а как этический запрет признать тот факт, что эллины, иудеи, варвары и скифы — суть разные народы, с разными судьбами *перед лицом истории*», — отмечает среди прочего Людмила Сараскина. Среди участников дискуссии — Г. Гачев, В. Третьяков, А. Панарин, А. Ципко и другие.

«Но для православного человека она (книга Солженицына. — А. В.) ничего нового пока не дает...» — считает Михаил Назаров («День литературы», 2001, № 10 <<http://www.zavtra.ru>>). См. также рецензии Андрея Зубова «Сильнейшее терапевтическое средство» — «Посев», 2001, № 9 и Льва Аннинского «Бикфордов шнур длиной в двести лет» — «День литературы», 2001, № 10.

**Петр Вайль.** Сергей Довлатов. Между реальностью и словесностью. Десять вопросов о писателе. К 60-летию со дня рождения. — «Новое время», 2001, № 37, 16 сентября.

«На родине Довлатов пил ровно так же, как в эмиграции». См. также кулинарное интервью Вайля — «Новая газета», 2001, № 69, 24 сентября.

**Борис Ванталов.** *Ende Hoch*, или Записки неохотника (1996 — 2000). — «Библио-Глобус». Журнал-обозрение. 2001, № 8 (17).

«Отвратительна эта мерзкая инерция выговаривания». Ранее вышедшую книгу Бориса Ванталова «Конец цитаты. Книга облаков. Точка в виде запятой» не следует путать с гораздо более известной книгой Михаила Безродного «Конец цитаты».

**Екатерина Варкан.** «Я родился при царе и девять лет жизни прожил в нормальных условиях». Вспоминает поэт Семен Липкин. — «Субботник НГ». Еженедельное приложение к «Независимой газете». 2001, № 27, 15 сентября <<http://saturday.ng.ru>>

Отметивший свое 90-летие Семен Липкин рассказывает: «Они [с Ахматовой] беседовали, и Пастернак очень ругал английского писателя Голсуорси — плохо пишет, люди неживые. Говорил долго, но в конце концов ушел. Анна Андреевна рассказала, что до меня он ругал Голсуорси еще полчаса. Я любопытствовал, почему такой неяркий писатель его так заинтересовал. „В том-то и дело. Давным-давно, в 30-е годы, Пастернака выдвинули на Нобелевскую премию, но получил ее Голсуорси...”» См. также беседу Семена Липкина с Ольгой Постниковой — «Общая газета», 2001, № 38, 20 сентября <<http://www.og.ru>>

**Алексей Варламов.** Обнажение приема. История одной мистификации. — «Литературная учеба», 2001, № 2, март — апрель.

Розанов — в елецкой гимназии, в пришвинском дневнике, в пришвинском романе «Кашеева цепь». См. также: Алексей Варламов, «Пришвин и Бунин. Литературный этюд» — «Вопросы литературы», 2001, № 2, «„Двух соловьев поединком...” И. А. Бунин и М. М. Пришвин: точки сближения и разделения» — «Подъем», Воронеж, 2001, № 5; «Современное прочтение Пришвина» — «Литературная учеба», 2005, № 5.

**Татьяна Васильева.** Это не война. Это революция. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Перед нами эстетика, идущая изнутри современного капиталистического общества, гениальное творение *чудовища-хакера*, не видящего различия между виртуаль-

ностью и действительностью, между жизнью и не-жизнью. Это произведение создано не многоопытным и суровым воином, а мальчишкой (15 — 20 — в конце концов, 30 лет) в компании с еще несколькими мальчишками. Организация, чтобы ее не заметили, должна быть не огромной, а крошечной — всего 20 — 30 — 40 человек. <...> Но основная идеология — ненависть именно к США как системе и WTC как олицетворению ее — власть капитала, „современных технологий”, глобалистские амбиции. Это ненависть, которую можно испытывать только изнутри, — США должны быть родной, образование — Итон, денег — девать некуда в котором уж поколения (аристократия по-американски). Не в смысле Вудхауза или даже О. Уайльда, а скорее уж Гюисманса — такого тошнит, что у него столько же рук и ног, как у всякого встречного, что он так же, как всякий потребитель гамбургеров, ест, пьет и испражняется. <...> И если желать именно, чтобы рухнул этот мир, нет смысла сидеть в партере и ждать продолжения спектакля — это вульгарное желание простолоудина, господин же, зевая, покидает ложу. <...> Может застрелиться. Может снять офис для подготовки теракта на сотом этаже WTC и смотреть, как приближается самолет с соратниками».

**Высшая мера для высшей ценности.** — «ИНДЕКС/Досье на цензуру»/ Инициатор издания — *Index on Censorship*. Учредитель — Фонд защиты гласности. Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. 2001, № 14 <<http://index.org.ru>>

Подборка выступлений против смертной казни. Для политкорректности присутствуют известная цитата из Солженицына и одно развернутое — и самое разумное — мнение профессора **Юрия Антоняна** о том, что есть такие преступления, за которые следует казнить: «Покаяние [убийцы] заключается не в том, чтобы признать убийство ни с чем не сравнимым грехом. А в том, чтобы человек осознал свою вину, понял, что он должен понести за него наказание и нет ему никакого оправдания».

**Сергей Голлербах.** О встречах кратких, и не только. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 223 (2001, июнь).

Современники.

**Александр Голубев.** «Призраки войны» и реальность. — «Знание — сила», 2001, № 7 <<http://www.znanie-sila.ru>>

20 — 30-е. Настроения. По сводкам ОГПУ.

**Ростислав Горчаков.** Кого потопил [Герой Советского Союза Александр] Маринеско? — «Посев», 2001, № 9.

На теплоходе «Вилгельм Густлофф» были немецкие... беженцы?

**Лилия Гушина.** Личное дело. — «Новая газета», 2001, № 68, 20 сентября <<http://www.novayagazeta.ru>>

Материалы из личного дела Ерофеева Венедикта Васильевича, студента Владимирского пединститута, включая «справку» с неразборчивой подписью: «<...> Я как преподаватель философии считаю, что Ерофеев не может быть в числе наших студентов по следующим причинам: 1. Он самым вреднейшим образом воздействует на окружающих, пытаясь посеять неверие в правоту нашего мировоззрения. 2. Мне представляется, что он не просто заблуждается. А действует как вполне убежденный человек, чего, впрочем, он и сам не скрывает. 29.01.1962».

**Ричард Давенпорт-Хайнс** (*London Review of Books*). Бульвер-Литтон и начало английского криминального романа. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. Издатель Глеб Павловский. Главные редакторы Елена Пенская, Марк Печерский. 2001, № 6 <<http://if.russ.ru>>

«Бульвер-Литтон вовсе не считал детективный жанр низким: Шиллер, перед которым он преклонялся, в конце жизни хотел написать драму о французской полиции...»

**Борис Дубин.** Аnnалы повторения. Популярный историко-патриотический роман 90-х годов. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2001, № 14.

«Впервые в пореволюционные годы книги данного [историко-патриотического] жанра предъявляются читателю как чисто коммерческий продукт, а не как элемент государственной пропагандистской машины».

**Александр Дугин.** «Единственная форма национальной идеи — евразийская». Беседу вел Армен Гаспарян. — «Литературная газета», 2001, № 37, 12 — 18 сентября.

«Его (Зюганова. — *А. В.*) нельзя показывать по телевидению, публиковать его фотографии, потому что получится какое-то смакование неадекватности, неэстетичности. У политических деятелей лица должны все-таки соответствовать хотя бы минимальным параметрам симметрии».

**Борис Евсеев.** Новая проза новой России: иллюзии и возможности. — «Литературная учеба», 2001, № 4, июль — август.

«Именно смена функции приема и жанра, возможно, даст новую суперпрозу. К примеру, давно ожидаемый „Большой русский роман“ (идеологический и религиозно-философский, который сменит поднадоевший англо-американский *novel*), даст русскую воинскую повесть (связанную с древнерусской повестью), даст „рассказ-роман“ и им подобное». См. также повесть **Бориса Евсеева** «Ночной смотр» — «Литературная учеба», 2001, № 3.

**Евгений Евтушенко.** Тайна дяди Володи. — «Новая газета», 2001, № 66, 13 сентября. Луговской.

**Н. А. Еськова.** Орфоэпия слов, связанных с религией и Церковью. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 182 (2001, № 1).

Здесь же — заметка **Н. А. Струве** «Паннихида или панихида?».

**Аркадий Застырец.** Гамлет. Эксцентрическая комедия в пяти действиях. — «Уральская новь», Челябинск, 2001, № 10.

Там же, тогда же. Никто не погиб. Офелия — алкоголичка и нимфоманка. В общем, срунда.

**Михаил Зенкевич.** О новом стихе. Публикация, подготовка текста С. Зенкевича. Предисловие Сергея Бирюкова. — «Футурум АРТ». Литературно-художественный журнал. № 2-3 (2001, август).

Статья 1921 года о *прозостихе*. Недатированный автограф хранится в рукописном отделе Института русской литературы (Санкт-Петербург), фонд 773.

**Михаил Золотоносов.** Частицы литературы. — «Московские новости», 2001, № 38, 18 — 24 сентября <<http://www.mn.ru>>

«Европейскому физиологическому пессимизму мы отвечаем физиологическим оптимизмом. Наш Е[гор] Р[адов] — ответ европейскому М[ишелю] У[эльбеку]...» О романе Мишеля Уэльбека «Элементарные частицы» см. рецензию **Валерия Липневича** — «Новый мир», 2001, № 12.

**Наталья Иванова.** Пересекающиеся параллели. — «Знамя», 2001, № 9. Пастернак. Ахматова.

**Борис Илизаров.** Об историческом гештальте, историческом пространстве и тварях истории. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2001, № 14.

Рисунки Сталина.

**Именем Аллаха.** [Статья без подписи на первой полосе]. — «Известия», 2001, № 167, 12 сентября.

После 11 сентября 2001 года стало ясно: главной мировой религией XXI века будет ислам.

**Римма Казакова.** «Переломилась эпоха...» [Мемуары]. — «Литературная учеба», 2001, № 3, май — июнь.

«Я не такая остроумная и богатая, как Виктория Токарева...»

**Вера Камша.** Войны XXI века. — «Независимая газета», 2001, № 171, 14 сентября <<http://www.ng.ru>>

Говорит (до 11 сентября 2001 года) американский писатель-фантаст **Роберт Джордан**: «В США существует весьма голосистое меньшинство, которое считает, что любой будущий конфликт *должен* происходить без потерь с нашей стороны. Повторяю: без потерь. Более того, любая война должна протекать с *наименьшими* потерями со стороны противника! <...> Таким образом, природа будущих войн происходит из гражданского понимания, каковыми они должны быть. <...> Так вот, во время этой войны [Севера и Юга] [генерал] Шерман заметил: „Война пополняет ад, сказал он, — и нет возможности этого избежать“. Забывать это опасно, так как можно столкнуться с теми, кто не забыл».

**Ян Каплинский.** Весна на двух побережьях, или Сентиментальное путешествие в Америку. Перевел с эстонского Светлан Семененко. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 4-5.

«Смею утверждать, что у Маринетти, Ле Корбюзье, Пикассо, Дали и многих других гораздо больше общего с Гитлером и Сталиным, чем с Эйнштейном и Гилбертом». См. тут же: «Тоталитаризм с улыбающимся лицом» (Ян Каплинский отвечает на вопросы Людмилы Глушковской).

**Лилия Китаева.** Платонов, Хемингуэй и смерть. — «Подъем», Воронеж, 2001, № 4.

«Третий сын». «Фиеста». Смерть.

**Кирилл Кобрин.** Письмо в Кейптаун о русской поэзии. — «Октябрь», 2001, № 8 <<http://magazines.russ.ru>>

Письмо пятое — о Борисе Рыжем (1974 — 2001). См. также стихи **Бориса Рыжего**: «Урал», 2001, № 8 и эссе **Алексея Машевского** «Последний советский поэт. Памяти Бориса Рыжего» — «Новый мир», 2001, № 12.

**Олег Ковалов.** Нетерпимость. — «Искусство кино», 2001, № 8.

«Изумляло и другое: на сеансе „Триумфа воли” [Лени Рифеншталь] респектабельный зал [петербургского] Дома кино часто аплодировал не мастерству режиссера, а... выступлениям Гитлера». См. тут же обстоятельную беседу **Лени Рифеншталь** с немецкими журналистами (июль 2000 года).

**Владимир Козлов.** Проблема доступа — это проблема инфраструктуры. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2001, № 14.

«Существуют две версии документального раскрытия этого события (Кронштадтского восстания 1921 года. — *А. В.*): версия Фонда демократии А. Н. Яковлева и версия Росархива. <...> В версии Яковлева блок документов, отражающих воздействие западноевропейских разведок, полностью исключен. В двухтомнике Росархива видно, какие усилия прикладывали, чтобы поддержать это восстание, и поляки, и шведы, и французы, и англичане...» Автор — руководитель Федеральной архивной службы РФ.

**Борис Крячко.** Экскурсия. Повесть. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 3.

О творчестве Юрия Юлиановича Крячко (1930 — 1998), жившего в Пярну, см.: **Евгений Ермолин**, «Свободные люди на рабьей земле» — «Новый мир», 2000, № 11.

**Дмитрий Кузьмин.** «Технология зрения, или <http://www.vavilon.ru>». Беседу вел Виталий Кальпиди. — «Уральская новь», Челябинск, 2001, № 11.

Рубрика «Плотники культуры». «Какой смысл идти в критику, если я знаю, что значительная часть волнующих меня текстов не напечатана? Вот так и получается, что работа *литературтрегера* — наиболее важное и осмысленное из всего, чем я могу заниматься в литературе».

**Линдон Ларуш.** Враг Америки — сама Америка. Из интервью с американским философом и экономистом, взятого 18 сентября [2001] Джоном Сигерсоном. Перевел Денис Тукмаков. — «Завтра», 2001, № 39, 25 сентября <<http://www.zavtra.ru>>

«Понимаете, в этом человеке (Збигнев Бжезинском. — *А. В.*) заложено именно то состояние ума, при котором можно вполне захотеть совершить атаку на Нью-Йорк и Вашингтон. Я не говорю, что это сделал Бжезинский. Но именно его образ мысли, его мышление могли стать причиной, по которой другие люди сделали это».

**Наум Лейдерман.** Крик сердца. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 10.

«[Виктор] Астафьев настолько крупное явление в русской литературе второй половины XX века, что даже его художественные просчеты и даже то, что может вызывать решительное несогласие с ним, творчески значительно и примечательно для состояния художественного сознания его времени».

**Станислав Лем.** «Нельзя принудить людей быть моральными». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2001, № 167, 12 сентября.

«Но сегодня она (Польша. — *А. В.*) существует в обстановке полной анархии, как будто на дворе не XXI, а XVIII век».

«Никто не посмотрит из космоса на то, как некрасиво мы живем».

«Мой агент из США присылает мне много разных изданий, агент из Москвы — журналы „Природа”, „Новый мир”, „Знамя»».

**Михаил Леонтьев.** «Лидеров у нас много. Но очень маленьких». Беседу вела Елена Кудрявцева. — «Огонек», 2001, № 37, сентябрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

«Консерватор не может существовать без авторитетов. Без них может существовать новатор, авангардист, левый радикал. Базаров, который лягушек резал. Для меня как правого консерватора безусловным авторитетом является сегодня Солженицын».

Ср.: «Очевидно, что растут акции правого неоконсерватизма, своего рода неопочвенничество и новое государственничество. <...> Конечно, в этой волне кто-то четче и осмысленнее рефлектирует собственную эволюцию, а кто-то продолжает называть себя либералом», — говорит **Андрей Зорин** в беседе с Модестом Колеровым («Время МН», 2001, № 137, 7 августа <<http://www.vremyamn.ru>>).

**Марк Липовецкий.** Критерий пустоты. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 7.

«Бродский наиболее радикально развил философскую тему, центральную как для барокко, так и для постмодернизма, — ощущение симулятивности, мнимости реально-го». См. также: **Лиля Панин**, «Побег из тела в пейзаж без рамы. „Испанская танцовщица” Рильке и Бродского» — «Новая Юность», 2001, № 3.

**Владимир Литвиненко.** К науке отношения не имеет. О «подсчетах» боевых потерь в ходе Великой Отечественной войны доктора филологии Бориса Соколова. — «Независимое военное обозрение», 2001, № 36, 28 сентября — 4 октября <<http://nvo.ng.ru>>

Неспраздный спор о соотношении немецких и советских потерь продолжается.

**Юрий Лошиц, Иван Уханов.** Выстрадать и выстоять. — «Завтра», 2001, № 38, 18 сентября.

«Так что прощай, интеллигенция, тебе уже почти никто руки не подает. А мы для своего культурного сословия найдем новое имя, приличное. Да и это, кстати, как будто неплохо звучит: русское культурное сословие», — говорит **Юрий Лошиц**.

**Анна Матвеева** (Екатеринбург). Писатель. Рассказ. — «Новая Юность», 2001, № 3 (48) <<http://magazines.russ.ru>>

«Юркая, будто ящерица, молодая и тревожно-мнительная Настя Некрасова называет себя „девушка-писатель”...»

**Ирина Машинская.** Поэзия и пауза. [Эссе]. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4375, 6 — 12 сентября.

«Я — рыба, без зазрения совести производящая потенциальное потомство — сколько успеет; какая разница — больше или меньше: все равно *нашей* икрой океан нам не заполнить...» См. в ближайших номерах «Нового мира» рецензию **Дмитрия Полищука** на поэтические книги И. Машинской.

**Ирина Медведева, Татьяна Шишова.** Логика глобализма. — «Завтра», 2001, № 37, 11 сентября.

«По одному из нескольких возможных сценариев, разработанных в ООН, за ближайшие 50 лет мы должны будем принять на своей территории 253 миллиона иммигрантов. Напомним, что сейчас в нашей стране всего около 147 млн. жителей. Так что если даже сегодняшнюю убыль населения России удалось бы каким-то чудом остановить, то „замещающая миграция” все равно переварит исконное население и его культуру».

**Неизвестное сочинение Гоголя.** Публикация, научная подготовка текста и статья И. А. Виноградова. — «Литературная учеба», 2001, № 3, май — июнь.

«О благодарности» (НИОР РГБ, ф. 74, к. 4, ед. хр. 48).

**Андрей Немзер.** Две чертвы дюжины. — «Время новостей», 2001, № 164, 10 сентября <<http://www.vremya.ru>>

«[На Букере] „Кысь” скорее всего восторжествует. Надо же компенсировать сплошные обиды (пролеты на Антибукере и „Национальном бестселлере”, пакостничество критиков, даже не выдвинувших роман на премию Аполлона Григорьева). У советских классиков репутация всегда перевешивала тексты, а [Татьяна] Толстая и есть последний советский классик: пишет так же медленно, как Шолохов, сочетает традицию с новаторством, как Леонов, любима широкими интеллигентными массами, как Айтматов, затравлена бездарными окололитературными интриганами, как Бондарев. (И, как Бондарев же, заласкана свитой; простите, хотел сказать: *глубоко и своевременно истолкована истинными ценителями*. Пршлогодний восторг заморского философа Бориса Парамонова живо напомнил дифирамбы, что пел в оны годы Бондареву нашенский доктор филологических наук Николай Федь.)»

**О духовности.** Беседу вела Наталия Большакова. — «Христианос», Рига, 2000, № 9.

«Каннибальские культы доколумбовой Америки или нацизм — это тоже, увы, есть проявления духовности», — говорил отец **Александр Мень** (Новая Деревня, март 1989 года).

**Овсянковские посиделки.** Из беседы Нины Красновой с Виктором Петровичем Астафьевым в Овсянке 27 сентября 2000 года. — «Истоки». Альманах. Выпуск 9 (31). М., 2001.

Говорит **Виктор Астафьев**: «У меня мало сил осталось...»

**Отравленный подарок.** Эдуард Лимонов: тюремный конфликт писателя с обществом. — «Литературная газета», 2001, № 37, 12 — 18 сентября.

Из Лефортова. «Я оспариваю, что я — экстремист. Я — яркий, хлесткий, броский, за словом в карман не лезу, полемичный, бесцеремонный в полемике, но я — разумный».



**Олег Павлов.** Карагандинские девятины, или Повесть последних дней. — «Октябрь», 2001, № 8.

Завершение трилогии. См.: **Олег Павлов**, «Казенная сказка» — «Новый мир», 1994, № 7, «Дело Матюшина» — «Октябрь», 1997, № 1, 2. «Павлов никогда не хотел быть „социальным писателем” — хотел быть толкователем таинств человеческой природы, исследователем бездн», — пишет **Андрей Немзер** в рецензии «Готическая солдатчина» («Время новостей», 2001, № 179, 1 октября).

**Ю. С. Пивоваров.** Передельная Россия. — «Искусство кино», 2001, № 7.

Пресловутый *вопрос о земле* ушел в небытие. «Подчеркну: вопрос не решен, но его больше нет». (Написано до принятия Земельного кодекса.)

**Лев Пирогов.** Осеннее обострение. — «Ex libris НГ», 2001, № 34, 13 сентября.

«Это только товарищи [литературные] почвенники полагают, что у господ [литературных] либералов все схвачено, на самом деле — сплошной самотек и никакой организации».

**Письма Иванову-Разумнику от арх. Иоанна Шаховского и А. Л. Бема.** Публикация О. Раевской-Хьюз. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 182 (2001, № 1).

«А вот с Вашим отзывом о Сирине-Набокове я не согласен. Это настоящий писатель и, пожалуй, самое крупное сейчас явление после Бунина (кот<орого> Вы, кажется, недолюбливали). В Вашем замечании о его языке есть доля правды, но только доля. Сирин умен и знает, что для писателя нет большей беды, как очутиться вне стихии родного языка. Поэтому он создал свой особый язык „конденсированный” — правильный, но нарочито выхощенный, если хотите, „лабораторный”, но в нем есть своя прелесть — с точки зрения <зрения> правильности, я думаю, не к чему придираться, но это язык, если хотите, „мертвый”, но такой высокой языковой культуры, что невольно им любующься, ибо это все же мастерство» (из письма А. Л. Бема от 6 мая 1942 года).

**Письмо министра [народного просвещения] А. С. Шишкова Императору Александру I.** Публикация и вступительная заметка Александра Стрижева. — «Москва», 2001, № 9.

«...все Библейские общества закрыть...»

**Валерий Подорога.** К философии архива. Заметки. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2001, № 14.

Архив — это то, что *осталось*, а не то, что *было*.

**Дмитрий Полищук.** Живые ходят по земле. Стихи. — «Кольцо „А”». Литературный журнал. [Союз писателей Москвы]. Главный редактор Татьяна Кузовлева. 2001, № 17 <<http://www.erfolg.ru>>

*Эротический дактиль:* «И почему-то припомним Некрасова, / милого Ваню, дорогу железную, / будто летим мы на медленном поезде / века прошедшего. Стыки со ступами...»

**Александр Проханов.** Америку поцеловал ангел смерти. — «Завтра», 2001, № 38, 18 сентября.

«Нет, не террорист — капитан Гастелло, пустивший свой самолет на колонну оккупантов. Не террористка — Зоя Космодемьянская, подпалившая дом врага».

**Вячеслав Рыбаков.** Архипелаг Атлантида. — «День литературы», 2001, № 9, август — № 10, сентябрь <<http://www.zavtra.ru>>

«Уже к началу восьмидесятых годов прошлого века в СССР создалась уникальная и, насколько мне известно, нигде в мире доселе не существовавшая ситуация. Вся высшая элита страны *лично* оказалась не заинтересована в дальнейшем существовании страны».

**Валерий Сендеров.** Нужно ли реформировать российское образование? — «Посев», 2001, № 9.

Российское образование не нуждается в подтягивании к ущербным евростандартам.

**Джордж Сорос.** Мышление и реальность. Фрагменты практической философии. Перевел с английского Леонид Мотылев. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 4-5.

Из книги «Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм». См. тут же: **Яан Каплинский**, «Сорос или Мобуту: два лика богатства» (перевела с эстонского Татьяна Теппе).

**Тивадар Сорос.** Маскарад. Игра в прятки со смертью в нацистской Венгрии. Предисловие Джорджа Сороса. Перевел с английского Владимир Бабков. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 4-5.

Три заключительные главы из мемуарной книги. Тивадар Сорос — отец известного финансиста и филантропа.

**А. Л. Толстая.** Дневник 1903 года. Вступительная статья, публикация и примечания Н. А. Калининой. — «Октябрь», 2001, № 9.

«У папа все болит живот и настроение мрачное» (25 июля).

**Наталия Трауберг.** Легкая корона. [О Борисе Шрагине]. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2001, № 14.

«Борин опыт нам очень важен...» См. также: **Борис Шрагин**, «Мысль и действие. Философия истории. Эстетика. Критика. Публицистика. Воспоминания. Письма». М., РГГУ, 2000.

**Геннадий Трошев.** В ходе боевых действий... — «Дружба народов», 2001, № 9 <<http://magazines.russ.ru>>

«В общем, Ингушетия [в декабре 1994 года] представляла собой сплошной очаг сопротивления федеральным силам». Фрагмент книги «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала».

**Владимир Тучков.** Поющие в Интернете. Одиннадцать жизнеописаний новых русских банкиров, терзаемых роковыми страстями. — «Дружба народов», 2001, № 9.

См. также: **Владимир Тучков**, «Смерть приходит по Интернету. Описание девяти безнаказанных преступлений, которые были тайно совершены в домах новых русских банкиров» — «Новый мир», 1998, № 5.

«**Ты — это я**». 10 лет спустя после эйфории. Елена Боннэр в беседе с Августиной Гербер. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 4-5.

Те, кому еще интересно мнение **Е. Боннэр**, могут прочесть ее интервью «Оппозиция — это не вредно» («Независимая газета», 2001, № 169, 12 сентября), а заодно и беседу **Сергея Ковалева** с той же Августиной Гербер («Вышгород», 2001, № 4-5). «Народ, с которым мы живем в России (курсив мой. — А. В.), в подавляющем большинстве своем совсем не сочувствует тем точкам зрения, которые разделяем я и мои друзья, работающие в Чечне (наша миссия мемориальная)...» — рассказывает этот правозащитник.

**Йейн Фенлон** (*London Review of Books*). Жизнь и творчество Антонио Сальери. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 6.

Музыку Сальери можно слушать без всяких угрызений совести. См. также мнение директора русской службы радио «Свобода» **Марио Корти** («Персона», 2001, № 4-5), что именно Моцарт завидовал Сальери.

**Павел Флоренский.** Письма 1902 года. Публикация Павла В. Флоренского. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 223 (2001, июнь).

Флоренский-студент.

**Сэмюэль Хантингтон** (*Die Zeit*). Это не столкновение культур. — «Мировые дискуссии/*World Discussions*». Информационно-аналитический журнал <<http://wdi.ru>>

«Я не представляю себе возможным изменить позицию и действия людей, лишенных страха смерти. <...> Их нужно находить и нейтрализовать», — говорит профессор политологии Гарвардского университета **Сэмюэль Хантингтон**, известный своей книгой «Столкновение цивилизаций» (1996).

**Александр Ципко.** XX век продолжается. — «Независимая газета», 2001, № 172, 15 сентября.

«Мусульмане часто становятся врагами христиан только потому, что современный Запад забыл о Христе».

**Что за «Давид» поверг американского «Голиафа»?** Мировая гражданская война, которая пройдет через все страны и народы, неизбежна. — «Завтра», 2001, № 38, 18 сентября.

«Людам знающим известно, что башни-близнецы Всемирного центра торговли были символическим воспроизведением двух колонн храма Соломона, которые присутствуют также и в символическом изображении доллара (согласно другой интерпрета-

ции, двойная вертикальная черта в знаке доллара связана со столбами Мелькарта, которыми финикийцы обозначали предельный край своей „империи золота”). Им же — знающим людям — также понятно, что Пентагон как геометрическая фигура (пентаграмма) есть реализованное в конструкции огромного здания охранительное очертание, которым маг защищает себя от демонического мира, пробужденного его заклинаниями» (Координационный центр «Движения за глобальную народную демократию»).

См. также: **Виталий Аверьянов**, «Кастрация гермафродита — конец постмодерна? Символика американских терактов на фоне философии Бодрийара» («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

**Лидия Чуковская**. Дом Поэта. Фрагменты книги. Вступительная заметка Елены Чуковской. Подготовка текста и публикация Елены Чуковской и Жозефины Хавкиной. — «Дружба народов», 2001, № 9.

«Надежда Яковлевна [Мандельштам во „Второй книге“] не в силах пройти мимо человека — любого! или могилы — любой! чтобы не дать человеку пинка, зуботычины, оплухи или не удостоить могилу плевком».

**Игорь Шевелев**. Сто букв для ста писателей. Монологи Андрея Битова. — «Время MN», 2001, № 160, 7 сентября <<http://www.vremyamn.ru>>

«Вчера по телефону разговаривали с Беллой. Она что-то журчала, журчала про язык. Кто-то пытал ее насчет реформы языка, очередного грабежа в невидимой сфере. <...> И мы говорим с ней, и я спрашиваю: „Слушай, Белла, странно, а неужели нет ни одной молитвы о языке?“ Она сказала: „Должна быть“. Надо поговорить с каким-нибудь грамотным батюшкой, молятся ли за язык...» (из монологов **Андрея Битова**).

**Игорь Шевелев**. Театр времен Брежнева и ТВ. — «Время MN», 2001, № 170, 21 сентября.

Говорит **Эдуард Радзинский**: «Когда я писал „Сталина“, я ходил в архив, куда сейчас снова практически не пускают, — в президентский архив. Исследовал документы, которые брал Волкогонов, и обнаружил, что тот использовал только куски, которые подходили к его концепции. А все остальное пропускал...» Полный текст интервью см. на сайте <http://www.ishevelev.narod.ru>

**Анна Шмайна-Великанова**. Об усыновлении. [Глава из книги]. — «Христианос», Рига, 2000, № 9.

Некоторые современные врачи приходят к выводу, что Иисус умер на кресте от инфаркта. «Он умер не только как казненные разбойники — в исключительных обстоятельствах (вряд ли часто кого-либо из нас распинают); Он, кроме того, физиологически умер той самой смертью, которой умирает большинство людей».

**Валерий Шубинский**. Неразлучные понятия. Русская интеллигенция и тайные службы. — «Октябрь», 2001, № 8.

От Пушкина до Путина.

**Глеб Шульпяков**. Померанцев, миртов шепот. — «Новая Юность», 2001, № 3 (48).

«[Игорь] Померанцев в современной русской поэзии — что называется, *outstanding*: сравнивать не с кем...»

**Михаил Эпштейн**. Взрыв, а не всхлип. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

«Теперь мы знаем, что глобализация — это еще и экспансия страха, предельная уязвимость, когда по всемирным транспортным сетям и коммуникациям опасность приближается к порогу каждого дома».

**Лидия Яновская** (Израиль). Дайте слово текстологу. Главы из книги. Предупреждение Виталия Кальпиди. — «Уральская новь», Челябинск, 2001, № 10.

В знаменитой знаменской публикации «Собачьего сердца» (1987, № 6) Яновская видит *более тысячи* искажений. «А может быть, это и не профессия вовсе — текстолог? <...> А — позиция?» Глава из книги «Записки о Михаиле Булгакове», выпущенной в Израиле в 1997 году тиражом 500 экз. См. также: **Лидия Яновская**, «Как беззаконная комета...» — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 223.

Составитель **Андрей Василевский**.

**«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии»,  
«Новое литературное обозрение», «Старое литературное обозрение», «Philologica»**

**Алесь Адамович.** Из «Зеленой тетради». 1987 год. — «Вопросы литературы», 2001, № 4, июль — август <<http://magazines.russ.ru>>

Дневниковые записи. «Легко любить человечество! Неправда это, нелегко. Очень нелегко.<...> Неизвестно, каких жертв в век ядерный такая любовь потребовала бы, потребует...»

**Елена Бондарева.** Религиозная мысль русского зарубежья об исторических судьбах России. — «Вопросы истории», 2001, № 9.

О наследии иерархов РПЦЗ — митрополита Антония (Храповицкого), его преемника митрополита Анастасия (Грибановского) и других.

«Для Антония <Достоевский> был не только знатоком человеческой души, но и провидцем. Анастасий ему в этом не отказывает, но идет дальше <...> считает, что Достоевский „пластическим изображением духа и формы грядущей революции помог большевистским вождям конкретизировать свой идеал. Быть может, революция совершилась по Достоевскому не только потому, что он прозрел ее подлинную сущность, но и отчасти предопределил ее образ — самую силую психического внушения, исходящего от его реалистического художественного гения”...»

**Иосиф Бродский.** Что видит Луна. Перевод с английского Елены Касаткиной. — «Старое литературное обозрение», 2001, № 2.

В возобновленном и обновленном журнале традиционный *блок* посвящен Бродскому. Много новых публикаций. Данная — об Объединенной Европе, *еврокрапии*, стихийной логике денег и угрозе потери читателя национальных литератур. «Когда говорят деньги, диалог невозможен <...> Что бы там ни было, не думаю, что от объединенной Европы будет толк».

**Иосиф Бродский.** Писатель в тюрьме. Перевод с английского Елены Касаткиной. — «Старое литературное обозрение», 2001, № 2.

«С рифмой и размером жить там всего удобнее — так оно лучше запоминается, особенно учитывая некоторые методы допросов, которые делают ваш затылок зачастую ненадежным. Вообще же в одиночке поэтам лучше, чем беллетристам: их зависимость от профессиональных орудий минимальна, ибо ваше повторяющееся движение взад-вперед под этим электрическим светиллом само по себе вызывает в памяти стих, несмотря ни на что. И еще потому, что стихотворение, по сути, бессюжетно и, в отличие от вашего дела, развертывается в соответствии с внутренней логикой языковой гармонии».

**Лидия Яковлевна Гинзбург.** Воспоминания. Письма. Статьи. Заметки. — «Новое литературное обозрение», 2001, № 49.

Воспоминания Сергея Бочарова и Александра Чудакова. Переписка Л. Я. с Борисом Бухштабом. Статьи В. Шубинского, К. Кобрин и других. «Для того чтобы возникла литература, — пишет А. Чудаков, — элемент выдумки не обязателен, обязательны только отбор, группировка (композиция), словесная организация. Описание реальности, не теряя своей фактичности, использует законы прозы. Зерно концепции заключено в трех словах: „художественное исследование невымышленного”». Цитата — из книги Л. Я. о «Былом и думах» Герцена, которому в 49-м номере «НЛО» посвящен специальный блок материалов из отечественных и зарубежных архивов.

**Евгений Ермолин.** Между ворчанием и бунтом. Буржуазность как предмет русской словесности в конце XX века. — «Вопросы литературы», 2001, № 4, июль — август.

Материальное и духовное в современной русской литературе. «Нам еще нужно нащупать и внятно определить некий путь между Сциллой торжествующей буржуазности и Харибдой неплодотворного обличительства».

**Игорь Зимин.** Болезнь и смерть цесаревича Николая Александровича. (1843 — 1865). — «Вопросы истории», 2001, № 9.

Документы, врачи, свидетельства, мифы.

**Дмитрий Зубарев.** «8 × 8», или «Чернышевский и шахматы». Из комментариев к набоковскому «Дару». 1-2. — «Philologica». Двухязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1999/2000. Том 6, № 14/16 (2001), <<http://www.rema.ru/philologica>>

Все нашли: и журнальчик шахматный, который Годунов-Чердынцев читал, и статью ту самую. Не из головы Вл. Вл. все это выдумал, не из головы.

**Борис Капустин.** Различия и связь между политической и частной моралью. — «Вопросы философии», 2001, № 9.

Описание пяти основных моделей связи морали и политики с «привлечением» к дискуссии господ Макиавелли и Гоббса.

«И вместе с тем политика — и в особенности трансформационная политика — возможна без этой готовности умирать».

**Леонид Карасев.** Живой текст. — «Вопросы философии», 2001, № 9.

Автор в духе своей «онтологической поэтики» рассуждает (в *сокращенном виде*, как сказано в сноске под страницей) на тему: *о телесности текста* — его ограниченности, целостности и т. п.

**Феохарий Кессиди** (Греция). Вечный спутник человечества. Трактровка учения и деятельности Сократа в советский период. К 2400-летию со времени смерти Сократа. — «Вопросы философии», 2001, № 9.

Ретроспекция. Мысль изреченная. Медленное чтение подзаголовка.

**Игорь Кондаков.** Наше советское «всё». (Русская литература как единый текст). — «Вопросы литературы», 2001, № 4, июль — август.

Большое исследование, опирающееся на фигуры «святого Советского Союза» Николая Островского и графа-«возвращенца» Алексея Толстого. Главам предпослано пять эпиграфов из Бодрийяра.

«Один обосновал „новое православие“; другой восславил „новое самодержавие“; оба возложили надежду на многострадальный народ, который все вынесет и все создаст, несмотря на испытания, вопреки потерям <...> простейшие идеи... сильно смахивавшие на те, дореволюционные, „уваровские“. И это, скажете вы, все, что осталось в „сухом остатке“? Увы, всё...» Так кончается этот 65-страничный текст. См. о другом труде И. Кондакова в рецензии Д. Дмитриева «Русская литература XX века: разные тексты или гипертекст?» («Новый мир», 2001, № 9).

**Красный террор в годы гражданской войны.** По материалам Особой следственной комиссии. — «Вопросы истории», 2001, № 7, 8, 9, 10.

Читать и цитировать эти сводки, выписки и справки невозможно. Человекоподобные изобретательны. Описание пыток беременных женщин и детей с применением огня, гвоздей и наркотиков. Массовые казни четвертованием. Ответ большевика Павла Селикова — матери убитого офицера (подобранного на поле раненым) Игоря Соболевского через газету: дескать, щенок твой у меня на огороде закопан, скоро и к тебе, старая, приеду, проверю, как там у тебя с убеждениями. См. к теме: **Григорий Померанц** — **Андрей Зубов.** Переписка из двух кварталов — «Новый мир», 2001, № 8.

**Сергей Лишаев.** Феномен ветхого. Опыт экзистенциального анализа. — «Вопросы философии», 2001, № 9.

Именно ветхого — и ничего другого. Старого, износившегося, отжившего, дряхлого, увядшего. Акме вещи. Читая, думал о величии Плюшкина, его скрытом экзистенциализме.

**А. С. Луковский.** Очерки из моей жизни. — «Вопросы истории», 2001, № 8, 9, 10, продолжение следует.

Записки генерала, начальника Мобилизационного отдела Министерства внутренних дел.

«Столыпин сказал: „Я вам сейчас разьясню, как вы можете мне помочь. Скажите военному министру, В. А. Сухомлинову, что вам <...> необходимо проверить на всем Кавказе мобилизационную подготовку не только военных, но и гражданских учреждений, начиная от волостей до губернских управлений включительно. <...> В эти комиссии мы включим специалистов по хлопководству, и они под сурдинку соберут на месте все интересующие меня данные“. Я, конечно, согласился, и все было проделано так, как указал Столыпин...» Плюс — пятнадцатистраничное описание охоты на севере: теререва и медведи.

**Аркадий Мурашев.** «Русские индусы». — «Вопросы истории», 2001, № 9.

История русских князей Порюс-Визапурских — потомков индийских раджей.

«Статуями служили голые живые люди, мужчины и женщины, покрашенные в белую краску. Они, когда [князь] гулял в саду, часами должны были стоять в своих позах, и горе той или тому, кто пошевелился...» (из воспоминаний Николая Врангеля, побывавшего с отцом в имении русских раджей). Кстати, две такие статуи — «Венера и Геркулес» — однажды соскочили с пьедесталов и князя Порюс-Визапурского все-таки грохнули. Тут и роду конец. Было это летом 1865 года.

**Основные вехи пройденного пути.** 75 лет журналу «Вопросы истории». — «Вопросы истории», 2001, № 9.

Фотографии главных редакторов, среди которых, оказывается, был и Емельян Ярославский.

«Пока не дали осязательного результата попытки наладить творческое сотрудничество историков, философов и социологов в исследовании теорий исторического процесса и исторического познания. <...> Нынешнее поколение историков испытывает острую потребность, например, в преодолении узких рамок понятийного аппарата, унаследованного от позитивизма и марксизма».

Интересно, сколько продлится эта *острая* потребность и о каком поколении идет речь?

**А. Э. Скворцов.** Лев Толстой в кривом зеркале «Мастера и Маргариты». В дополнение к мотивному анализу романа. — «*Philologica*». Двухязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1999/2000. Том 6, № 14/16 (2001) <<http://www.rema.ru/philologica>>

Невероятно, но это абсолютно доказательная связь писателя Льва Николаевича Толстого с председателем жилтоварищества дома № 302-бис Никанором Ивановичем Босым. Тем самым Босым, который Пушкина ругает на чем свет стоит и которого арестовывают, когда он тащит из дымящегося борща мозговую кость.

**Илья Фаликов.** Высокий берег. — «Вопросы литературы», 2001, № 4, июль — август.

«Мне предложено написать что-нибудь о чем-нибудь. Может быть, о русской поэзии XX века. Статьи, как обычно, не получится, но может получиться что-то другое. Это начало.

«Высокий берег. Кладбище. Море. Небо. Вечность. Стихи. *Анапа — Москва*». Это конец. Между ними — нечто, что я назвал бы «пешеходной филологией» в самом пастернаковском смысле слова. Посмотри под ноги, на траву, на песок побережья.

**А. Ф. Филиппов.** Фукоизация всей страны. Ответ на анкету: актуален ли Фуко для России? — «Новое литературное обозрение», 2001, № 49.

Один из 13-ти материалов, посвященных теме «Рецепция идей: Фуко».

«Одна из главных бед нашей гуманитарной науки (и философии, если ее можно от этой последней отличить): радикальное отсутствие достоинства, то есть способности сосредоточиться на самом предмете, а не на новейших веяниях в его оценке. Начитавшись Фуко (совершенно случайно! это мог быть Делёз, Деррида, Барт, могли быть даже все они, вместе взятые, но это уже требует времени — ресурса весьма скудного), коллеги по цеху начинают писать быстро, уверенно и очень гладко. Они не чувствуют сопротивления материала, они не ведают, что оно бывает. Вместо того, чтобы идти от материала и, пытаясь освоить проблему, брать ресурс везде, где могут его найти. В том числе и у Фуко».

**Анатолий Френкин.** Уровни правого сознания. — «Вопросы философии», 2001, № 9.

О *дополнительном* (то есть, по сути, экстремистском) правом сознании, правой культуре, правой идеологии. Об антисемитизме, само собой.

«Духовный яд содержат в подобных изданиях (вроде компилятивных книг Григория Климова. — *П. К.*) три версии. Во-первых, евреи представлены как по натуре порочная, зараженная испокон веков массовым гомосексуализмом и др. половыми извращениями нация, отравляющая сознательно остальные народы. Это, дескать, дегенеративная нация, что сложилось в результате смешанных браков, кровосмешения и проч. Из этого вытекает, что всемирное зло это неискоренимо, пока не уничтожены все евреи как таковые. Во-вторых, в подтверждение этой теории приводятся ссылки из многочисленных книг немецких, французских, американских и проч. медиков, психиатров, психологов и др. авторов, изданных на Западе за последние пару веков, цитаты из них. На неискущенного российского читателя это может произвести впечатление „давних исследований“. И наконец, опять-таки со ссылками на западные источники следует оглушительная сенсация, что при дотошном расследовании хотя бы частично (а этого уже достаточно с точки зрения чистоты крови для расистов) евреями, наполовину или на четверть, были, оказывается, не только Гитлер и ряд его сподвижников, как Гиммлер, Гейдрих и др., а также <...> Сталин, Берия, Кеннеди, де Голль, Аденауэр, Франко, Кастро <...> Но тогда не нацизм виноват в уничтожении евреев, а сами евреи...»

«**Чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением...**» Беседа Адама Михника с Иосифом Бродским. Перевод с польского Бориса Горобца под редакцией В. Куллэ. — «Старое литературное обозрение», 2001, № 2.

Полный транскрипт интервью (1995) — судьба которого складывалась весьма непорочно, — выполнен Иреной Левандовской и отредактирован Иоанной Шчэсной. Текст

беседы был предоставлен редакции «СЛО» «Фондом наследственного имущества Иосифа Бродского».

Много: о Солженицыне (крайне полемично), иностранных писателях («Кундера — это быдло. Глупое чешское быдло»), марксизме (концептуально), Польше (любовно), еврействе («...меня не нужно ни о чем спрашивать, поскольку я не выговариваю „р”») и другом. Захватывающе.

И. Б.: «...сразу скажу, с кем ты имеешь дело. Чтобы у тебя не было иллюзий. Я состою из трех частей: античности, литературы абсурда и лесного мужика. Пойми, я не являюсь интеллигентом. Вопросы о русской интеллигенции ко мне не имеют отношения...»

**Андрей Юрганов.** Опыт исторической феноменологии. — «Вопросы истории», 2001, № 9.

«Наука ныне стала внутренне асимметричной. Возникают (чаще всего от литературоведения) постмодернистские тезисы, со всеми вытекающими отсюда „возможностями” проводить деконструкцию текста через собственное „я”, которое угрожает исторической науке не меньше, чем любая цензура».

Составитель Павел Крючков.



ЛИКБЕЗ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и(или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 9 (21) января исполняется 120 лет со дня рождения священника и философа Павла Александровича Флоренского (1882 — 1937).



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Январь*

**5 лет назад** — в № 1 за 1997 год началась публикация этюдов из «Литературной коллекции» Александра Солженицына.

**15 лет назад** — в № 1 за 1987 год напечатана статья Сергея Залыгина «Поворот. Уроки одной дискуссии».

**35 лет назад** — в № 1 за 1967 год напечатана «Новоарбатская баллада» Владимира Соколова.

**55 лет назад** — в № 1 за 1947 год напечатана поэма Н. Заболоцкого «Творцы дорог».

**65 лет назад** — в № 1 за 1937 год напечатана эпопея Ильи Сельвинского «Челюскиана».

**70 лет назад** — в № 1 за 1932 год началась публикация «Поднятой целины» Михаила Шолохова.

## **МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД / АЛЬФА-БАНК**

Экспертная комиссия по подведению итогов конкурса на соискание стипендий Альфа-банка и Московского Литфонда рассмотрела представленные писателями заявки и приняла решение присудить стипендии 15 авторам:

**АРТЕМОВУ Владиславу Владимировичу** — роман;

**БАБКОВУ Владимиру Олеговичу** — перевод романа Томаса Вулфа;

**БЕГУНОВОЙ Алле Игоревне** — документальная биография «Надежда Андреевна Дурова — штабс-ротмистр Александров»;

**ДАВЫДОВУ Юрию Владимировичу** — исторический роман «Театр Дагмар»;

**ДОЛГОМУ (СУХАЧЕВСКОМУ) Вадиму Вольфовичу** — роман «Тайна»;

**ИВАНОВОЙ Вере Владимировне** — книга лирических стихотворений;

**КРАВЧЕНКО Владимиру Федоровичу** — книга «Волга-Волга-Волга...»;

**МИКУШЕВИЧУ Владимиру Борисовичу** — роман в новеллах «Високосный век»;

**ПАНОВОЙ Ирине Георгиевне** — поэтические обработки легенд, сказов, песен народов мира;

**ПЕРЕКАЛИНУ Олегу Тимофеевичу** — исторический роман о Руси X века;

**ПISKУНОВУ Владимиру Максимовичу** — творческая биография Андрея Белого;

**ПРЕЛОВСКОМУ Анатолию Васильевичу** — переводы народной поэзии Алтая XIX века;

**РАБИНОВИЧУ Вадиму Львовичу** — книга лирических стихотворений;

**САВЧЕНКО Владимиру Ивановичу** — исторический роман об Азеве;

**ТИМОФЕЕВСКОМУ Александру Павловичу** — книга лирических стихотворений.



## SUMMARY



This Issue publishes the narrative «The Charming God-Forsaken Place» by Valery Popov, and a story «Mymoon» by Andrey Volos. You can also read chapters from the book «Vysotsky» by the prose-writer and the professor of Russian literature Vladimir Novikov. The poetry is represented by new poems of Inna Lisnyanskaya, Ilya Plokhikh, Aleksander Kushner and Dmitry Vodennikov.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» the article «Personosphere of the Russian Culture» by professor Georgy Khazagerov is published. Under the heading «Times and Manners» readers can find Tatyana Cherednichenko's essay «Oncology as a Model».

Under the heading «Close Remote Past» are published notes «Without God» by Konstantin Livanov, a country physician; he made those notes in 1926-1929.

The article «Did the Gaydar's Reforms Work out?» by Viktor Belkin is published under the heading «Polemics».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,  
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,  
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [newworld@newtimes.ru](mailto:newworld@newtimes.ru);

по вопросам зарубежной подписки: [novy-mir@mtu-net.ru](mailto:novy-mir@mtu-net.ru)

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi](http://magazines.russ.ru/novyi_mi)

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“»

Сдано в набор 20.10.2001 г. Подписано к печати 25.12.2001 г. Формат бумаги 70x108<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9400 экз. Зак. 2565. Цена договорная

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,  
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

**В 2002 году исполняется 75 лет со дня рождения  
и 20 лет со дня смерти замечательного прозаика  
Юрия Павловича Казакова.**

**Премия его имени была учреждена  
Благотворительным Резервным фондом  
и журналом «Новый мир» в 2000 году  
и присуждается автору, живущему и работающему  
в России, за рассказ на русском языке,  
впервые напечатанный в текущем году  
на территории России.**

**Премия имени Юрия Казакова за 2000 год  
была вручена Игорю Клеху,  
премия за 2001 год будет вручена  
в начале февраля.**

**Состав жюри:**

**МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,  
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,  
АНДРЕЙ ВОЛОС, прозаик,  
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,  
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,  
президент Благотворительного Резервного фонда,  
ОЛЬГА НОВИКОВА, прозаик,  
зам. зав. отделом прозы «Нового мира»,  
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА, прозаик, эссеист.**

**Координаторы премии:**

**главный редактор журнала «Новый мир»  
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,  
генеральный директор  
Благотворительного Резервного фонда  
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.**